



МОСКОВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Н. В. Трофимова

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ВОИНСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ



Москва 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»



Н. В. Трофимова

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ВОИНСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Монография

МПГУ
Москва • 2017

ББК 83.3(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1
Т761

Рецензенты:

Е.В.Николаева, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета

А.А.Пауткин, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Трофимова, Нина Владимировна.

Т761 **Поэтика древнерусского воинского повествования:** Монография / Н. В. Трофимова. – Москва : МПГУ, 2017. – 276 с.

ISBN 978-5-4263-0440-6

Монография посвящена комплексному исследованию поэтики древнерусского воинского повествования в историческом развитии на материале летописных и вне летописных повестей XI-XVII вв. Прослежены основные композиционные компоненты повествования, эволюция стиля, системы художественных средств. Выявлены особенности работы летописцев XV-XVI вв. над ранними воинскими сюжетами.

Исследование адресовано филологам, историкам, культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей русской литературы.

**ББК 83.3(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1**

ISBN 978-5-4263-0440-6

© МПГУ, 2017
© Трофимова Н. В., 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
-----------------------	---

Глава 1. Развитие сюжетов воинских повестей в летописях XV–XVI столетий

1.1. Переработка сюжета о победе юноши-кожемяки над печенегом	17
1.2. История повести о междоусобной войне 1149 г. в летописании	23
1.3. «Повесть о битве на Липице» в переработках летописцев XV–XVI веков	35
1.4. Работа летописцев над повестью о походе Святослава Всеволодовича на волжских булгар	62
1.5. Повесть «О первой Литовщине» в русском летописании	75
1.6. Летописная повесть о битве на Скорнищеве	84
1.7. Повесть о нашествии Тохтамыша	88
1.8. Повесть о походе новгородцев против московского князя	100
1.9. Повесть о нашествии Едигея	107
1.10. Летописная повесть о Мустафе-царевиче	119

Глава 2. Малые жанры в составе воинского повествования

2.1. Особенности и функционирование лирических жанров	128
2.1.1. Назначение и своеобразие молитв	128
2.1.2. Поэтика и роль плачей в воинском повествовании	149
2.1.3. Особенности жанра похвалы	169
2.2. Функционирование символических жанров в воинском повествовании	178
2.2.1. Своеобразие жанра видений	178
2.2.2. Особенности жанра чудес	191
2.2.3. Поэтика жанра знамений	198

Глава 3. Изобразительно-выразительные средства воинского повествования

3.1. Воинские формулы в летописном и внелетописном повествовании	210
3.1.1. Становление воинских формул в «Повести временных лет»	210
3.1.2. История «формулы начала битвы»	215
3.1.3 Поздние воинские формулы в повествованиях XV–XVII вв.	221
3.1.4. Использование воинских формул в «Казанской истории»	227
3.2. Изобразительно-выразительные средства в воинском повествовании	231
3.2.1. Система тропов в воинских повестях XII–XV вв.	231
3.2.2. Цвет в текстах воинского содержания.	252
Заключение	261
Литература	262

ВВЕДЕНИЕ

Военные события стоят в центре множества произведений древнерусской литературы во все эпохи ее развития. Постоянная необходимость защищать границы Руси, а на определенном этапе и борьба между русскими князьями за власть обусловили особое внимание древнерусских книжников к батальной теме. Начиная с ранних летописей, возникают различные формы рассказа о военных событиях, в первую очередь погодные записи и воинские повести. Однако сам термин «повесть» для древнерусского периода требует пояснения.

Существование жанра повести в средневековой литературе признавалось всеми исследователями с конца XIX в., но представление о границах этого жанра было различным. Как правило, понятие «повесть» относили только к переводным произведениям историко-беллетристического характера, а по отношению к оригинальным древнерусским текстам исторического содержания употребляли термин «сказание» [1, 313-314], или «сказание» и «повесть» как синонимы [2, 465-466].

В обобщенной форме проследил черты и направления развития жанра Я.С.Лурье в статье, включенной в коллективную монографию, посвященную русской повести XIX в. [3]. Литературовед указал, что слово «повесть» использовалось в древнерусской письменности чрезвычайно широко: «Повесть – это и весть о каком-либо событии..., и описание..., и разговор, и даже насмешка...» [3, 23], причем в терминологическом смысле было неопределенным: «Рано став наименованием для письменного рассказа, повесть и в этом смысле могла означать произведения различных жанров» [3, 23]. Таким образом, исследователь констатирует отсутствие представления о закреплённости слова «повесть» за определенным видом произведений у древнерусских авторов и переписчиков. Затем Я.С.Лурье дает определение и характеристику жанра уже с современных позиций: «Русь знала жанр повести, близкий к соответствующему жанру в литературе нового времени, **повесть как один из видов сюжетной прозы** (здесь и далее выделено мною – *Н.Т.*)... Сюжетная повесть стремилась именно к тому, чтобы показать

событие, и показать его в движении. Острое сюжетное построение было свойственно не только чисто беллетристическим памятникам («неполезным повестям»), но и историческим (летописным и вне-летописным), и житийным повестям Древней Руси» [3, 24]. Неясно определение «сюжетная повесть», поскольку оно должно подразумевать существование «бессюжетной повести», которое вряд ли возможно. Данная Я.С.Лурье далее характеристика повестей более всего ориентирована на первый из названных им типов – «беллетристическую» повесть, как оригинальную, так и переводную, на примере которой и рассмотрены исследователем особенности жанра. Более общее значение имеет типология сюжетов (эпический, телеологический, амбивалентный), изложенная впервые в книге «Истоки русской беллетристики» [4,22-24], и повторенная в цитируемой работе. Итоги развития древнерусской повести представлены в статье тоже односторонне: «За несколько веков своего существования древнерусская повесть пережила значительную эволюцию; мы можем говорить об углублении сюжетных мотивировок и характеристики героев в повестях XVII в. по сравнению с предыдущим временем» [3, 34]. Сюжетные мотивировки и более углубленные характеристики героев начинают появляться в отдельных исторических повестях уже в XV в., а эволюция жанра, конечно, не ограничивается указанными сторонами. Иначе говоря, специфика и границы жанра древнерусской повести пока не определены.

Рано появился в науке термин «воинская повесть», регулярно использовавшийся в работах А.С.Орлова, внесшего значительный вклад в изучение жанра. Исследователем указаны отличительные его черты, названные им «литературной оболочкой воинских сюжетов», в которую он включал отдельные термины и формулы, стереотипные схемы последовательности действия, патриотическую или религиозную идею. Прослеживаются изменения в произведениях жанра, произошедшие в XVI-XVII вв. [5;6]. В более поздних работах ученый создал обобщенную картину развития стиля воинской повести, используя материал наиболее известных летописных и внелетописных произведений [7;8].

Важными были наблюдения М.Н.Сперанского, который обратил внимание на отличие мирозерцания авторов воинских повестей от авторов церковных произведений, на общность отдельных эпизодов и устойчивые выражения [9, 377-378], на народное влияние, выразившееся в появлении «художественно-фантастического элемента, поэтического настроения» [9, 354]. Работы А.С.Орлова и М.Н.Сперанского дали начало целому ряду исследований, посвященных стилистическим особенностям воинских повестей.

Особое внимание было уделено в литературоведении «общим местам» воинских повестей. А.Н.Робинсон исследовал их народнопоэтические истоки [10], Д.С.Лихачев, идя от работ А.С.Орлова и не во всем соглашаясь с ним, предлагал выделить среди «воинских формул» стилистические обороты и стереотипные ситуации [11, 352-357]. О.В.Творогов еще раз обратился к изучению устойчивых формул, в том числе воинских, указав на их связь в ряде случаев с библейскими текстами [12;13].

Новые наблюдения над «общими местами» воинского повествования и их назначением были сделаны английской исследовательницей Е.А.Прохазкой [14; 15]. В ее работах проанализировано происхождение ряда «воинских формул» с точки зрения метонимической или метафорической основы, расширен их круг по сравнению со списком, данным в ранних работах А.С.Орлова, прослежены их новые черты в поздней литературе. Однако неполнота привлекаемого материала, ориентация главным образом на известные внелетописные воинские повести приводят исследовательницу в ряде случаев к неточным выводам. Например, формулу «взять на щит» она не находит «в произведениях, написанных позже XIII в.» и говорит о том, что употребление ее в текстах XVI и XVII вв. – «стилистический анахронизм» [15, 236]. Между тем формула эта встречается, например, в Комиссионном списке Новгородской I летописи под 1398 и 1401 гг. [16, 392, 396]. Или, трактуя словосочетания со словом «сила» как формулы [15, 235], Е.А.Прохазка забывает назвать один из самых распространенных оборотов «в силѣ тяжцѣ». Список примеров употребления многих формул может быть значительно расширен за счет ветвей летописания, не при-

влеченных автором в работе. Процесс превращения формул в элементы красочного детального повествования начинается в XV, а не в XVI веке, как полагала английская исследовательница [15, 239]. Таким образом, работа содержит достаточно обширный, но не исчерпывающий материал по теме, а потому выводы ее не всегда безупречны.

Общей системе формул древнерусской литературы посвящена монография В.В.Колесова «Древнерусский литературный язык» [17]. Рассматривая историю возникновения и развития формул с лингвистической точки зрения, ученый обосновывает неизбежность эволюции этого явления, прямо связывая его с понятием жанра. По мнению В.В.Колесова, все формулы происходили из делового языка и, лишь попадая в иные условия, используя в других жанрах, приобретали переносный смысл и начинали играть стилистическую роль [17, 137-144]. Развитие формул шло от большей предикативности к большей описательности и соответственно к увеличению в XV в. их объема «за счет определений и однородных членов» [17, 157]. В результате «именно принцип отбора и соединения формул после XV в. создает жанровые ограничения текста» [17, 273]. С последним утверждением вряд ли можно согласиться: жанровые ограничения текста гораздо более многообразны, но многие наблюдения и выводы монографии находят подтверждение при изучении воинских формул.

Новый аспект в изучении устойчивых формул древнерусской литературы был рассмотрен в работе О.П.Лопутько, обратившейся к вопросу о причинах возникновения этого явления. Исследовательница приходит к выводу о том, что формула – это «явление не узко языковое, а психо-языковое», и связывает ее организацию «с процессами обобщения разных уровней» [18, 86].

Существенный вклад в исследование летописных воинских повестей ранней эпохи внесли работы А.А.Пауткина [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. Исследователь выделил основные тематические виды батальных описаний в составе ранних летописей, проследил характерные черты в изображении героев и стилистике летописей, проанализировал широкий круг воинских текстов. Особое внимание уделено воинским повестям в Галицкой летописи, ранее детально не изучавшимся с точки

зрения стиля, в которых выявлены основные художественные закономерности и местные черты.

Значительный круг исследований посвящен отдельным памятникам жанра воинской повести, а в последние десятилетия и отдельным аспектам поэтики произведений этого жанра. Работы В.П.Адриановой-Перетц, Т.Ф.Волковой, В.П.Гребенюка, А.С.Демина, О.А.Державиной, Л.А.Дмитриева, И.А.Евсеевой-Лобаковой, В.В.Кускова, Д.С.Лихачева, Я.С.Лурье, А.Н.Робинсона, М.А.Салминой и многих других ученых раскрывают значение отдельных памятников в развитии жанра, новые поэтические черты каждого из них.

Своеобразный подход к границам жанра проявился в работе Н.А.Сочневой [26, 81-88], предлагающей вывести за пределы жанра воинской повести летописные тексты, рассказывающие о междоусобных битвах князей. Этот подход представляется малопродуктивным, ибо закономерности построения, изображения персонажей, арсенал формул общие для любых рассказов о военных действиях.

Поскольку единое определение жанра воинской повести в современном литературоведении отсутствует, охарактеризуем те позиции, с которых рассматриваются произведения в данной работе. Н.И.Прокофьев и В.В.Кусков считали воинскую повесть одной из разновидностей исторической повести [27, 32; 28, 13]. Поэтом Н.И. Прокофьев дал характеристику исторической повести в целом, назвав ряд ее признаков: эпичность жанра, историзм событий и персонажей, построение на основе логико-художественной обусловленности или по хронологии, включение внутрь повести других литературных форм, преимущественное внимание к событиям, а не к их участникам, реально-правдивый способ изображения. Как дополнительные признаки отмечены особый тип повествователя и язык произведений. Воинская повесть выделяется из круга исторических важнейшим жанрообразующим признаком – объектом повествования, которым служат сражение, поход, осада города.

Литературоведами намечены различные типы классификаций воинских повестей. В ранних исследованиях А.С.Орлов выделил две разновидности этого жанра: книжный и народнопоэтический – и обратил

внимание на различие их стиля, особенно в связи с «воинскими формулами». В классическом труде, посвященном «Слову о полку Игореве», исследователь представил еще одну классификацию воинских повестей – «по степени реальности»: «Одни из них отражают действительные факты с сохранением деталей, другие дают лишь сочиненную картину, лишенную действительных черт события. Есть и смешанный тип повестей, средний между приведенными характерными крайностями. Сочиненность сказывается всего более в описаниях самих боевых столкновений. Для таких описаний выработался запас картинных черт, общих мест, из которых и komponировалось изображение боя» [29, 4]. В этом рассуждении ученый коснулся вопроса о характере вымысла в древнерусских произведениях, по сей день не решенного в литературоведении [30; 31]. Как правило, отделить в летописном воинском повествовании, особенно древнейшем, реальность от вымысла бывает сложно, тем более что представление о реальности средневекового книжника отличалось от современного. Например, к области вымышленного вряд ли можно относить символические формы, как это делает Т.Ф.Волкова [30, 49].

М.Н. Сперанский фактически, не выразив этого в терминах, отметил существование внелетописных и летописных воинских повестей и некоторые их поэтические особенности. Первые, по его мнению, отличаются «своим особым колоритом, своеобразными приемами в описаниях военных, боевых событий. Ряд этих повестей начинается весьма рано – со «Слова о полку Игореве» и переделки сказания Иосифа Флавия о взятии Иерусалима Титом (из «Иудейской войны»), кончая сказанием о взятии Казани и Азовским взятием», вторые, «обычные летописные рассказы о военных событиях..., где идет речь о наших отношениях к иноверным, главным образом татарам. В этого рода памятниках вырабатывается до известной степени своя терминология, свои эпитеты» [32, 77]. Выделив две разновидности жанра, исследователь отнес к первой из них и «Слово о полку Игореве», так же как другие его современники [33] и литературоведы последующего времени [34].

А.А. Пауткиным выстроена на материале Ипатьевской летописи типология, учитывающая тематику и художественные особенности

повестей. В соответствии с этими признаками выделяются группы текстов, рассказывающие о полевой битве, битве за город, походе, поединке, битве на реке в ладьях [20, 6-7]. В то же время исследователь намечает и другую классификацию воинского летописного материала. В зависимости от соотношения документального и художественного начала в тексте «Повести временных лет» он выделяет погодную запись, повествования переходного типа от записи к повести, летописные статьи военно-политического содержания, легенды и предания батального характера [20,8-10]. Первая систематизация оказывается универсальной и может быть применена к материалу любого периода, вторая, выявленная на основе древнейшего из дошедших до нас памятников жанра, свойственна скорее раннему летописанию.

Многообразие точек зрения на жанр объясняется тем, что преобладающие количественно летописные воинские повести несопоставимы с жанром повести в новой литературе, к ним не приложимо определение, данное в современном пособии по теории литературы: «...слово “повесть” говорит о принадлежности произведений эпическому роду литературы и о “среднем” объеме текста (меньшем, чем у романов, и большем, чем у новелл и рассказов)» [35, 320]. Единственное, что можно из этой характеристики отнести к воинской повести, – эпический характер. Поскольку в древнерусской литературе не было ни романов, ни рассказов, объем повестей не с чем сопоставить, тем более что он сильно варьировался и в летописных, и во внелетописных повестях. Используемое в данной работе наименование «рассказ» по отношению к частям повестей и целым повестям – не жанровый термин, а лишь синоним слова «повествование».

Воинская повесть отличается от новой русской повести, поскольку она ставила перед собой иные цели и использовала другие приемы организации текста. Повесть в новой литературе – произведение беллетристическое, имеющее вымышленный сюжет и героев. Воинская повесть – произведение чаще всего историко-дидактическое, почти не прибегающее к вымыслу, а если он появляется, то чаще всего не осознается автором произведения, а происходит из легенды, устного предания, воспринимаемого как достоверный факт. Лишь

по отношению к некоторым произведениям XVI-XVII вв. речь может идти о вымышленных эпизодах или отдельных персонажах. Соответственно построение воинских повестей не отличается сюжетной сложностью и занимательностью, ориентировано на традиционные формы. Эту особенность большинства древнерусских повестей одним из первых отметил В.М. Истрин, который писал: «Для всякой литературы особенную важность имеют, разумеется, самостоятельные, оригинальные повести, как свидетельствующие о развитии известного литературного образования и интереса... Содержание их... несложно, композиция очень проста, но все это вполне соответствовало тому уровню литературного развития, на котором стояли тогдашние и авторы, и читатели» [33, 95]. Эта мысль относится прежде всего к ранним летописным воинским повестям, не содержащим ни вставных элементов, ни значительных описаний. Поэтому, исследуя тексты этого периода, особенно важно отмечать мельчайшие детали, выходящие за пределы традиции, отличающие то или иное произведение от предшествующих и современных ему.

Таким образом, воинские повести давно и плодотворно изучались в литературоведении, но направления и система работы над ними были примерно одними и теми же: разносторонне рассматривались широко известные внелетописные повести и незначительная часть наиболее ярких в художественном отношении летописных повестей. На их основе выявлялись основные черты жанра, прослеживались направления его развития, преимущественно в области стилистики, которая сопоставлялась с переводными и народнопоэтическими произведениями. Была проделана большая работа по выявлению редакций наиболее распространенных воинских памятников и установлению их взаимоотношений. Рассматривались воинские повести в рамках отдельных летописных сводов. Вместе с тем ни в одной работе не предпринимались попытки обобщить наблюдения над воинскими повестями внутри разновременных летописей, созданных в разных княжествах, выявив закономерности их сюжетного развития, представить систему взаимоотношений внелетописных и летописных повестей, использования традиции жанра в монументальных исторических повествова-

ниях XVI и историко-публицистических произведениях XVII в., изменение системы художественных средств на протяжении времени существования жанра.

На основе существующей традиции и проведенных наблюдений формулируем основные представления о рассматриваемом жанре.

Основные черты жанра воинской повести в древнерусской литературе

Воинское повествование в древнерусской литературе имело две основные формы: летописной погодной записи воинского содержания, кратко сообщающей о событиях, и воинской повести, рассказывающей о происшедшем с помощью ряда приемов сюжетного повествования и определенного круга художественных средств. Воинская повесть, представляющая собой один из подвидов древнерусской исторической повести, характеризуется рядом признаков.

1. Жанрообразующим признаком служит, как и для других произведений эпического рода, объект повествования: военный поход, битва, осада города, поединок.
2. Реально-исторический способ обобщения в повестях подразумевает точное отражение событий в том виде, в котором представлял их себе автор. На определенных этапах развития жанра возможно привнесение элементов легендарно-исторического и идеализирующего подхода в изображение героев и событий в зависимости от источников повествования или публицистической тенденции, выраженной книжником.
3. Структура произведений подчиняется хронологическому принципу и логическому отбору эпизодов в соответствии с тремя обязательными композиционными частями: повествованием о подготовке битвы, описанием сражения, рассказом о последствиях военных действий. Сюжет в воинских повестях носит преимущественно эпический или телеологический характер. Он развивается медленно, кульминация выражена слабо, события зачастую передаются не через связное мотивированное повествование, а через цепь сообщений. В качестве элементов структуры в воинскую повесть могут вводиться

лирические (плачи, похвалы, молитвы) и символические (видения, чудеса, знамения) жанрообразования.

4. Повествователь лишен биографических черт, не всегда ясны даже его политические симпатии. Возможными способами выражения позиции по отношению к происходящему для него служат изобразительно-выразительные средства, оценочные реплики и отступления, библейские цитаты, ретроспективная историческая аналогия.
5. Воинская повесть использует по преимуществу общезыковые средства. Повествование лаконично, применяется прямая речь героев, отражающая различные сферы разговорного языка, в том числе и выработавшие определенную устойчивую традицию.

Жанр использовал определенную систему средств изображения событий и персонажей. Важным принципом построения образной системы и рассказов об отдельных событиях была антитеза, чаще всего связанная с христианскими представлениями (христиане – язычники или иноверцы; смирение правых, которым покровительствуют высшие силы – гордость и самоуверенность неправых, терпящих поражение). Соответственно использовались постоянные противоположные по смыслу книжные эпитеты для характеристики тех персонажей, которым сочувствовал повествователь, с одной стороны, и врагов – с другой, противопоставлялись и чувства героев из противоборствующих групп.

Для изображения битв служили метонимические обороты общезыкового происхождения, сравнения и гиперболы, восходящие к фольклору. Многие из этих средств, закрепившись за определенными ситуациями, превратились в «воинские формулы», сохраняющиеся на протяжении всего периода существования жанра. Почти не встречаются формулы, лексический облик которых был бы неизменным, он варьируется в большей или меньшей степени, но при этом само «общее место» остается узнаваемым. Это относится не только к «поэтическим» формулам, использующим тропы (например, «бысть съча зла» с вариантами: «сильна, крѣпка, ужасна» и др.), но и к синтак-

сическим конструкциям, к которым принадлежит, например, формула судьбы побежденных в бою, организуемая структурой «овии ...инии», «инии... инии», «инии... друзии» с неодинаковым количеством членов в каждом конкретном случае. Поэтому «**воинскими формулами**» в данной работе именуются относительно устойчивые стилистические обороты, описывающие или обозначающие определенные эпизоды или моменты в ходе военных действий и имеющие целью создание краткой образной картины или точное указание на обстоятельства событий. В соответствии с различием их назначения выделяются формулы описательные, использующие как поэтическую основу сравнения, метонимию и гиперболы, и неописательные, закрепляющие речевые обороты, которые называют явления или признаки.

Формирование летописной воинской повести начинается в рамках первых сводов, вошедших в «Повесть временных лет». На этом этапе повести существовали в двух формах. *Историко-легендарные* не имели достоверных источников, использовали фольклорные сюжеты, способы изображения персонажей и образы; *реально-исторические* базировались на письменных источниках и свидетельствах очевидцев. Не до конца сформировалась композиция жанра, неустойчивыми оставались соотношение частей повествования, их внутренняя структура, использовалось небольшое количество формул.

Процесс формирования воинских повестей завершился в летописях разных русских земель в XII в. При многочисленности и разнообразии текстов воинского содержания выявляются два основных подхода к изображению событий, формирующие два типа повестей, которые различаются 1) приемами изложения, своеобразием сюжета; 2) особенностями изображения персонажей; 3) частотой и характером использования повествователем художественных средств и воинских формул.

Повести информативного типа характеризуются ослабленным сюжетным развитием, краткой передачей фактов в виде сообщений, как правило, связанных лишь хронологической последовательностью. Ход событий редко мотивируется замыслами и поступками героев. Описание битвы обобщенно, предстает как единый статический

эпизод. В повестях этого типа князья не являются действующими героями, поэтому в произведениях редки изобразительно-выразительные средства, применяемые для их характеристики, рассказ отличается малой эмоциональностью, нечасто передаются речи персонажей. Позиция повествователя, не всегда выраженная явно, обнаруживается преимущественно путем providенциальных рассуждений, использующих библейские цитаты и ретроспективную историческую аналогию. Для изображения событий авторы часто используют воинские формулы неописательного характера.

Повести событийного типа отличаются развернутым повествованием на всем протяжении, развивающимся более напряженно и мотивированно сюжетом, что, как правило, связано со значительным вниманием повествователя к персонажам и достигается широким использованием прямой речи. Подробное повествование о битвах соединяет конкретные детали реальных событий с воинскими формулами описательного типа. Более широко используются изобразительно-выразительные средства. Повествователь проявляет отношение к происходящему не только с помощью дидактических отступлений, но и через прямые пояснения и оценки.

Формирование, основные композиционные типы летописных воинских повестей в ранних сводах и особенности внелетописного воинского повествования в целом были рассмотрены нами в первой части книги, изданной в 2000 г. [36]. В данной работе основные задачи – показать особенности развития сюжетов летописных повестей в сводах XV-XVI вв., рассмотреть своеобразие малых лирических и символических жанров, включавшихся в воинское повествование, остановиться на основных художественных средствах, использовавшихся книжниками.

Глава 1. РАЗВИТИЕ СЮЖЕТОВ ВОИНСКИХ ПОВЕСТЕЙ В ЛЕТОПИСЯХ XV–XVI СТОЛЕТИЙ

Многообразие летописных сводов XV–XVI вв., создававшихся на основе различных местных традиций, вызвало значительную вариативность текстов воинских повестей, помещенных в них. Речь идет о переработке текстов предшественников летописцами последующих эпох, а иногда и современниками. Проследить приметы этой работы можно на примере множества летописных воинских повестей. Сюжеты, рассмотренные в данной главе, позволяют сделать выводы о причинах, вызывавших изменения в текстах, и о некоторых закономерностях в развитии жанра.

1.1. Переработка сюжета о победе юноши-кожемяки над печенегом

В «Повести временных лет» под 993 г. помещена легендарно-историческая воинская повесть о поединке юноши-кожемяки с печенегом. [37, 106–108]. Вначале указывается относительное время событий (Владимир «пришедшю... с воины Хорватъскои») и точное место: печенеги пришли от Сулы, Владимир встретился с ними на броде у Трубежа, «кдѣ нынѣ Переяславль» [37, 106], войска встали по обе стороны реки. В дальнейшем действие передается через речи героев: печенежский князь предлагает условия поединка, Владимир посылает глашатая искать богатыря, старец, пришедший к князю после неудачных поисков им поединщика в дружине, рассказывает о силе своего младшего сына («Отъ дѣтства си своего нѣсть кто имъ ударилъ. Единою бо ми сварящю, оному же мнущю уснѣе и разгнѣвася на мя, преторже черевии руками» [37, 107]), юноша просит испытать его, после испытания князь одобряет его силу.

Центральная часть, рассказывающая о приходе печенегов с богатырем, кратко описывает внешность героев, основываясь на противопоставлении: печенег «превеликъ зѣло и страшень», а юноша «средний тѣломъ» [37, 108]. Описание боя кратко: бойцы боролись, и юноша

победил. Заключительная часть сообщает об окончательном изгнании печенегов войском Владимира, заложении города Переяславля, название которого летописец поясняет («зане перея славь отрокъ»), возвышении юноши и его отца князем и возвращении князя в Киев «с побѣдою и славою великою». В построении сюжета произведения использованы мотивы фольклора: А.А.Шайкин отмечает в нем переплетение былинных и сказочных черт [38, 393-396].

Главный герой, чья сила решает исход событий, не имеет реального исторического имени и летописной «биографии», поскольку участвует только в одном эпизоде. Его главная черта – необычайная сила, проявляющаяся в действии. Ту же черту определяют и слова отца юноши, обращенные к Владимиру. Только в реплике самого юноши, который предложил испытать его до поединка, проявляется другое качество – скромность, явно противопоставленная гордости и самоуверенности врага, что было обычным в былинах и в то же время соответствовало христианским представлениям о Божьей помощи смиренным (древнерусские авторы часто напоминали, что «Бог гордым противится, а смиренных милует»).

Князь Владимир в повести – лицо второстепенное, он похож на Владимира Красное Солнышко в былинах Киевского цикла. Он неспособен найти в своем войске достойного противника вражескому воину: ведь сообщает ему о силе кожемяки отец юноши. Это одна из немногих в «Повести временных лет» воинская повесть, героем которой не является князь.

Редакторы летописей XV и XVI вв. по-разному относились к этому сюжету. Одни стремились передать его в древнейшем варианте, как, например, составитель Софийской I летописи (далее – СІЛ). Другие максимально сокращали, как это сделал автор Рогожского летописца. Он сохранил лишь сообщение о приходе печенегов и победе Владимира над ними, сняв всю повествовательную часть и превратив текст в погодную запись: «Въ лѣто 6501 приидоша печенѣзи въ силѣ тяжцѣ на Владимира и сретѣ ихъ на Трубежи и побѣди я, и ту заложи градъ Переяславль» [39,16]. Такая передача фактов соответствует общей краткой манере этого летописного памятника, стремящегося в по-

вестованиях о событиях прошлого лишь зафиксировать их, не рассказывая о них подробно.

В летописце Переяславля Суздальского, своде XV в., восходящем к основе XIII в., появляются уточняющие детали и вставки, мотивирующие события. В древнейшем варианте печенежский князь предлагает поединок, не обосновывая причин. В переяславской летописи он начинает речь словами «не теряемъ люди» [40, 32], то есть поясняет, что не хочет губить воинов. Детализация, появляющаяся в нескольких случаях, особенно заметна в речи юноши, предлагающего князю испытать его. В Ипатьевской летописи: «Княже! Не вѣмъ, могу ли со нь, да искусите мя: нѣтуть ли вола, велика и силна?» В Летописце Переяславля Суздальского: «Княже, не вѣдаю, могли с него, но еще искуси мя, вели ми добыти вола *Татарскаго* велика и силна, *подпои его медомъ сильнымъ чтобы билъ люди, спусти его съ мною*» [40, 32-33] (здесь и далее выделено мною – Н.Т.). Так же распространяется и описание вола, приготовленного для испытания. В Ипатьевской летописи: «И налѣзоша воль силенъ», в переяславском летописце: «И изыскали вола велми высока, рука не досяжет и силна преизлишь» [40, 33]. Печенежский воин в момент схватки назван татарин^{ом}, что говорит о поздней редакции отрывка, и это объясняет многие из изменений.

Безымянный герой получает имя Переяслав, которое якобы и дало название городу, основанному на месте его подвига. Фактически редакция этой повести в Летописце Переяславля Суздальского представляет собой пересказ первоначального сюжета, автор которого старался сделать ход событий понятным читателю-современнику.

Существенные изменения внесли в повесть летописцы XVI в. Автор Тверского сборника, в целом сохранив текст, дал ему название: «О Переяславли Русском, иже близъ Киева» перед датой, выдвинув на первый план его топонимическое значение. Летописец также заменил некоторые устаревшие слова, например, вместо «усние» и «черевы» использовал слово «кожа» [41, 115-116].

Речь печенежского князя разделена на две части. После предложения о поединке печенеги сразу показали своего богатыря: «И ведоша мужа велика и силна» [41, 115]. Введением вставки автор подчеркивает

стремление печенегов утратить врага. Эта мысль подтверждается и дополнением, внесенным в прямую речь печенежского князя, в которую добавлено: «аще противень сему добудете противна боритися» [41,115], а затем, как и в древнем варианте, приведены условия единоборства.

В конце повести вместо сообщения о том, что Владимир вернулся в Киев «с побѣдою и славою великою», читаем: «Володимеръ же противу ихъ в малѣ изыде, и не могуще стати противу ихъ» [41,116]. Летописец таким образом возразил своему предшественнику, утверждая, что победа и слава похода не принадлежали Владимиру, который вышел против врага с небольшим войском и не сумел найти в нем достойного противника богатырю-печенегу.

Изменения в тексте Тверского сборника говорят о том, что его создатель самостоятельно и критически относился к текстам предшественников, выстраивая логически обоснованное повествование.

В Никоновской летописи повесть перенесена под 6503 (995) год. Первая часть, рассказывавшая о встрече войск и предложении печенегов, сокращена. Не называется место, где происходили события. Речь печенежского князя, предлагавшего поединок, заменена сообщением: «они же выведоша мужа велика и силна, да послеть Володимеръ противу его братися» [42:9,65-66]. Владимир посылает искать богатыря «по всей русской земле», а не в своем войске. Старец назван «некий умошвецъ» (кожевник, сапожник), он рассказывает князю: «имамъ сына, иже, кроящу ему кожу сыромятную великаго вола аргичнаго, и разсверѣпевъ о нѣкоеи вещи, раздра еѣ руками на двое» [42:9, 66]. Снят мотив трудности поисков богатыря, не говорится о том, что Владимир в первый день не сумел найти бойца в своей дружине, так как это принижало бы роль князя-организатора защиты Руси. Исчез фольклорный мотив силы младшего в семье сына, поскольку из речи старца снято упоминание о четырех старших сыновьях. Бытовой эпизод, который был приведен в речи старца, потерял конкретность и превратился в абстрактное доказательство силы юноши. В то же время появляется деталь, подчеркивающая его силу: он мят кожу «великаго вола аргичнаго» (вола, ходившего в упряжке в обозах), то есть очень прочную.

Инициатива испытания в Никоновской летописи исходит от Владимира. Он «повеле» привести юношу и вола, обожженного каленым железом. Для усиления впечатления от силы кожемяки летописец использует синонимичные наречия, придающие описанию события экспрессивность: «волу же **яростно и сверѣпо** бѣжавшу» [42:9, 66]. В сцене испытания юноши речь Владимира, одобряющего его силу, заменена словами: «Володимеръ же и вси его велможи ради быша и повелѣ ему братися з багатыремъ Печенѣжскимъ» [42:9, 66]. Сразу за этим фрагментом следует рассказ о поединке, ничего не сказано о подготовке войска Владимиром.

Снято в тексте противопоставление силы печенега и кажущейся слабости юноши. Антитетические эпитеты, характеризовавшие героев в древнем варианте, заменяет презрительная реплика печенега: «Како сей худый грядеть противъ мене братися?» [42:9, 66]. Введено описание выхода врага на поединок, эмоциональность которого создается за счет использования двух сравнений и синонимических глагольных форм: «И поиде ко отроку, **яростю дыша яко левъ и гордостю взимаяся яко дѣмонъ, и крича и въпиа** на отрока» [42:9, 66]. Чувства печенега, раскрытые в его речи и в этом описании, подчеркивают его уверенность в своем превосходстве.

Поведение отрока объясняется providенциальным мотивом, отсутствовавшим в древнем тексте: «Отрокъ же, надежу имѣя на Бога и на пречистую Богородицу, не бояся, противу его идяше, и одолѣвъ уби багатыря Печенѣжскаго» [42:9, 66]. Из текста исчезает даже то краткое описание поединка, которое было в первоначальном варианте повести.

Судьба победителя описывается с помощью повторения слова «великий»: «...и сотвори отрока того **великимъ** велможею, такоже и отца его **великимъ** величествомъ почте, и весь родъ его» [42:9, 66].

В редакции Никоновской летописи главный герой повести – Владимир, его решениями движутся события, важность которых приуменьшена, поскольку снято условие, выдвинутое печенежским князем (воевать три года или не воевать в зависимости от исхода единоборства). Иначе представлена личность юноши, который превратился

из богатыря, наделенного невероятной силой, в человека, полагающегося на Божью помощь, которая и приводит его к победе.

События благодаря изменениям, внесенным редактором, теряют легендарную окраску, тем более что переработана и стилистика: летописец снимает фольклорные элементы, заменяя их приемами эмоционально-экспрессивного стиля.

Историчность эпизода подчеркивается тем, что далее юноша-кожемяка получает имя Ян Усмошвец. В летописной статье 6509 (1001) г. с заголовком «Богатыри» рассказывается о том, что Александр Попович и Ян Усмошвец, «убивши Печенѣжскаго богатыря», победили печенегов и привели в Киев к Владимиру князя Радмана с тремя сыновьями. В статье 6512 (1004) г. помещена погодная запись: «Идоша Печенѣзи на Бѣлградъ; Володимеръ же посла на нихъ Александра Поповича и Яна Усмошвеца съ многими силами. Печенѣзи же слышавше, побѣгоша въ поле» [42:9, 68]. В этом сообщении автор прибегает к гиперболе фольклорного типа: враги бегут, только услышав о появлении богатырей.

Таким образом, юноша-кожемяка в Никоновской летописи обретает имя Ян, отсутствовавшее в ранних редакциях (только Радзивилловская летопись и Летописец Переяславля Суздальского назвали героя Переяславом). Появляется у него и некая биография, которая ставит его в один ряд с другим легендарным богатырем – Александром Поповичем. Последний, появившись как персонаж повести о битве на Калке в некоторых летописях XV и XVI вв., был затем через былинку об Алексее Поповиче и Тугарине Змеевиче соотнесен со временем Владимира Мономаха (гибель Тугоркана), а в Никоновской летописи оказался современником Владимира Святославича [43; 44].

Создатели Никоновской летописи стремились представить более полные образы персонажей, рисуя которые, они использовали разножанровые стилистические приемы: от книжно-риторических до фольклорных.

Развитие древнего легендарно-исторического сюжета свидетельствует о том, что летописцы XV-XVI вв. стремились сделать текст понятным современникам, придать ему больше наглядности с помощью

введения деталей, а некоторые из редакторов вкладывали в повествование идеи, свойственные их времени, или выражали свое отношение к событиям.

1.2. История повести о междоусобной войне 1149 г. в летописании

Под 1149 г. в Ипатьевской летописи помещена воинская повесть событийного типа, рассказывающая о войне киевского князя Изяслава Мстиславича против Юрия Долгорукого у Переяславля.

В первой части рассказано о причине конфликта: изгнании Ростислава Юрьевича, оклеветанного киевлянами, из волостей, данных ему Изяславом, в результате чего его отец Юрий выступил против киевского князя. Главным средством повествования становится прямая речь. Прежде всего, это документальные речи в сообщениях о посольствах. Этикет посольских речей был изучен Д.С.Лихачевым, который отметил устную традицию их передачи, устойчивость форм и высокую культуру [45]. Эти речи не только «значительны по содержанию, существенны для понимания исторических событий» [4,55], но, как и другие типы речей в рассматриваемой повести, имеют сюжетное и характерологическое значение.

В первой из посольских речей Изяслав, поверивший людям, которые обвиняли Ростислава в умысле против его власти как киевского князя, пеняет ему на мнимое предательство. Здесь появляется элемент иллюстративной речи, поскольку киевский князь упоминает о событиях, произошедших ранее и изложенных в летописной статье 1148 г., о том доверии, которое он оказал Ростиславу, а затем передает наветы киевлян. Речь раскрывает доверчивость Изяслава и выражает его гнев и обиду. Ответ Ростислава, переданный также через посла, подчеркивает чувства говорящего: обиду на несправедливые упрёки и стремление установить истину на княжеском суде. Однако Изяслав отказывает ему и требует, чтобы Ростислав покинул Киев.

Использованы в этой части и сюжетные речи, мотивирующие развитие повествования и раскрывающие побуждения действующих лиц. Реплика Ростислава к отцу по возвращении из Киева содержит призыв

к Юрию идти на Изяслава к Киеву не только за обиду сына, но и потому, «оже хочеть тебе вся Руская земля и черныи клобуки» [37,373]. Это дополнение говорит о Ростиславе как о человеке умном и тонком, который понимает, что, возможно, отец не вступится за ослушавшего его сына, но непременно выполнит его просьбу, если будет надеяться на захват Киева. В сюжетном отношении эта речь мотивирует решение Юрия и способствует дальнейшему развитию действия.

В основной части повести содержится подробный рассказ о походе. Повествование о сборе союзников Изяславом и Юрием, отражающее сложные отношения князей, в значительной мере ведется через речи послов и изображение княжеских советов. Все реплики способствуют развитию действия и одновременно ярко характеризуют героев. Владимир Давидович, помня крестное целование, данное Изяславу, предупреждает его о начавшемся походе, а затем дает согласие присоединиться к его войску, доказывая тем самым верность данному слову и преданность сюзеру.

Иначе ведет себя Святослав Ольгович, также связанный клятвой. Он не дает сразу ответа послам Изяслава и держит их у себя неделю, охраняя, чтобы они ни с кем не общались. Тем временем он отправляет посла к Юрию, чтобы узнать, действительно ли тот вышел в поход, и просит не губить его земли. Получив утвердительный ответ, Святослав наконец отпускает послов Изяслава, ставя ему условие: «А вороти ми товара брата моего со што любо, а я с тобою буду» [37, 375]. Эта речь отражает хитрость князя, якобы желающего получить имущество убитого в Киеве брата Игоря, а на самом деле стремящегося найти повод не помогать Изяславу. Уловка Святослава не достигает цели: посол не только передает киевскому князю его речь, но и сообщает о его переговорах с Юрием. При этом он приводит слова последнего, произнесенные в ответ на посольство Святослава, которые летописец ранее не поместил: «Како хоцю не въ правду ити? Сыновець мои Зяслав на мя пришедь волость мою повоевалъ и пожегълъ и еще и сына моего выгналь из Русьской земли и волости ему не далъ и соромъ на мя возложилъ. А любо соромъ слою и земли своеи мыщю, любо честь свою налѣзу, паки ли а голову свою слою» [37, 375-376]. Не случайно эта

речь приведена не в момент ее произнесения, а значительно позже: она не имеет существенного сюжетного значения, потому что читателю уже известно о неколебимости решения Юрия о походе. Но привести ее летописцу было необходимо, чтобы подчеркнуть побуждения Юрия, обиженного Изяславом и желающего восстановить свою честь.

Посольство Юрия и Святослава к Владимиру и Изяславу Давидовичам с призывом идти против Изяслава Мстиславича оказалось безуспешным. Давидовичи сослались на крестное целование, данное киевскому князю, но, между прочим, припомнили Юрию, что он не выполнил своего обещания помочь им, когда Изяслав напал на их земли. И, хотя они добавили, что «душею не можевъ играти» [37, 377], имея в виду данную клятву, читателю ясно, что руководило ими не только чувство долга, но и обида на Юрия. Поэтому Давидовичи отказали ему и послали к Изяславу сообщение о походе суздальского князя. Таким образом, ряд посольских речей служит мотивацией событий, раскрывая перед читателем все хитросплетения княжеских отношений и представляя личности участвующих в событиях персонажей.

Речь, переданная послами Юрия Изяславу, в основном иллюстративная: князь перечисляет беды, принесенные ему в прошлом противником («се, брате, на мя еси приходил, и землю повоевалъ, и старѣишинство с мене снялъ» [37, 380]), но затем высказывает просьбу отдать Ростиславу Переяславль, чтобы предотвратить начинающуюся усобицу: «Ныне же, брате и сыну, Рускыя дѣля земля и христіянь дѣля не пролѣвие крови христьянскы, но даи ми Переяславль, ать посажу сына своего у Переяславли, а ты сѣди царьствуя в Киевѣ. Не хочещи ли того створити, за всимъ Богъ» [37, 380]. Юрий выступает в роли миротворца, желающего восстановить справедливость, при этом он якобы не претендует на Киевское княжество.

Последняя из посольских речей во время сбора войск имеет сюжетное значение. Изяслав просит брата Ростислава о помощи, и Ростислав в ответ приводит своих воинов.

Сюжетную роль и одновременно функцию детализации повествования выполняют речи бояр и князей, обращенные к Изяславу. Во время первого совета с союзниками, в ходе которого решался вопрос

о переправе через Трубеж навстречу войску Юрия, часть дружины и бояр говорила: «Княже, не ѣзди по немъ. Отъяти перешель земли а трудился, а сдѣ пришедъ не успѣлъ ничтоже, а то уже поворотися прочь, а на ночь отидеть, а ты, княже, не ѣзди по немъ» [37, 380-381]. Другие советовали вступить в бой. Изяслав выбрал битву, несмотря на аргументы, приведенные противниками этого решения.

Во втором случае мнения князей-союзников Изяслава вновь разделились: одни советовали отпустить Юрия к обозам и не преследовать его, другие же требовали идти на врага. Изяслав вновь выбрал битву, в которой потерпел поражение. Эти речи княжеских советников непосредственно готовят кульминацию событий, создавая дополнительное напряжение в сюжетном развитии, поскольку ставят героя в ситуацию выбора.

Речи второстепенных персонажей тоже имеют сюжетное значение. Пленныйловец сообщает Изяславу о плане Юрия раньше него подойти к Переяславлю, поэтому киевский князь срочно посылает вперед младших князей и войско черных клобуков. Святослав Ольгович говорит Юрию: «Брате, то намъ ворогъ всимъ Изяславъ. Брата нашего убилъ» [37, 376], побуждая союзника к активным действиям, и в тот же день Юрий выступает с войском.

Передавая речи персонажей, автор делает развитие действия последовательным и обоснованным. Те же особенности проявляются в рассказе о военных событиях. Передвижение войск, возникавшие перестрелки описываются с подробностями и мотивирующими деталями. Пространно описана решающая битва: показана расстановка сил, само сражение и бегство дружин князей. В описании боя использована формула «и бысть сѣча зла», в сцене разгрома войска «и многы избиша, а другия руками изоимаша» [37, 382].

В последней части описывается судьба победителей и побежденных: Юрий вошел в Переяславль, а затем в Киев, откуда вынужден был уйти Изяслав. Окончательно исход событий решил диалог князя с киевлянами, в котором он спрашивал, будут ли горожане сражаться за него и его союзников. Жители Киева ответили ему пространной речью, в которой соединяются иллюстративные и сюжетные элементы:

«Господина наю князя, не погубите нас до конца. Се ныне отци наши и братья наша и сынови наши на полку ови изоимани, а друзии избе-ни, и оружие снято, а ныне ать не возмуть насъ на полонъ. Поедита въ свои волости, а вы вѣдаета, оже намъ с Гюргемъ не ужити. Аже по сихъ днехъ кде узримъ стягы ваю, ту мы готовы ваю есмы» [37, 383]. Перечисляя последствия поражения, уже известные Изяславу и читателю, киевляне мотивируют ими свой отказ сражаться за князя, обещая ему помощь в дальнейшем. Речь их определяет развязку сюжета – уход Изяслава из Киева и вокняжение Юрия.

Речи в повести связаны с сюжетным развитием и ярко характеризуют персонажей, объясняя скрытые причины их поступков, связанные с предыдущими событиями и княжескими отношениями.

Изяслав предстает человеком легковерным, часто неспособным предвидеть развитие событий, обидчивым, склонным в гневе принимать необдуманные решения. Юрий рисуется человеком чести, не прощающим обид и отстаивающим права своих детей. Ростислав Юрьевич – молодой, но дипломатичный князь, способный принимать самостоятельные решения и выполнять их. Поведением эпизодических персонажей чаще всего руководят либо корыстные побуждения, либо верность данной сюзерену клятве.

Аналогичная повесть в Суздальской летописи по содержанию повторяет Киевскую, но по литературным особенностям резко отличается от нее. В ней отсутствует не только детальное описание хода событий, но и значительное количество диалогов и реплик, мотивирующих происходящее. Начало распре, согласно версии владимирского летописца, положили козни дьявола, который заставил бояр Изяслава клеветать на Ростислава. По этой причине становятся ненужными речи, которые в Киевской летописи произносили Изяслав, обвиняющий Ростислава в мнимой измене, и Ростислав, пытающийся оправдаться. Только в дальнейшем автор начинает мотивировать события побуждениями персонажей: битва становится неизбежной, когда Изяслав узнает, что Юрий привел против него не только дружины своих сыновей, но и половцев. Его обида на Юрия оказывается двигателем дальнейших событий.

В повести в три раза меньше речей персонажей, чем в аналогичной киевской (9 вместо 32), при этом все речи первой есть во второй. Некоторые из них совпадают почти полностью, например, речь Юрия, узнавшего об изгнании Ростислава. Другие одинаковы по смыслу, но в Киевской летописи развернуты. Такова речь киевлян, клеветующих на Ростислава: в южной повести она содержит перечисление несчастий, которые принесет городу и его князю выполнение коварного замысла. Совпадающие речи носят сюжетный характер: передают намерения персонажей, воплощающиеся затем в развитии действия, и в то же время характеризуют героев, в первую очередь Изяслава, который предстает перед читателем как действующий под влиянием чувств человек. Несмотря на требование киевлян примириться с Юрием и уговоры епископа, Изяслав стоит на своем, утверждая право в битве отстаивать земли: «Добыть есмь головою своею Києва и Переяславля» [46, 322; 37, 380]. Сюжетна и речь Юрия, дальновидного воина, предлагающего союзникам идти прежде всего на Переяславль, рассчитывая опередить войска противника.

Реплика епископа Ефимия, уговаривавшего Изяслава примириться с Юрием, обещавшего ему награду от Бога и избавление земли от беды, не имеет сюжетного значения, поскольку князь не слушает совета духовного наставника. Она помогает подчеркнуть твердость намерения Изяслава отстоять Киевское княжение. В то же время в речи епископа содержится продолжение мысли о дьявольском происхождении княжеских распрей. Киевский князь оказывается в характерной для летописного повествования ситуации выбора: епископ рекомендует ему путь Божий, но Изяслав отвергает его, поддерживая тем самым дьявольский замысел, вследствие чего терпит поражение.

Таким образом, суздальский летописец включил в повествование только тот тип прямой речи, который традиционно был непосредственно связан с сюжетным построением текста и воплощением религиозно-символической идеи. Отсутствуют посольские речи, игравшие важную роль в точной передаче хода событий и попутно характеризовавшие действующих лиц, поэтому облик героев намечен отдельными штрихами: в Изяславе главными оказываются доверчивость

и властолюбие, в Юрии – стремление восстановить справедливость и уверенность опытного полководца. Практически не раскрыты образы второстепенных персонажей, союзников Изяслава и Юрия. Реплика Святослава Всеволодовича и Святослава Ольговича сохранена в тексте и говорит об их сочувствии и готовности помогать брату. История же переговоров Святослава Ольговича с Изяславом не передана, соответственно исчезла характеристика князя как коварного и корыстного человека. Вместе с речами отсутствует и характеристика князей Давидовичей. Таким образом, владимирского летописца интересовал главным образом ход событий, изначально имевших религиозно-символическую мотивировку, действующие лица в которых выступали преимущественно как статисты.

Все речи персонажей сосредоточены в первой части повести, поэтому ход событий в ней мотивирован и последователен. Описание битвы характерно для владимирской традиции: оно кратко и отмечает лишь основные этапы сражения. Упоминаются позиции, с которых выступали противники, названо время начала битвы («яко солнцю заходящю» – [46, 322]), описание начинается формулой «и бысть сѣча зла» [46, 322]. Затем сразу говорится о судьбе бежавшего войска Изяслава с помощью формулы: «и многы избиша, а другыя руками изымаша» [46, 322]. Третья часть лаконично сообщает о продвижениях войск побежденных и победителей и вокняжении Юрия в Киеве и Ростислава в Переяславле. Герои в последних двух частях не характеризуются, но в их судьбах получает завершение провиденциальный мотив: князь, последовавший дьявольскому умыслу, наказан поражением, а Юрий, чей сын пострадал невинно, приходит в Переяславль, а затем в Киев, «хваля и славя Бога» [46, 322], и эти слова сопровождают сообщения о приходе князя в оба города.

Повествование, как и в аналогичном тексте Киевской летописи, строится из цепи эпизодов, но явно относится к информативному типу. Рассказ о событиях заменяется краткими сообщениями, главные герои лишаются многих важных черт, облик их маловыразителен, изображение битвы дано в сочетании воинских формул, не относящихся к описанию битвы, и отдельных конкретных деталей. Благодаря

религиозно-символическим мотивировкам событий особенно ясно выступает дидактический замысел летописца.

В Московском своде конца XV в. текст повести ориентирован на вариант Лаврентьевской летописи, внесены лишь отдельные изменения, причем сокращения преобладают над вставками. Дополнение обнаруживается лишь в речи Изяслава и внесено оно, очевидно, чтобы разъяснить читателю причины нежелания князя мириться с Юрием. В Лаврентьевской летописи князь говорил: «Добыль есмь головою своею Кыева и Переяславля» [46,322], в тексте Московского свода добавлено: «а ныне ли ми ихъ отступитися?» [47,66].

Сокращения коснулись прежде всего религиозно-символической мотивировки событий в начале повести. Редактор опустил слова о том, что клевета киевлян на Ростислава была вызвана дьявольским наущением. Вероятно, летописец решил отказаться от дублирующей мотивировки, поскольку в повести оставалось объяснение дальнейших событий умыслом «злых людей».

В описании битвы сняты конкретный рассказ о бегстве полков с поля боя и формула судьбы побежденных. В этом, видимо, сказалось стремление избежать излишних подробностей. Проведенная работа сделала текст более сдержанным и объективным, что в целом соответствовало манере московских летописцев этой эпохи.

В Тверском сборнике изменения довольно значительны, хотя основой повествования послужил также вариант, вошедший в Лаврентьевскую летопись. Редактор дал повести название: «О брани Юриевъ съ Изяславомъ». Начинается она оригинальным вступлением – рассуждением о дьявольских кознях, заставляющих злых людей подстрекать князей к междоусобным битвам: «Въ то же время Юрий прииде обычаемъ таковымъ: злыи челоувѣци, диаволомъ подгнѣщаеми, яко огонь сѣно зжагають, тако и сии, въздвигнувши вражду въ государехъ ихъ, въ грѣхъ и срамъ въводятъ, а сами погыбають злѣ, якоже речено в писаниихъ: злии злѣ погыбоша» [41,213]. Летописец, варьируя многократно встречавшееся в летописях объяснение междоусобных войн дьявольскими кознями, дает резкую оценку результатам наветов с помощью яркого сравнения и библейской цитаты (ср. Мф 21:41).

Завязка действия – клевета бояр и изгнание Изяславом Ростислава – переданы более кратко, чем в ранней повести благодаря отсечению части прямой речи, в которой сохранено только главное обвинение, выдвинутое против Ростислава: «хотѣлъ сѣсти въ Киевѣ» [41, 213]; более краткому определению действий Изяслава, наделенному в то же время отсутствующей в раннем тексте отрицательной оценкой: «ограби Ростислава» [41, 213] (в Лаврентьевской летописи – «отима у него имѣнье и оружье и конѣ и дружину его исковавъ расточи» – [46, 320]).

Речь Юрия по приезде сына расширена дополнительной репликой: горестно вопрошая, ужели ему и его детям нет части в Русской земле, он добавляет: «или не отецъ мнѣ былъ князь великий Владимир Мамаха?» [41, 213]. Далее автор последовательно сократил повествовательные элементы, снял переговоры Изяслава с киевлянами, говоря об их нежелании помогать князю. Сокращена до одной реплики речь епископа Евфимия. Сохранена в полном объеме только речь Изяслава о его обиде на Юрия за то, что тот привел Ольговичей и половцев, и, как в Московском летописном своде конца XV в. распространяется его реплика в ответ на слова Евфимия: «добыли есми своимъ потомъ Киева и Переяславля, а нынѣ ли ми ся отступити?» [41, 214]. В таком виде эта речь более определенно выражает мысли героя и обосновывает его намерение биться с Юрием.

Все описание битвы сведено к двум формулам: начала боя, вариант которой был и в древней редакции, и введенной автором Тверского свода формуле Божьей помощи. В последней части все сообщения тоже сокращены, но появляется новый элемент: чудо у некоего «града висока», у которого были побиты половцы, шедшие с Юрием. Автор поясняет, что «бѣ же то не градъ, но село свята Богородица Печерскаа, а града николи же не бывало» [41, 214]. Можно предполагать, что этот эпизод помогает летописцу, в целом сочувствующему Юрию, выразить свое несогласие с приглашением половцев против русского же князя.

Таким образом, летописец, перерабатывая древний текст, изымает детали, малоинтересные его современникам, придавая в то же время рассказу ярко выраженный дидактический характер за счет введения рассуждения в начале и чуда в конце повествования.

В передаче событий Никоновской летописью также заметны новые черты. Как и в редакции Московского летописного свода, в начале повести снята религиозно-символическая мотивировка событий умыслом дьявола, замененная оценкой летописцем клеветников: «злии человекѣци» [42:9, 179].

В дальнейшем переработка повести приобретает определенную направленность. Во-первых, автор стремится мотивировать события. Об этом говорят два эпизода. В рассказе о сборе войск Юрием летописец передает самому Юрию реплику, ранее приписывавшуюся летописцами Святославу Всеволодовичу и Святославу Ольговичу, обращенную к Юрию, с призывом идти на Изяслава – убийцу Игоря Ольговича. Если в древней редакции повести приход этих князей на помощь Юрию не был мотивирован, то редактор Никоновской летописи, изменив ход событий, объясняет появление у Юрия союзников его речью о том, что Изяслав враг им всем, в первую очередь Ольговичам.

Чтобы подчеркнуть могущество войска Юрия и объяснить дальнейшую остановку в пути на месяц в ожидании союзных половцев, автор добавляет: «И сице совокупившеся послаша по половци, и по угры, и по чяхи, и по ляхи...» [42:9, 180].

Второй эпизод, в котором автор меняет последовательность фрагментов, – рассказ о том, как Изяслав принял весть о выступлении Юрия и собирал союзников. В Лаврентьевской летописи он помещен после рассказа о передвижении войск Юрия и перестрелке между ними и засадой брата Изяслава Владимира. В Никоновской летописи сообщения о передвижении войск и сборе союзников Изяславом перенесены и стоят вслед за фрагментом, рассказывающим о решении Изяслава биться с Юрием. Редактор дважды упоминает о том, что Юрий с союзниками ожидали «покорения» от Изяслава: сначала у Белой Вежи, куда должны были подойти половцы, а потом у Переяславля, но он «ни единого слова не даде им» [42: 9,180] (фраза повторена в обеих ситуациях). Затем помещены слова Изяслава, пересказывающие реплику, данную в древней редакции, о готовности мириться с Юрием, если бы он не взял в союзники Ольговичей и половцев. Вслед за этим автор рассуждает о том, что Изяслав на-

деялся на свою силу, «а помощь отъ Бога есть» [42: 9, 180], а далее приводит библейские цитаты, подтверждающие эту мысль: «егоже хоцеть, смиряеть, а егоже хоцеть, высить, возставляеть отъ земля нища, и отъ гноища воздвизаеть убога, посадить его съ силными людьми и на престолѣ славы наслѣдствуя его; смиреннымъ бо благодать дасть Господь Богъ, гордымъ же противляется» [42:9, 180] (ср.: 1 Цар.2:7,8; Пс.112:7, 146:6, Иак. 4:6 или 1 Петра 5:5). Таким образом, дальнейший ход событий мотивируется словами Изяслава и предсказывается авторским отступлением.

Третий эпизод, в который внесены изменения, – повествование о подготовке войска в Переяславле. Здесь редактор приводит две речи епископа Евфимия Переяславского к Изяславу, в разных вариантах передающие мысль о необходимости примирения с Юрием. Первая реплика заменяет слова киевлян в Лаврентьевской летописи, которые говорили о нежелании вступать в битву с Юрием и уговаривали мириться. Автор опускает реплику киевлян, поскольку ранее уже было сказано о приходе Изяслава в Переяславль, а возможно, и потому, что в своде, связанном с централизованной княжеской властью, редактору казалось неуместным ссылаться на мнение горожан. Роль же епископа как духовного наставника в XVI в. осознавалась как непреложная. Двукратное обращение епископа к князю создавало дополнительное сюжетное напряжение и подчеркивало гордость и нежелание мириться Изяслава. Примечательно, что после второй речи епископа автор распространил реплику Изяслава: «добыль есми великое княжение Киевское и Переаславское великимъ трудомъ и потомъ» словами: «а нынѣ ми ся велите оставити таковыя державы» [42:9, 180], а затем комментирует ее: «Еуфимей же епископъ Переаславский глаголаше ему о любви и о мирѣ, а не о оставлении великого княжения Киевскаго» [42:9,180]. Такое дополнение текста ранней летописи служит более детальной характеристике героя и выражению позиции летописца-редактора.

Все существенные изменения, внесенные в текст повести, направлены на мотивировку сюжетных ходов, придание последовательности повествованию, создание образа героя и выражение взгляда летописца.

Второе направление работы редактора – приспособление стиля к нормам эпохи. В абсолютном большинстве случаев князья именуются по отцу, а Юрий даже с прозвищем «Мономашь». Кроме этого, повествование тяготеет к распространению, детализации. В этом отношении характерен эпизод изгнания Ростислава. В Лаврентьевской летописи он краток и передает лишь основные действия персонажей. В Никоновской летописи изложение тех же событий гораздо более пространно (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнение отрывка Лаврентьевской и Никоновской летописи

Лаврентьевская летопись	Никоновская летопись
«Изяславъ же послушавъ ихъ, отъима у него имѣнье и оружье и конѣ и дружину его исковавъ расточи, а Ростислава всади в ладью толико самого ли четверта пусти и къ отцю» [46, 320].	«Князь велики же Киевский Изяславъ Мстиславичъ оскорбися зѣло, и советовавъ з бояры своими, и отъязъ отъ него грады вся, и власти, и богатство, и имѣние и оружье и кони, а бояре его и слуги его переимавъ всѣхъ, и овѣхъ скова оковы желѣзными, и въ темницахъ каменныхъ затвори и стражие крѣпци пристави, овѣхъ же, по инымъ градомъ разведъ, въ темницахъ затвори; а князя Ростислава Юрьевича ограби, и всади въ лодью, и посла ко отцю его въ Суждаль къ великому князю Юрию ВладимERICЮ Мономаху токмо самого четверта» [42:9,179].

Редактор Никоновской летописи из краткого сообщения о событии создал пространную и выразительную картину расправы с мнимым предателем Ростиславом, используя большое количество деталей, составляющих перечислительные ряды и оформленных эпитетами. Такой тип переработки текста говорит о тенденции к беллетризации, появившейся в летописном повествовании в XVI в.

Итак, в истории текста летописной повести 1149 г. можно выделить два основных типа повествования. Событийный тип, изначально представленный в Кивской летописи, характеризуется подробной передачей хода событий, детализацией, использованием большого количества речей героев, выполняющих сюжетную и характерологическую функции, вниманием к историческим лицам, выражением авторской

позиции через отдельные реплики и структурные изменения в тексте поздних редакций.

Информативный вариант повествования открыто дидактичен, летописцы используют провиденциальную мотивировку событий, уделяют значительно меньшее внимание их ходу и изображению исторических персонажей, в том числе речам.

Примечательно, что наиболее близкой к редакции Киевской летописи по характеру повествования оказывается редакция Никоновского свода. В условиях активного развития исторической литературы в целом на ином уровне в ней проявляются черты повествовательности и стремление к яркому изображению личностей князей.

1.3. «Повесть о битве на Липице» в переработках летописцев XV–XVI веков

Повесть о битве на Липице – текст, активно развивавшийся в летописании. История его в соотношении с историей русских летописных сводов детально рассмотрена в работе Я.С.Лурье [48]. В произведении рассказано о междоусобной войне, которая возникла в результате захвата части новгородских земель и пленении их жителей Ярославом Всеволодовичем и привела к изгнанию Юрия Всеволодовича с Владимирского княжения и вокняжению там Константина Всеволодовича.

Ранняя редакция ее помещена в Новгородской I летописи (далее – НЛ), где она представляет собой необычную для летописания этого княжества событийную повесть. В первой части подробно описывается подготовка к битве: сбор войск Мстиславом Удалым и Владимиром Псковским, захват ими владими́ро-суздальских городов, соединение с Константином и ростовским войском, расположение сил противников, попытка мирных переговоров со стороны Мстислава, пытавшегося вернуть попавших в плен дружинников и получить захваченный Волок обратно; отказ от мира Ярослава и Юрия. В повествовании этой части значительную роль приобретает прямая речь персонажей: на нее приходится 6 из 7 речей. Две из них – реплики князей в разговоре, две – слова воинов, две – посольские речи. Реплики князей выражают

приказания или намерения, то есть прямо связаны с развитием событий. Мстислав перед походом призывает новгородцев запастись всем необходимым: «Идете в зажития» [16, 55], а затем, не соглашаясь с предложением воинов идти на Торжок, захваченный Ярославом, решает вместе с Владимиром Псковским: «Поидемъ к Переяслалу, есть у наю третии другъ» [16, 55].

Посольские речи в произведении несколько более пространны. Две речи, появившиеся в ходе неудачных переговоров о мире, значительны по содержанию и объясняют ход дальнейших событий. Первая речь, переданная Ларионом-сотским, обращена сначала к Юрию, а затем к Ярославу: «Кланяемъ ти ся, нету ны с тобою обиды, съ Ярославомъ ны обида; пусти мужи мои новгородци и новоторжъци и, что еси зашьль волости naszej новгородьской Волокъ, въспяти; миръ с нами възьми, а крестъ къ намъ цѣлуй; а крови не проливаемъ» [16, 56]. Краткость реплики, ясность изложенных требований отвечают традиции посольских речей, сложившейся в XI-XII вв. Одновременно эта речь характеризует князей, выдвигающих условия мира: они не желают братоубийственной войны, а стремятся лишь к восстановлению порядка, нарушенного захватом Ярославом чужих владений.

Характеристику князей-противников Мстислава дает их ответ, также переданный через Лариона: «Мира не хотимъ, мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо» [16, 56]. Упорство, нежелание предотвратить междоусобную битву, гордость собственными силами и презрение к противнику явственно звучат в этой реплике, в которой нет ни единого лишнего слова, а использованное сравнение ярко выражает убежденность в незначительности сил Мстислава.

Первая реплика воинов, предлагавших идти на врага к Торжку, носит, видимо, документальный характер, но никак не комментируется в повести. Вторая же служит ответом на известие, принесенное Ларионом, о неизбежности битвы: «Къняже, не хотимъ измерети на конихъ, но яко отчи наши билися на Кулачьскеи пеши» [16, 56]. Эта реплика предвосхищает ход событий и подчеркивает решимость воинов биться до смерти, а упоминание о битве на Колокше указывает на то, что у новгородцев есть опыт таких битв. Вероятно, они име-

ли в виду сражение 6605 (1097) г., упомянутое летописью, в котором новгородцы победили Олега Святославича [16, 19, 202]. Не случайно за этой репликой следует сообщение, что «князь же Мьстислав радъ бысть тому» [16, 56].

Рассказ о битве начинается упоминанием о спешивании новгородских воинов. Само сражение описано очень кратко, наибольшее внимание уделено бегству полков Ярослава и Юрия. Используются формулы Божьей помощи и дважды – бегства «вда плечи (плече)». Точно указана дата боя.

В третьей части повести подробно рассказано о бегстве князей в свои города, сдаче Владимира и вокняжении там Константина, возвращении Мстиславу оставшихся в живых пленных новгородцев и дочери – жены Ярослава. Завершает историю похода новгородская формула «придоша... съдрави вси», а за ней следует перечень убитых новгородцев, в других летописях появляющийся только в значительно более поздних записях. В этой части помещена последняя посольская речь, принадлежащая Юрию, вынужденному смириться с потерей Владимира. Осажденный в своем городе, неспособном противостоять врагам, он смиренно просит через посла: «Не деите мене днесъ, а завтра поиду из города» [16, 56]. Эта реплика определяет дальнейшие события и в то же время подчеркивает унижение князя, так гордившегося своей силой.

Летописец сдержан в изображении героев, хотя поступки и речи отражают их главные черты. Отношение к событиям автор выражает трижды. «Оле страшно чюдо и дивно, братъе; поидоша сынове на отца, брат на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ» [16, 56] – восклицает он, рассказав о приходе войск к будущему месту битвы. Эта реплика новгородского летописца прямо перекликается с размышлениями автора «Слова о полку Игореве»: «Рѣкоста бо братъ брату: “Се мое, а то мое же”. И начяша князи про малое се великое мльвити, а сами на себѣ крамолу ковати» [49, 6]. Авторы произведений-современники скорбят о разрыве князьями кровных уз во время междоусобиц. После битвы летописец дважды оценивает ее результаты: «О, мьного побѣды, братъе! бешисльное число, око не можетъ

умь челоуѣчьскъ домыслити избьеныхъ а повязаныхъ» [16, 56], «О, великъ е, братье, промысль Божию...» [16, 57] – восклицает он, имея в виду, что поражение потерпела виновная сторона, князья, затеявшие усобицу и не желавшие идти на мирные переговоры. Позиция повествователя выражается эмоциональными репликами – традиционным для новгородской летописи способом, только они более многочисленны и пространны, чем в других повестях.

Изображение персонажей в произведении тесно связано с личностью летописца-новгородца: большее внимание уделено Мстиславу, его союзникам и войску, но, явно осуждая зачинщика усобицы Ярослава, автор подчеркивает своим отступлением мысль о неестественности междоусобных войн вообще.

В тексте Рогожского летописца повесть о битве на Липице помещена под 6723 (1215) г. В отличие от НЛ, где пространный рассказ о причинах междоусобицы находится в предыдущей летописной статье, в начале текста редактор кратко сообщает о поводе к военным действиям, перечисляя те беды, которые принес новгородской земле Ярослав Всеволодович, захвативший Торжок и взявший в плен купцов. Выступление Мстислава с новгородцами мотивировано уроном, нанесенным их землям. Такое перемещение в тексте придает повествованию большую обоснованность и цельность. В первой части повести кратко сообщено о составе враждующих сторон. Переговоры представлены двумя посольскими репликами: Мстислава, уговаривающего не проливать крови, и Ярослава, отказывающегося от предложенного мира.

Краткое описание битвы начинается с сообщения, бывшего в НЛ, о спешивании новгородских воинов, а далее в него включен фрагмент авторского отступления, превращенный редактором в элемент повествования: «... и поидоша брать на брата, отцы на сыны, сыны на отцы, раби на господу...» [39, 26]. Изменение функции отрывка, который в новгородских и более поздних общерусских сводах выражал отрицательное отношение автора к междоусобным войнам, делает его менее выразительным и приглушает его оценочное значение, тем более что в продолжении той же фразы использованы две повествователь-

ные формулы: «и бысть побоище зло», «и паде Ярославлихъ бес числа, а иныхъ изымаша» [39, 26]. В повести отсутствует рассказ о результатах битвы, пространный в других летописях.

Такое сокращение текста отвечало основным принципам работы редактора Рогожского летописца. Во-первых, это стремление к краткости, передача минимума необходимых сведений. Во-вторых, нежелание давать прямые характеристики героев, что приводит к отсутствию авторских отступлений и оценочных изобразительно-выразительных средств. В-третьих, исключение последовательных батальных описаний, замененных немногочисленными деталями и формулами. Такой подход к работе с текстами предшественников, посвященными событиям прошлого, свидетельствует о стремлении выбрать основное и объективно отразить ход действия, что говорит о некотором прагматизме редактора.

Редакция повести в СИЛ близка к НIV, что говорит о ее создании автором их общего протографа. По сравнению с ранней новгородской и рогожской редакциями повесть сильно распространена, структура ее сложнее. Первая часть точно указывает дату выступления новгородского войска во главе с Мстиславом в поход «месяца марта въ 1 день въ вторникъ» [50, 263] и кратко сообщает об осаде небольших городков Городца и Ржевки в форме погодных записей. Основное место в этой части уделено переговорам князей об условиях возможного мира, рассказ о которых перемежается краткими сообщениями о передвижении войск и сопровождающих его небольших сражениях. Так, повествуется о посылке сторожевого отряда Ярославом и битве с ним Яруна, отправленного вперед «с молодыми людьми», который сумел победить противника, и автор прямо отмечает: «То же бысть первая побѣда на нихъ на Благовѣщение» [50, 264]. Далее рассказывается о пути войск Мстислава, захвативших и сжегших ряд городков Ярослава, о посольстве Константина, соединении войск и сборе сил Юрием. В этом фрагменте появляется авторское отступление, бывшее в более ранних сводах, о противоестественности совершающихся событий.

Вслед за сообщением о новых безрезультатных переговорах следует редкая для воинских повестей картина пира в стане Ярослава и Юрия.

Во время него обсуждаются дальнейшие действия и князья дают наставления воинам о будущей битве. Затем они начинают делить земли, которые надеются захватить в результате битвы, и скрепляют договор грамотами. Здесь летописец забегаёт вперед, говоря о том, что «ты же грамоты взяша смолняне по побѣдѣ въ станехъ Ярославлихъ и даша своимъ княземъ» [50, 267]. Нарушение хронологии было необычным для жанра и оправдано, очевидно, тем, что данное свидетельство придает документальный характер эпизоду.

Вторая часть начинается с рассказа о подготовке основного сражения: хитрости Ярослава и Юрия, вызвавших противников на бой к Липице, но за ночь отодвинувших войска за лес, на гору, и переговоров о месте боя. Описание сражения состоит из двух эпизодов. В первый день Мстислав с союзниками отправили биться младшую дружину, и те «бьяхутся неприсердьно. Бяше бо того дни буря и студено вельми» [50, 268]. Появляется редкое объяснение хода событий природными явлениями, а упоминание боя очень кратко. Сцена второй битвы отделена от первой рассказом о совете Мстислава с союзниками и их обращении к воинам. Сражение на всех этапах описано детально, при этом использована лишь одна редкая формула: «акы на нивѣ класы пожинаху» [50, 270]. Сообщение о победе сопровождается точным указанием на дату: «месяца апрѣля 22, в четверг в 2 неделю по Пасцѣ» [50, 270]. Авторское рассуждение о победе подкреплено подсчетом войск, которые были побеждены.

Третья часть тоже более пространна, чем в НЛ, она повествует о судьбе побежденных и победителей: бегстве Юрия во Владимир и отказе жителей защищать город, жестокости Ярослава, бежавшего в Переяславль и приказавшего убить купцов – новгородцев и смолян; сдаче князей в плен и наделении их уделами.

Важная черта повествования – документальность, выражающаяся в первую очередь в обилии цифровых данных. 10000 войска подходит к Ржевке, передовой отряд Мстислава состоит из 500 человек, воевода Ярун выдерживает осаду со 100 воинами, 100 человек посылает Ярослав в сторожевой полк, из них в плен берут «30 и 3, а 7 ихъ убиша» [50, 264]. 500 человек присылает в войско Константин, трех послов

отправляют князя к Юрию перед битвой, в бою гибнут 5 новгородцев и один смолянин, 60 человек взяты в плен, «А всѣх избитых 9000 и 200 и 30 и 3 мужи» [50, 271]. Юрий приехал во Владимир на четвертом коне, «а трех отдушилъ» [50, 271], Ярослав добрался до Переяславля на пятом коне, 15 смолян, посаженных Ярославом в темницу, остались живы, а «полтораства» погибли. Примечательно, что цифры, правда, не реальные, а гиперболизированные, вторгаются даже в речь «людей» о Ярославе, перефразирующую библейский текст, в котором указание на числа отсутствовало: «не 10 убито, ни 100, но тысуца тысущами» [50, 271].

Большой точностью и последовательностью отличаются датировки событий, важнейшие из которых уже были отмечены. Таким же образом упоминаются и события промежуточного характера: войска Мстислава подошли к Городищу на реке Сарре «апрѣля 9, на Великъ день» [50, 265], против Переяславля они останавливаются «въ Фоми-ну недѣлю» [50, 265]. С момента начала основных военных действий летописец указывает время суток или часы событий: «и поидоша тои нощи», «заутра же приидоша», «бишася ти день и до ночи», «заутра же хотеша поити к Володимеру» [50, 268], Юрий прибежал во Владимир «о полудни», «к вечеру» и «нощи тоя» вернулись туда же воины, «заутра» Юрий созвал людей на совет [50, 271], князя-победителя «тыи день стояша на побоищѣ», около Владимира они «сташа в недѣлю порану», княжеский двор загорелся «тое ночи», «Въ вторникъ на нощь въ 2 часъ нощи загорѣся городъ и горѣ до свѣта», «заутра же рано» [50, 272] Юрий выехал к победителям, «в ты день» Константин одарил князей и бояр, князя пошли к Переяславлю «в пятокъ 3 недѣли по Пасцѣ», пришли туда «въ среду на Преполовление» [50, 273]. Автор использует и точные датировки, и относительные указания на время. Такая детальность временного расположения событий была редким явлением в летописных повестях.

Точны и топографические указания повести, последовательно отмечены все пункты на пути войск Мстислава, места остановок: верховья Волги, Городец, Ржевка, Зубцев, Холохна, Тверская земля, в 15 верстах от Торжка Ярослав снаряжает сторожевой полк, посольство Мстислава

отправляется в Ростов, на пути князя сжигают Шешу, Дубну, Кснятин, Поволжье, идут по Волге вниз, к Переяславлю, Юрий выходит из Владимира и с Ярославом становится на реке Гзе, Мстислав с союзниками – у Юрьева, Константин – на Липице. Как время с начала подготовки к основной битве расчислено по частям суток, так и места, где остановились войска, описаны детально. Мстислав подошел к Липице, а противники ночью «перескочили бяху за дебрь» [50, 268]. Юрий и Ярослав ставят полки на горе Авдове, а их враги – на Юрьеве горе, посреди которой течет ручей Тунег. Расположение войска, решение, на каких позициях биться, становятся предметом княжеского совета. По окончании битвы около Юрьева слышатся стоны раненых, многие тонут в реке, выжившие бегут во Владимир, Переяславль, Юрьев. После сдачи побежденных князей детально рассказывается о разделении городов и называются пункты, куда отправляются победители.

Преодоление обычного летописного схематизма, точность временных и пространственных характеристик событий придают повествованию художественную достоверность, подчеркивая напряженность действия, способствуя четкой сюжетной организации.

В этой редакции каждая из традиционных частей воинской повести составлена из ряда эпизодов, детализирующих ход событий. Важнейшим средством сюжетной организации становится прямая речь героев, функции которой проявляются при сравнении с более ранней редакцией НЛ старшего извода. В повести по Софийскому своду 36 случаев прямой речи: 18 в первой части, 7 в описании боя, 11 в третьей части. Такое распределение речей в целом соответствует соотношению объема частей повествования. По сравнению с новгородской редакцией многообразнее становятся типы речей: посольские – 14, княжеские – 15, воинов – 2, бояр – 2, «людей» – 3. Возрастание количества и типов речей связано не только с большим объемом произведения, но и с изменением кругозора автора. Если летописец, создавший редакцию, вошедшую в НЛ, пользовался сведениями, исходившими от очевидца событий с новгородской стороны, то автор повести, помещенной в СЛ, осведомлен о событиях, происходивших в станах обоих войск. Поэтому он приводит не только речи, передаваемые послами,

но и речи князей обеих сторон, обращенные друг к другу, вследствие чего возрастает количество княжеских реплик. В связи с превращением отдельных сообщений ранней повести в сюжетные фрагменты и введением новых эпизодов появляются речи бояр и безымянных «людей».

Посольские речи в этой редакции в большинстве своем связаны с характеристикой действующих лиц. Лишь некоторые из них носят исключительно иллюстративный характер (например, отсутствовавшая в новгородском своде речь Константина, через посла Еремея сообщавшего об отправлении помощи к Мстиславу и просьбе прислать Всеволода для переговоров). Многие реплики не просто передают ход событий или мотивируют его, но и характеризуют побуждения и мысли князей, противоположные у представителей враждующих сторон. В речах Ярослава и Юрия ведущий мотив – гордость своей силой и желание продолжать междоусобную войну, начатую захватом чужих владений. Для Мстислава и его союзников главное побуждение – отстаивать справедливость, если представится возможность, мирным путем, а также упование на Божью помощь. Эти мотивы явственно звучат в репликах по ходу первого посольства к Ярославу в Торжок. Речи посла Мстислава в тексте нет, сообщается лишь о том, что он должен был договориться «о миру». Зато выразителен ответ Ярослава: «Миру не хошу. Пошли есте, поидѣте же, но ни сту насъ достанется одинъ васъ» [50, 263]. Уверенность в победе, которой он достигнет превосходящими силами, явно звучит в этой речи. Мысли противников Ярослава при получении этого известия выражены в их общей реплике: «Ты, Ярославе, с плотью, а мы съ крестомъ честнымъ» [50, 264]. В этих словах тоже звучит уверенность, но не в своих силах, а в Божьей помощи правому делу.

Отчетливо раскрываются личности князей и на следующем этапе переговоров, который, хотя и более сжато, был описан в НПЛ. Незначительная деталь организации речей в этом эпизоде выразительно свидетельствует о различии манер двух авторов. Одна реплика в новгородской повести, с которой новгородцы обращались одновременно к Юрию, говоря, что у них нет «обида» с ним, и к Ярославу, выдвигая

условия заключения мира, разделена в Софийской летописи на две. Сначала Ларион отправляется к Юрию с сообщением, что князья вышли против Ярослава, а не против него. На это Юрий отвечает: «Одины есмь братья съ Ярославомъ» [50, 266]. Лишь после этого посол отправляется к Ярославу и получает ответ, причем обе реплики сходны с ранней редакцией. Стремление детально представить каждого из действующих лиц явственно сказывается в преобразовании этого фрагмента.

Вслед за этим появляется посольская речь, которой не было в ранней редакции. Мстислав и его союзники еще раз высказывают свои миролюбивые намерения, желание избежать кровопролития, и выдвигают предложение, которое позволит князьям восстановить мир: «Мы пришли есмь, брате князь Юрьи и Ярославе, не на кровопролитие крови. Не даи Богъ створити того. Управимся! Мы есмь племенници сѣбе, а дадимъ старейшинство князю Костянтину. А посадите и в Володимерѣ, а вамъ земля Суздальская вся» [50, 266]. Ответ Юрия, переданный в форме обращения к послу, по существу не содержит ничего нового по сравнению с тем, что был дан на предложение мира в Торжке, но необходим для того, чтобы еще раз подчеркнуть гордость и самоуверенность Всеволодовичей: «Рци братьи моеи, княземъ Мьстиславу и Володимеру: «Пришли есте да куды хотите отъйти». А брату князю Костянтину молви: «Перемога насъ, тобѣ вся земля» [50, 266].

Две реплики, связанные с решением о месте битвы, которые переданы через послов, носят в основном сюжетный характер, хотя в речи Юрия, отвечающего на предложение выйти из-за леса, вновь звучит уверенность в превосходстве его сил.

Речи князей, обращенные друг к другу и к воинам, еще ярче выявляют контраст между двумя группами персонажей. Перед битвой Всеволодовичи обращаются к боярам и «первым людям», пытаясь возбудить их храбрость обещанием военной добычи, и призывают убивать в бою даже князей, а после боя – пленных воинов. Эта речь обличает не только уверенность в своей победе, но и редкую жестокость: убийство врагов-братьев оказывается единственным путем решения междоусобных споров.

Иными настроением и мыслями характеризуются реплики Мстислава и его союзников. Новгородский князь перед битвой, когда союзники сетуют на неудобное расположение войск, старается поддержать их дух: «...Позряще на креста честнаго и на правду, поидемъ к нимъ» [50, 269]. А затем Мстислав и Владимир Смоленский обращаются к своим воинам, призывая их быть храбрыми в бою и не думать о смерти. Эта речь принадлежит традиции княжеских речей перед боем, заложенной в «Повести временных лет» знаменитым обращением к воинам Святослава Игоревича, которому затем подражали многие летописцы. Она содержит воззвание не к корыстолюбию или жестокости, как в речи Всеволодовичей, а к чувству справедливости и воинской доблести. Такое противопоставление: добра и зла, веры в справедливость и веры в силу – позволяет ярче обозначить не только облик героев, но и позицию автора.

Возможность решить споры мирным путем, не использованная Всеволодовичами, подчеркнута эпизодом, отсутствовавшим в редакции НЛ. Это сцена пира в шатре с боярами. Один из них предложил заключить мир, говоря о справедливости притязаний Константина на Владимирское княжение и о воинских доблестях врагов. Но князьям не понравилась его речь. Они поддержали другого боярина, который хвастался прежним могуществом Суздальской земли, а заодно и силой войска, говоря: «Аже нынешнии полци, право наведемъ ихъ сѣдлы» [50, 267]. Речь построена на гиперболизации своих сил, с ее помощью летописец подчеркнул гордыню не только князей, но и воинов.

Посредством прямой речи показано и то страшное наказание, которое постигло гордецов. После рассказа о поражении Всеволодовичей летописец приводит слова неких «людей», которые прямо упрекают Ярослава в гибели множества воинов, используя неточную цитату из Библии, рисующую картину разгрома войска. Их словами окончательно решается вопрос о том, кто из князей был прав: Мстиславу досталась победа, его противники осуждены и Божьим, и человеческим судом.

В последней части повести в основном звучат речи князей Всеволодовичей, контрастные по настроению их же высказываниям в начале

событий. Юрий вынужден просить владимирцев оборонять город, забывая о том, что все войско погибло, о чем ему напоминают мирные жители. Затем он просит не выдавать его врагам, надеясь умиловать противников добровольной сдачей в плен. В этом фрагменте появляются уже не отдельные речи, а диалог, достаточно редко появляющийся в воинских повестях, и князь, хвалившийся своей силой, предстает как униженный проситель.

Особенно ярко новое, смиренное отношение к противнику, к которому раньше высказывалось презрение, проявляется в двух схожих речах Юрия и Ярослава к победителям, в которых они вручают им свои судьбы. Юрий говорит, выходя из города: «Братья, вамъ челомъ бую! Вамъ живота дати и хлѣба накормити, а братъ мои Костянтинъ въ вашей воли!» [50, 273]. Это смирение князя, прежде гордившегося своей силой и заранее, до битвы, разделившего чужие земли, подчеркивает славу победителей, оказавшихся милостивыми, и мотивирует их решение об уделах для Всеволодовичей. Ярослав произносит слова, сходные с речью брата, а в конце повести обращается с униженной просьбой к тестю Мстиславу, забравшему у него жену, свою дочь, моля вернуть ее и признавая свою неправоту.

Характеризуют героев не только их собственные речи, но и слова других персонажей. Боярин Юрия, предлагающий заключить мир, фактически произносит похвалу, подчеркивая воинскую доблесть противников [50, 266]. Оценку своим воинам во время княжеского совета дает князь Константин, опасаящийся хитрости со стороны противников: «мои къ боеви люди не дерзи. Тамо и разидутся в города» [50, 268]. Таким образом, функцию взаимохарактеристики выполняют только речи, произнесенные персонажами лично, не посольские, то есть наименее документальные.

Большинство речей, помимо традиционных для них иллюстративной и сюжетной функции, приобретает существенное значение для характеристики персонажей, способствуя созданию индивидуального облика князей и отчетливому выражению авторской позиции.

Важная особенность повествования – значительное количество описаний военных событий. Подробно рассказывается о выступле-

нии в бой новгородцев и смолян, которым князья предложили выбрать, как сражаться: пешими или конными. Детально описывается каждый эпизод военных действий. Яркость облика героев повести, детальность изображения на фоне прочих повествований о событиях XIII в. в Софийском своде могут показаться неожиданными. Разгадку необычных черт повествования в какой-то мере подсказывает само произведение.

Во всей повести, но особенно в описании военных действий встречаются фрагменты, наводящие на мысль о сопоставлении со «Словом о полку Игореве». Приведенные далее наблюдения были опубликованы ранее [51] и отчасти совпали с сопоставлениями, сделанными А.С.Деминым на материале той же повести в редакции Новгородской Карамзинской летописи [52].

Прежде всего сходно отношение новгородских летописцев и автора «Слова» к междоусобным битвам, выраженное в уже цитировавшемся авторском отступлении, появившемся в НЛ и сохраненном СЛ, прямо перекликающемся с текстом «Слова».

Детальные описания хода военных действий в ряде случаев находят себе аналогии в тексте поэтического произведения. В ночь перед битвой полки Мстислава и его союзников «поположилися, стояща за щиты, всю ночь кликаша бо въ всѣх полцѣхъ» [50, 268]. Описание это рисует готовность войска к бою и не имеет никакого значения для дальнейшего развития сюжета, так же как фрагмент «Слова»: «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты» [49, 5].

Изображение Мстислава в бою напоминает образ Всеволода Буй Тура: «Князь же Мьстиславъ, проѣхавъ 3 же сквозѣ полкы княжи Юрьевы и Ярославли, сѣкучи люди, бѣ бо у него топоръ с паворозою на руцѣ, и тѣмъ сѣчааше» [50, 270]. В «Слове» читаем: «Ярь туре Всеволодѣ! стоиши на борони, прыщещи на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо Туръ поскачаше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежать поганая головы половецкыя» [49, 5]. Выделение образа князя, как будто в одиночку сражающегося против врагов, гиперболизация его силы сближает оба отрывка.

Привлекает внимание употребленное в приведенном отрывке редкое слово «павороза», которое означало «петлю из ремня или тесьмы на рукоятке оружия, надеваемую на руку во время боя» [53, 114]. Пример, иллюстрирующий значение слова в словаре, дан именно из рассматриваемого текста. Лексема «павороза», видимо, встречается и в «Слове», по крайней мере, первые издатели произведения прочитали: «Суть бо у ваю желѣзныи папорзи подѣ шеломы латинскими» [49, 8], что многие исследователи более позднего времени предлагали изменить на «паворзи», имея в виду «тесемки на головном уборе», которые у западноевропейских шлемов были сделаны «из ремней, укрепленных железными пластинками» [54, 12].

В той же сцене боя появляется еще один образ, родственный «Слову», которое неоднократно представляет битву в символах земледельческого труда: «Князь же Юрьи и Ярославъ, видѣвше **акы на нивѣ класы пожинаху**, побѣгоста с меншею братьею...» [50, 270]. В этом случае, как и в «Слове», метафорический образ не развернут через сравнение. В СИЛ этот образ использован один раз, поэтому можно думать, что появился он закономерно при усвоении целого ряда фрагментов поэтического памятника. Вообще в летописных воинских повестях, не связанных по происхождению с новгородско-софийскими сводами, нами не обнаружено образов этого ряда, а приведенные Д.С.Лихачевым примеры их летописного использования [55, 67] взяты из Московского Академического списка Суздальской летописи в той части, которая восходит к СИЛ.

Дважды образы, появляющиеся в речах персонажей, также напоминают «Слово». Перед боем Ярослав и Юрий призывают не брать пленных: «Аще и золотомъ шито облечье будеть, убии» [50, 267], таким образом предполагая, что в бою могут быть убиты и князья. Золотое оплечье – атрибут князя, многие исследователи считают, что о нем упоминается в «Слове» в связи с гибелью Изяслава Васильковича: «Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла, чресъ злато ожерелие» [49, 9] [56, 374]. В летописных текстах, по нашим наблюдениям, эта деталь больше не встречается, не воспроизводит ее и ряд летописей, следующих тексту Софийской.

Речь Мстислава и Владимира, укрепляющих дух своих воинов перед битвой: «Братие! Се вошли есмя в землю сильную. А позря въ Богъ, станемъ крѣпко, не озираемъ назадъ. Побѣгше, не уити. А забудемъ, братие, домов, женъ и дѣти. А кому не умирати?» [50, 269] – как уже упоминалось, связана с летописной традицией княжеских речей к войску. Но мысль о том, что воин в бою должен забыть обо всем дорогом, необычна для летописи и отчетливо звучит в «Слове» в связи с образом Всеволода: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, и своя милыя хоти красныя Глѣбовны свычая и обычая?» [49, 5].

В финале описания битвы три фрагмента также наводят на мысль о подражании «Слову». Д.С.Лихачев писал о символическом значении некоторых воинских атрибутов, в том числе стяга [55, 171-174]. В «Слове» целый ряд эпизодов включает этот символ, для нашего сопоставления наиболее интересны два: «Трубы трубятъ въ Новѣградѣ, стоять стязи въ Путивлѣ» [49, 4] – так рассказал автор о начале похода Игоря на половцев; «третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы» [49, 6] – сообщил он о поражении северских князей. Автор летописной повести с помощью тех же символических атрибутов подчеркивает былую силу побежденных, которые заранее хвалились своей победой: «Се бо слава ею и хвала погыбе, и полци силнии ни во что же быша, бяше бо у князя у Юрья стяговъ 13, а трубъ и бубновъ 60. Молвахуть бо и про Ярослава: стяговъ у него 17, а трубъ и бубновъ 40» [50, 271].

Вслед за этим утверждением автор повести передает укоры людей Ярославу: «Яко тобою ся намъ многа зла створи. Про твое бо преступление крестное речено бысть: «Приидете птица небесныя, напитаитеся крови человеческыя; звѣрие наядитеся мясъ человеческыхъ: не 10 бо убито, ни 100, но тысуща тысущами» [50, 271]. Речь эта содержит цитату, нечасто включавшуюся в летописные повести, на ее источник, книгу пророка Иезекииля 32:4, указал Я.С.Лурье [48, 101]. Точнее было бы говорить о соединении двух стихов этой главы – четвертого и пятого: «И посажду на тебѣ вся птицы небесныя, и насыщу тобою вся звѣри вся земли, и повергу плоти твоя на горахъ, и наполню

кровию твоею всю землю». Это пророчество преобразовано летописцем в единую картину гибели разгромленного войска. Основа образа повторяется и в других библейских книгах: «И будут трупие людии сихъ во снѣдь птицамъ небеснымъ и звѣремъ земнымъ» (Иер. 7:33, 16:4, 34:20; ср. также 1 Царств 17:46, Пс.78:2-3 и др.), так что его можно рассматривать как одно из «общих мест» в Библии.

Автор повести усилил трагическую картину гибели войска цифровой гиперболой, близкой по типу к тем, что обычно использовались воинскими повестями. Остается непроясненным вопрос, почему летописец, почти не включавший библейских цитат, обратил внимание на этот мало распространенный образ. Это обстоятельство можно объяснить, если, следуя за предшествующими фактами, предположить, что автору повести был известен текст «Слова», в котором появилась картина гибели полоцкого князя Изяслава Васильковича: «Дружину твою, княже, птицъ крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша» [49, 9]. Этот фрагмент, вероятно, сам происходит из библейских книг, что было отмечено В.Н.Перетцем [57], а В.В.Кусков указал на его источник – Псалтирь 78:2-3[58, 304]. Для летописца он мог послужить основой создания картины, близкой к первоисточнику, но не повторяющей ни его, ни более раннее поэтическое произведение. Воскресенская и Никоновская летописи, следующие той же версии повести, опустили этот фрагмент, из сводов XIV – XV вв. тот же стих Псалтири точно процитирован в Лаврентьевском под 1237 г. [46, 463].

Картину поражения Ярослава и Юрия завершает фрагмент, также находящий аналогию в тексте «Слова»: «... бяше бо слышати кричь живых, иже не до смерти убитых, и вытие прободеных въ Юрьевѣ городѣ и около Юрьева...» [50, 271]. Упомянув о тяжелом сражении с половцами в Переяславской земле после поражения Игоря, автор «Слова» пишет: «Се у Римъ кричать подѣ саблями половецкыми, а Володимиръ подѣ ранами» [49, 8]. Звуковая картина боя в воинских повестях предшествующей и рассматриваемой эпохи, как правило, сводилась к стуку оружия, поэтому весьма вероятно, что в повести о Липице автор воспользовался картиной поэтического памятника.

Таким образом, необычные для воинского повествования явления, проявившиеся в повести по СЛ, могут быть объяснены знакомством автора этой редакции с текстом «Слова о полку Игореве». Сам факт такого знакомства не представляется невероятным, поскольку следы памятника XII века обнаружены в произведениях Куликовского цикла, написанных, вероятно, в то же время, что и редакция повести о битве на Липице.

Богатство и яркость воинских описаний в повести о битве на Липице почти исключали использование воинских формул. Формула начала битвы видоизменена и перенесена в середину описания боя: «створиша брань велику» [50, 270]. Устойчивое определение «бесчисленное множество» [50, 270] отнесено, как обычно, к погибшим воинам, но появляется не в описании исхода битвы, а в эмоциональном авторском восклицании: «О много побѣды, братье, бесчисленное множество, яко не можеть умъ человеческий достигнути, княжих Юрьевых и Ярославлих избъеных» [50, 270]. Разбита на два предложения и распространена формула судьбы побежденных: «... а мнозии истопоша, бѣжачи, в рецѣ. А инии ранены, и, зашед, изъмроша, а живии побѣгоша, овии к Володимирю, а инии к Переяславлю, а инии въ Юрьевъ» [50, 271]. Внутри традиционной конструкции появляется дублирующий ее по составу трехчлен, указывающий на места бегства воинов. Сообщение о возвращении победителей тоже напоминает формулу: «вземше свою честь и славу» [50, 274], но оно сходно и с текстом «Слова», в котором одним из рефренов были слова «ищучи себѣ чѣти, а князю славу» [49, 4]. В СЛ эта формула чаще всего появляется в другом виде: «съ побѣдою великою».

Позиция повествователя выражена в произведении не только через ход событий, антитетические характеристики героев, но и в эмоциональных репликах – отступлениях. Сочувствуя новгородцам, автор одновременно оказывается противником всяких княжеских распрей, что заставляет его отчетливо провести идею о победе князей, с самого начала желавших мира, а не войны.

Таким образом, текст в СЛ развивает традицию летописной повести событийного типа. В соответствии с новыми веяниями эпохи –

вниманием к человеку и обращением к произведениям домонгольской литературы как образцам [59, 4-6] – автор, опираясь на древнее новгородское повествование, создал произведение с мотивированным развитием сюжета, которое достигается широким использованием речей персонажей, документальностью и детализацией изображения событий. Персонажи повести представлены не только через действия, как это было принято в воинских повестях, но и через речь, взаимохарактеристики. Более активно, чем в других повестях, выражается позиция летописца.

Повесть в Московском своде 1479 г. в целом следует версии, вошедшей в СЛ, но автор сокращает текст, опуская отдельные фрагменты, а временами пересказывая источник. В ней сняты авторское отступление в конце битвы с перечислением предположительного количества войск побежденных, прямая речь горожан, осуждающих Ярослава и использующих при этом библейский образ, речь Ярослава к Мстиславу с просьбой вернуть жену. Сокращены речи Ярослава перед битвой (из первой исчезло яркое сравнение, относящееся к врагам) и обращение побежденных к победителям. Более сдержанны и описания военных действий, в том числе, например, исключено изображение Мстислава в битве, напоминающее «Слово о полку Игореве». Таким образом, исключены те элементы, которые носили ярко выраженный оценочный характер, помогая летописцу изобразить в отрицательном свете инициаторов междоусобицы и поляризовать изображение князей-противников в повести. Возможно, такая работа была связана с тем, что в отрицательном качестве выступали владимирские князья, предки московских великих князей, поэтому московский летописец, который, судя в целом по тексту свода, старался быть объективным, не снимая полностью осуждения зачинщиков междоусобицы, пытался смягчить их негативную оценку.

Своеобразно переработана повесть в Тверском сборнике, хотя основным источником ее послужила редакция, отразившаяся в СЛ. Редактор перенес рассказ о голоде в Новгороде и об ограблении Ярославом в Торжке новгородских купцов и послов, послужившем причиной междоусобицы, в летописную статью 1216 г., тогда как в большинстве

предшествующих сводов (исключая Рогожский) он находился в предыдущей годовой статье. Он составляет экспозицию основного сюжета.

Первая часть повести вначале достаточно точно следует за редакцией XV в. Появляется лишь несколько изменений: сняты рассказ о посольстве к Ярославу, включающий посольскую речь и речь Мстислава и союзников между собой; эпизод выхода Ярослава к Твери. Из фрагмента о посылке сторожевого отряда сохранено только описание боя Яруна с отрядом Ярослава. В него внесены традиционные черты: введена формула «и бысть имъ бой» [41, 319], конкретное перечисление потерь Ярославова полка заменено формулой судьбы побежденных: «изби сторожи Ярославли, а **иныхъ** изымаша, а **инии** утекоша во Тфѣрь» [41, 319]. Существенно сокращены речь боярина Константина Ростовского Еремея, перечисление сил Юрия и Ярослава, посольские переговоры.

Сцена пира Юрия и Ярослава с боярами перенесена и помещена после рассказа о выборе позиции для битвы. Благодаря этому все сведения о перемещениях войск перед битвой сведены воедино, а не прерываются описанием пира, как в Софийском своде.

Сцена пира начинается с упоминания о гордости князей своими силами, причем автор использует гиперболу, отсутствовавшую в более ранних редакциях: «якобы мнѣти десять суждалтинъ на единого новгородца» [41, 321]. После речи боярина, получившего в этой редакции говорящее имя Творимир (как и в варианте НІVЛ), который напомнил князьям о воинской доблести врагов, летописец добавил от себя: «бѣ бо Мьстиславъ легокъ и храберъ» [41, 321]. В ответ на реплику Творимира речь произносит не другой боярин, как в предшествующих летописях, а сам князь. Он смеется над словами воеводы: «яко по своей волѣ велить ми ся стола отца своего отступити» [41, 321]. Дальнейшая его речь соединяет слова боярина, вспоминающего о славе и силе Русской земли, которые были в СИЛ, с частью реплики князя о том, как поступать в бою с врагами, помещенной в том же своде несколько позже. Второй же боярин подтверждает правоту князя, замечая: «правъ еси, княже, право ихъ навръжемъ сѣдлы» [41, 321]. Такое изменение ролей персонажей характерно для XVI в., когда власть князя воспринималась

как безусловная. Поэтому именно князю предоставлено право выдвигать соображения, обуславливающие окончательное решение о битве.

Летописец вводит далее сообщение, ярко характеризующее Ярослава: «И повелѣ князь прѣваго съвѣтовавшаго о миру, яко перевѣтника, изврещи вонъ; а съ тѣмъ же послѣднимъ начаша веселитися и пити» [41,321]. Отношение князя к двум советникам, явно домысленное и более отчетливо охарактеризованное редактором (в раннем тексте упоминалось лишь о недовольстве его первым советом), подчеркивает самолюбие и недальновидность персонажа.

В изображении последних приготовлений к бою снят целый ряд фрагментов. Сокращена речь Мстислава к воинам, особенно ее традиционная героическая часть: из нее исчезли элементы, напоминающие в варианте СЛ «Слово о полку Игореве». Изъят из текста эпизод, рассказывающий об участии воеводы Ивора в битве.

В описание сражения введены распространенные формулы начала боя «и бысть сѣча зла» и бегства «тѣй вдасть плещи» [41, 322] и снята редкая формула «аки на нивѣ класы пожинаху».

Авторское отступление о величии победы полностью преобразуется по смыслу, поскольку летописец соединяет его с расширенным, по сравнению с СЛ, описанием поля битвы и добавляет после первого восклицания реплику, смещающую акценты в оценке событий: «О многыя побѣды, братия! Кто не всплачется *слышавъ сию горкую побѣду надъ своею братиею, вытие прободеныхъ и гласъ протинаемыхъ, и еще живыхъ сущихъ и кричащихъ отъ бользни?* Многое бо множество избытихъ, яко ни умъ человѣческий не можетъ смыслити; *не токмо на боищи костры мертвыхъ, но и по многимъ мѣстамъ лежашие трупи, овии мертви, а друзии еще дышуще; много же отъ нихъ и переимани и повязани, плачущеса грѣкомъ плачемъ, видяще своихъ мертвыхъ не погребеныхъ*» [41, 322-323]. Детализация сообщений, не свойственная предшествующим редакциям, основана на авторском домысле, а сам фрагмент превращен в плач.

После этого плача, ярко выражающего отношение автора к междоусобице, упомянуто о храбрых воинах, сражавшихся в войске Константина, – Олешке Поповниче, слуге его Торопе и Тимоне Золотом Поя-

се. Эти персонажи появляются и дальше в тексте Тверской летописи, но в повести о Липице их упоминание не связывается с конкретными событиями.

Из произведения исключено перечисление воинских атрибутов, указывающих на число воинов у Юрия и Ярослава, и слова людей, укоряющих князя. Зато вслед за перечислением количества погибших с обеих сторон приведен список убитых новгородцев, соответствующий свидетельству НЛ обоим изводам и отсутствующий в СЛ.

Отдельные изменения внесены в ту часть повести, которая рассказывает о возвращении побежденных князей в свои города. Так, автор поясняет слова владимирцев о том, что им не с кем оборонять город, репликой: «Бѣ вышли вси володимерци на бой, и до купца и до пашенного человѣка» [41, 323]. Здесь же летописец привел картину народного плача во Владимире и Суздале, раскрывающую горе простых жителей: «не бѣ бо такого двора, идѣже бы кричаниа и въпля не было, и странно бѣ видѣти человѣкы изъопухша отъ слезъ» [41, 323]. Как и в описании последствий битвы, отличительной чертой этого фрагмента является конкретность, достигаемая бытовыми деталями, нехарактерными для предшествующих редакций. Сокращена история мирных переговоров князей, в рассказе о возвращении Мстислава в Новгород использована формула «приидоша вси здорови» [41, 325].

Таким образом, переработка повести о битве на Липице, вошедшая в Тверской сборник, коснулась всех частей повествования. Основными направлениями ее можно считать: сокращение малозначительных деталей рассказа, отдельных речей персонажей; изменение последовательности отрывков, в результате чего создается строго логичное повествование; введение наиболее распространенных воинских формул для оформления описания битвы и изъятие необычных художественных средств, в том числе сближавших повесть в СЛ и НЛ со «Словом о полку Игореве»; усиление выражения позиции повествователя за счет распространения эмоционального отступления и детализации картин плача по убитым и чувств жителей владимирской земли. Вследствие этих изменений повествование становится менее живописным, но более динамичным и эмоциональным, а по структуре и стилистике

больше соответствует традиции жанра, чем повесть СІЛ.

В Никоновском своде повесть, в целом ориентированная на вариант СІЛ, также содержит ряд изменений. Первое направление их – сокращение отрывков текста, рассказывающих о деталях событий. Так, редактор снимает дату начала похода, краткие сообщения об осадах городов на пути к Липице; эпизод взятия пленника, рассказавшего об уходе Ярослава из Переяславля, перечисление воинов Ярослава, выставленных в бой против Владимира Смоленского; сообщение о том, что князя и воеводы, в отличие от воинов, выступили в бой на конях; редкую формулу «аки на нивѣ класы пожинаху»; значительный фрагмент, ярко описывающий последствия битвы; детали в рассказе о приезде Юрия во Владимир; характеристики князей-победителей и Ярослава, затворившегося в Переяславле; заключительное сообщение о возвращении победителей в свои вотчины, содержащее формулу. Эти сокращения не меняют принципиально сюжета повести, делая развитие действия менее подробным, но более динамичным.

Второе направление переработки текста – внесение дополнительных фрагментов. Большинство их связано с появлением новых персонажей в произведении. Трижды упомянут Александр Попович: в сообщении о приходе на Липицу войска Константина Ростовского, где названы также его слуга Тороп и Добрыня Златый пояс; в словах боярина князя Юрия, который вместе с ними называет еще Нефедья Дикуну; наконец в эпизоде столкновения на поле битвы богатыря с князем Мстиславом. Дважды – в эпизодах пира и ночного совета князей – появляется старый боярин Андрей Станиславич, с которым связаны дополнительные сюжетные ходы.

Новые фрагменты вносятся в текст и в тех случаях, когда редактор стремится расширить характеристику персонажей, которые уже были в ранней редакции повести, особенно передавая их состояния и чувства. Редактор СІЛ приводил сведения о том, что в момент встречи войск Мстислава и Константина они целовали крест друг к другу. Никоновская летопись распространяет это сообщение: «и объемише целовашася, и *радостію* велиею возрадовашася и крестнымъ целованиемъ укрѣпишася въ *единствѣ* и *единомыслии* быти» [42:10, 70].

Сообщение о факте заменяется рассказом о чувствах людей, участвующих в событиях, выразительность которому придают синонимия и тавтология.

Во время мирных переговоров на слова Мстислава о том, что великое княжение нужно отдать Константину, Юрий с братией «оскорбися и въ ярость приде», «разсверѣпеша, и приидоша въ ярость велию надѣющеся на многое воинство, понеже много воиньства собраша, и сице яряшеся» [42:10, 71]. После речи старого боярина, советуящего заключить мир, князья «зѣло разъярися и разсверѣпе, и начя сюду и сюду метатися» [42:10, 72].

В рассказе о расстановке полков князьями появился фрагмент, в котором главным оказывается тоже описание состояния, но уже не отдельных героев, а всех войск: «И начяша сходитися полци, и бысть сила многа, и бысть страхъ и ужасъ на всѣхъ, яко единъ родъ и едино племя кровь проливають ни за чтоже, и много плакаше имущей страхъ Божий въ себѣ, и бѣ же той день солночень и знойно зѣло, и се вѣста вѣтръ, и прииде облакъ, и биаше громъ безпрестани, и мльνια сожигаючи страшно, и бысть страхъ на всехъ, и стоаху много, ни сии ни они другъ на друга не поступающа, ни мира хотяще: разсверѣпишася бо яко звѣри» [42:10, 73–74]. Мотив страха, последовательно проведенный лексически через весь фрагмент, подкрепляется отсутствующим в других редакциях описанием грозы, которая традиционно сопоставлялась с образами боя. В данном случае редактор нарушает традицию, поскольку представляет грозу как символическое предупреждение нежелающим заключить мир, которое вызывает у них еще больший страх.

В одном случае дополнение касается не чувств героев, а характеристики качеств Мстислава. В сцене битвы, рассказывая об участии в ней князя, редактор замечает: «и бѣ самъ крѣпокъ и мужественъ, и великую силу имѣа и усердство» [42:10, 74].

В ряде фрагментов летописец поясняет детали. Например, сообщив о пире Ярослава и Юрия с боярами, он объясняет, почему бояре начали высказывать мнения о дальнейших действиях, упомянув, что князья спрашивали у каждого из воевод, «како на бой съ ними сходитися» [42:10, 71]. В эпизоде перестановки князьями ночью

войска за лес редактор ввел сообщение об укреплении ими избранной позиции: «и внидоша в крѣпость, и осекъ осekoша, и колье набиша» [42:10, 73].

В рассказе о подготовке к битве, пытаясь объяснить события, книжник искажает их смысл. Он снимает слова новгородцев о том, что они будут биться пешими, как их отцы на Колокше, и добавляет, что они спешились, «зане дебрь бѣ» [42:10, 74], хотя из ранней редакции следует, что через лес воеводы и князя ехали на конях, то есть не лес был причиной спешивания воинов. Возможно, причиной ошибки редактора было непонимание текста протографа.

В отдельных случаях летописец дополняет фактические сведения. В СЛ вслед за упоминанием даты победы, следующим после сцены боя, сказано, что погибло в том бою 5 новгородцев и один смолянин, количество погибших с противоположной стороны не указывается, названо лишь общее число убитых. Вся эта часть в Никоновской летописи перенесена дальше по тексту, во фрагмент, следующий за рассказом о бегстве побежденных князей в свои города, и полностью изменена. За датой битвы следует перечисление имен нескольких погибших с упоминанием, что Мстислав их оплакивал, а общее число погибших в войсках Мстислава и его союзников названо гораздо большее: «кромѣ пѣшцевъ пятьсотъ и пятьдесятъ» [42:10, 75], а в войсках Юрия «седмьнадесятъ тысящъ и двѣсти, кромѣ пѣшцевъ» [42:10, 75].

В описание битвы на Липице автор ввел две распространенные воинские формулы, без которых, вероятно, описание боя казалось ему неполным: «и бысть сѣчя зла», «и лиашеся кровь аки вода» [42:10, 74].

Следующее направление в редактировании повести – переработка речей персонажей. Количество их здесь примерно такое же, как в СЛ: 34. Из них посольских 15, княжеских 11, боярских 5, воинов 2, «людей» 1. В первой части повести 17 реплик, в описании битвы 8, в третьей части 9.

Есть несколько случаев замены кратких реплик предшествующей редакции сообщениями. Так поступил автор со словами новгородцев, предлагающих князьям идти к Торжку, которые превращены в сообщение о том, что первоначально новгородцы хотели идти к Торжку,

но затем переменяли решение. Но гораздо чаще редактор перерабатывал речи персонажей, распространяя их, а иногда меняя их смысл. Происходит это по двум причинам. Во-первых, летописец, писавший о давних событиях, оказался более объективным, чем его предшественники. Это проявилось в снятии ряда авторских реплик по ходу событий, а из случаев прямой речи ярче всего в изъятии слов «людей», оценивающих результаты политики Ярослава. Во-вторых, редактор стилистически переработал речи, приспособлявая их к тому эмоционально-риторическому стилю, который широко распространился в историческом повествовании в XVI в. и был связан со стремлением ярче изобразить персонажей.

Примером переработки прямой речи может служить посольская речь Мстислава к Ярославу с выдвижением условий мира. В предшествующих редакциях она была лаконичной и сдержанной. В редакции Никоновской летописи не осталось и следа краткости и четкости, свойственных древним посольским речам. Здесь представлено эмоциональное обращение, использующее риторические приемы (синтаксически параллельные конструкции, анафоры, морфологические рифмы), которые должны подчеркнуть несправедливость Ярослава по отношению к новгородцам и Мстиславу и добрую волю к миру, проявленную последним: «Мой есть Новъгородъ, и новгородци мои суть, а язъ ихъ; и се новгородци и новотръжци плачюще вопиють на тебя ко Господу Богу и къ пречистей Его Матери Богородицѣ, и къ моей худости, яко избидѣлъ еси ихъ; отпусти убо новгородцкиа гости и люди и новотръжци, и Волокъ возврати, и прочихъ властей новгородцкихъ отступися, и тако въ мирѣ жити съ новгородци крестнымъ целованиемъ утвердися, еже къ тому таковая не творити, и крови христианския не проливати, и чюжихъ не возхищати, и не въ свои предѣлы не вступатися, а до великого князя Юрья Всеволодича нѣсть намъ ничтоже: ни обидѣния, ни насилия» [42:10, 70-71]. Торжественно-церемониальный тон этой речи противоречит предшествующей посольской традиции, она носит явно литературный, вымышленный характер. Трудно представить, чтобы она могла быть произнесена послом.

Сходным образом переработан и ответ Ярослава: «Мира не хошу, и гостей не отдамъ, и что взяхъ, то у меня, и еще хошу имати и новгородцевъ всѣхъ казнити; но убо и сего не вѣсте отъ великиа вашиа глупости, яко далече естя зашли, яко овцы ко лвомъ, яко теленки къ медвѣдемъ, яко свиньи на поле, яко рыбы на сухо» [42:10, 71]. По сравнению с вариантом СЛ усилен мотив властолюбия князя, его непомерных притязаний, презрения к врагам и уверенности в своей силе. Это достигнуто появившимся указанием на глупость противника и дополнением сравнения с рыбами параллельным рядом, каждый из членов которого противопоставляет силу одних и слабость других. Большинство посольских и княжеских речей подверглись подобной стилистической переработке, которая во всех случаях приводит к более глубокой и выразительной характеристике говорящих.

Наиболее значительные изменения внесены в речи на пиру Ярослава и Юрия с боярами. В отличие от редакции СЛ, где впервые появился этот эпизод и были приведены речи двух бояр, высказывающих противоположные мнения, в Никоновской летописи автором создана ситуация живого разговора. Летописец рассказывает о том, что во время пира князя начали спрашивать мнения каждого из бояр о будущих военных действиях. Те отвечали, и только один старый боярин Андрей Станиславич молчал, «и мняху его, яко отъ старости и мало смыслить» [42:10, 71]. Но когда его спросили: «Како дѣлати съ съпостаты сими?» – он ответил пространной речью, в которой воспроизводились по-новому оформленные стилистически основные аргументы в защиту мира, прозвучавшие в реплике боярина в Софийском своде. Князья разъярились, но бояре утешили их словами о том, что боярин стар и не ведает, что говорит.

Затем произносит речь второй боярин, убеждающий, что врагов легко будет победить. Его слова также стилистически переоформлены. Таким образом, с помощью введения диалога и описания говорящих редактор Никоновской летописи превратил эпизод пира в живую художественную сцену, связанную с фольклорно-легендарной традицией (старый человек дает мудрый совет: если ему следуют, он спасает войско, если нет – оно гибнет) и в то же время представляющую собой беллетризирующий элемент в летописном воинском повествовании.

В повесть введен и второй фрагмент, связанный со старым боярином. В СІЛ был эпизод, в котором рассказывалось о шуме в лагере Мстислава в ночь перед боем, который испугал противников так, что они чуть было не бежали. В аналогичном эпизоде Никоновской летописи появляется старый боярин с речью: «Ничто не видѣвъ, пошто хочете бѣжати? Не рѣхъ ли азъ вамъ своимъ безумиємъ, яко лутчи вамъ миритися, се бо ни единого мертвого ни кровавого видѣсте, и тако усытрашитесь и на бѣжание уклонитесь; егда же увидите вящша сего сотворшася надъ вами, что тогда не постражете» [42:10, 73]. Речь, построенная на повторах и риторических вопросах, не вносит ничего нового в содержание повести, но служит созданию напряженности в развитии сюжета и играет роль своеобразного пророчества. Линия, связанная с речами старого боярина, представляет собой сюжетный вымысел, вторгшийся в летописное повествование. Примечательно, что боярин получает имя, не говорящее, как было в некоторых предшествующих редакциях (Творимир), а вполне обычное. Тем самым автор как бы ставит этого персонажа в ряд реальных исторических лиц, действующих в произведении.

Еще один легендарный эпизод, содержащий прямую речь, связан с богатырем Александром Поповичем. В момент сражения он, дружинник Константина Ростовского, не узнал его союзника Мстислава и пытался убить его, но тот закричал, «яко азъ есмь князь Мстиславъ Мстиславичъ». Тогда богатырь сказал ему: «Княже! Ты не дерзай, но стой и смотри; егда убо ты глава убиень будеши, и что суть иныя и камо ся имъ дѣти?» [42:10, 74]. Сам эпизод, несомненно, вымышлен, а речь богатыря отражает представление, характерное не для XIII, а для XVI в.: глава войска не должен вступать в бой. Примерно теми же аргументами в «Казанской истории» бояре доказывали Ивану Васильевичу необходимость удержаться от личного участия в битве. Между тем это представление противоречит тексту о битве на Липице, где речами автора и героев подчеркивается воинская доблесть князя Мстислава. Итак, именно в эпизодах, связанных с легендарными персонажами, редактор Никоновской летописи использует вымышленную прямую речь, придающую эпизодам достоверность и динамизм.

Перерабатывая текст о битве на Липице, редактор Никоновской летописи создал повествование со значительными элементами сюжетной занимательности. В то же время он углубил изображение героев, подчеркнув свойственные им качества, изобразив их чувства и состояния. В значительной мере этому способствовала стилистическая переработка текста, в процессе которой автор использовал эмоционально-риторические приемы, свойственные в целом стилю свода и появившиеся в историческом повествовании XVI в. под влиянием агиографии.

Таким образом, главными направлениями работы летописцев над текстом на протяжении двух столетий были: изменение степени детализации событий и состава действующих лиц, отдельные композиционные перестановки, введение/исключение или распространение речей персонажей, стилистическая переработка.

В литературной истории повести о битве на Липице ярко отразились изменения, происходившие в летописании с течением времени, следы местных позиций летописцев, стилистические веяния разных эпох. Интерес к этому сюжету у летописцев не случайно не исчезал: позиция древнерусских авторов по отношению к междоусобным войнам во все времена была резко отрицательной, и каждый из них выражал ее, сообразуясь с интересами своего княжества, а затем и всей Руси в целом.

1.4. Работа летописцев над повестью о походе Святослава Всеволодовича на волжских булгар

В 1220 г. по приказу великого князя владимирского Юрия Всеволодовича его младший брат Святослав, княживший в Юрьеве Польском, в союзе с другими князьями совершил победоносный поход на волжских булгар. Причины похода историками трактуются по-разному. Ю.А.Лимонов полагал, что он «преследовал... возобновление торгового договора с болгарами и защиту традиционных торговых сделок» [60, 111]. Д.Феннел рассматривал поход как устрашающую меру в ответ на попытки булгар захватить города ростово-суздальской земли [61, 89]. И та и другая точки зрения находят свое под-

тверждение в летописных текстах. Первая обосновывается сообщением, следующим за рассказом о походе Святослава, о троекратном посольстве волжских болгар к Юрию Всеволодовичу и о заключении мира на прежних условиях, как было при Всеволоде Большое Гнездо и Юрии Долгоруком. Вторая версия оправдана сообщением под 1219 г. о взятии булгарами Устюга и неудачной попытке захватить Унжу. Можно предполагать, что обе причины послужили основанием для похода владимиро-суздальских князей. Это событие по-разному отразилось в летописных сводах XIV–XVI вв. Рассказ о нем имеет три основных вида.

Первый вид зафиксирован Лаврентьевской летописью. В ней кратко рассказано об отправлении Юрием Всеволодовичем войска во главе со Святославом на болгар, намечены основные этапы в ходе битвы у города Ошела и сообщено о победе Святослава. Повествование лишено деталей: в нем не рассказывается, как это было обычно, о составе войска, из всех участников назван лишь глава похода, не раскрываются результаты битвы, не описано возвращение победивших в свою землю. Несмотря на краткость изложения, в тексте отчетливо просматривается провиденциальное толкование фактов: говорится о том, что воины Святослава были «силою креста чьстнаго укрепляеми» [46, 444], «поможе Богъ Святославу» [46, 445]; дата победы дана не только по светскому, но и по церковному календарю («мѣсяца июня в 15 днь на память святаго Амоса» [46, 445]).

Второй вид повести находится в Ермолинской летописи, текст которой А.А.Шахматов возводил к Ростовскому владычному своду [62, 648], а А.Н.Насонов полагал, что в интересующей нас части Ермолинский и Московский своды восходили к общему протографу 60-70-х гг. XV в., который автор Ермолинской летописи сокращал [63, 260-274]. Эта повесть более подробно передает ход событий, указывая на обстоятельства, в которых происходила битва (описаны укрепления Ошела, упомянута буря, начавшаяся во время боя). Последовательно рассказано о действиях русского войска и болгар. Значительное место занимает повествование о событиях, последовавших за сражением: шествии победоносного войска по землям противника, встрече с ростовским

и устюжским полками, завоевавшими земли по Каме, возвращении во Владимир. Обращая внимание на ход событий, летописец в то же время не уделял внимания их участникам.

Этот вариант повести позже был использован составителями кратких летописных сводов 1497 и 1518 г., Тверского сборника, а также во всех списках Никоновской летописи, кроме Лаптевского.

Третий вид повести, самый полный и яркий в литературном отношении, зафиксирован в Московском летописном своде конца XV в., Воскресенской летописи, Никоновской по Лаптевскому списку. А.А.Шахматов возводил эту часть Московского свода к древней Владимирской летописи через Ростовский свод времени епископа Ефрема второй четверти XV в., а М.Д.Приселков, говоря о своеобразии свода Ефрема, уточнял, что в основе его лежала владимирская великокняжеская летопись Юрия, пополненная по ростовскому своду [64, 253].

Повесть по сравнению с текстом в Ермолинской летописи дополнена множеством деталей. Подробно рассказано о силах князей, принявших участие в походе. Повествователь сообщает о расстановке войск на подходе к Ошелу Святославом: «Изряди же Святослав полкы своя, Ростовьскыи постави по правой руце, а Переяславьской по левой, а самъ ста с Муромьскими князьми посреди, а инъ полкъ остави у лodeи, сами же поидоша от берега къ лесу. И прошедшемъ имъ лесъ, выидоша на поля къ граду» [47, 160]. Если Ермолинская летопись только упоминает о выходе навстречу Святославу болгар, то Московский свод рисует более детальную картину: «и усретоша их Болгаре со княземъ своимъ на конихъ, и поставиша полкъ на поли» [47, 160]. Добавлены отдельные выразительные детали и в рассказ о движении русского войска к городу, и в описании укреплений Ошела. Московский летописец упоминает о быстром движении войска Святослава («поиде вборзе къ граду» [47, 160]), об особой прочности укреплений («крепок тынь дубовъ» [47,160] окружал город), эмоционально усиливает формулу начала битвы (в Ермолинской «И бысть брань зла» [65, 96], в Московском своде «И бысть брань межи ими крепка зело» [47, 160-161]. Детализируется эпизод битвы за Ошел: летописец обращает внимание на то, что первый приступ к осажден-

ному и подожженному городу оказался неудачным из-за сильного ветра, несшего дым на войско Святослава, поэтому второй приступ пришлось начать с другой стороны.

Появляются некоторые детали в картине бегства болгарского князя из города. Если Ермолинская сообщает «а князь ихъ беже из града» [65, 97], то Московский свод подчеркивает: «Князь же Болгарьскы беже инеми ворота и утече на коних в мале дружине» [47, 161]. Возможно, эта деталь определяет для летописца различие русского и вражеского предводителей: Святослав первый бросается в бой впереди своего войска, а болгарский князь с небольшой конной дружиной бежит, бросая на произвол судьбы пешее войско и мирных горожан.

Судьба жителей взятого Ошела в обеих повестях показана примерно одинаково: картина их гибели построена на основе формулы судьбы побежденных: «а что пешець выбегло, мужи избиша, а жены и дети в полонъ взяша, а инии въ граде погореша, а инии сами изсекоша жены свое и дети, и по том сами ся избиша» [47, 161]. Зато о судьбе части победителей, польстившихся на богатство горожан, говорит только Московский свод: «Неции же от вои Святославлих дързнуша внити въ градъ корысти деля и едва утекоша пламене, а инии ту изгореша» [47, 161].

После победы и соединения с войском Воислава Добрынича на устье Камы, по свидетельству Московского свода, «посла Святъславъ вестъ пред собою къ брату своему Юрью, и дошед Городца выиде из лодей и поиде къ граду Володимирю на коних» [47, 162]. Все перечисленные дополнения говорят о большей точности повествования в Московском своде.

Усилено в этой летописи изобразительное начало. Описание горящего города, которое в Ермолинской летописи сводилось к единственному краткому замечанию «отвсюду огонь обьстоаху около града» [65, 97], превращается в зрительно воспринимаемый фрагмент: «И обьять градъ огонь отвсюду, и бысть буря велиа, и страшно бысть видети...» [47, 161]. Аллитерация звонких согласных и анафорический союз «и» при инверсированных конструкциях придают эмоциональность описанию.

Рассказ об обратном пути войска содержит описание бури, застигшей Святослава у ладей, о которой другие варианты повести даже

не упоминают: «И поиде оттуду князь Святославъ къ лодиямъ своимъ. Бывшу же ему у лодей, и вѣста буря съ дождемъ, яко же и лодиямъ въз-
мястися, и потом же нача буря тишиться, и преиде князь Святославъ
в заветрие на островъ с полки своими и Муромские князи с ним. Ту
же и на ночь облеже. И на утреи ту обедавшѣ поидоша прочь въверхъ
по Волзе» [47, 161]. Обычно в летописных повестях описание бури
во время похода связано с судьбой того или другого войска, с ходом
действия. В данном случае сюжетного значения описание не имеет,
оно лишь передает обстановку одного из эпизодов похода. Включе-
ние этого отрывка в повесть может свидетельствовать о стремлении
летописца к последовательному рассказу обо всех событиях похода,
в то время как в Ермолинской летописи автор останавливается лишь
на самом главном: всему приведенному фрагменту соответствует одна
фраза: «И тако возвратишася к лодьямъ и поидоша по Волзе вверхъ»
[65, 97].

В ряде эпизодов описательные элементы соседствуют с изображе-
нием чувств собирательных персонажей – русского воинства и болгар.
Описывая неудачный первый приступ к городу, летописец рисует кар-
тину войска, охваченного дымом, и одновременно передает состояние
воинов: «По том же *приступиша* къ граду отвсюду и *зажгоша* его;
и бысть дымъ силенъ зело, и *потяну* ветръ съ града на полки Святос-
лавле, и не бе видети человека въ дыме, и не *могуще терпети* дыма
и зноя, паче же безводиа, и отступиша от града, и *седоша опочивати*
отъ многоаго труда» [47, 161]. Выделенная формула, обычно включав-
шаяся в описание напряженной и длительной битвы, использована
в необычном контексте – изображении пожара. Построение фразы,
с анафорическим соединительным союзом и постановкой на первое
место в частях предложения глаголов и глагольных форм, создает
ритмичность, акцентирующую впечатление напряженности действия
и тяжести состояния воинов.

Незначителен в сюжетном отношении, но живописен и психоло-
гичен эпизод встречи победителей с булгарами, узнавшими о взятии
Ошела и вышедшими из других городов на берег, чтобы видеть войско
Святослава. Картина эта в Ермолинской летописи сдержанна: «Свя-

тославъ... повеле своимъ вооружатися и стяги наволочити, изряди полки въ насадихъ, и удариша в бубны и въ трубы и въ сопели, а Болгаре, стоаше по берегу, зряще своихъ плененныхъ, плакашеся» [65, 97]. Гораздо ярче нарисован облик русских воинов и болгар в Московском своде, благодаря незначительным, на первый взгляд, изменениям: Святослав «повеле же всемъ воемъ своимъ *оболочитися въ бране*, и стяги наволочити, и наряди полкы въ насадехъ *и в лодиахъ, и поиде полкъ по полце*, бьюще въ бубны и въ трубы и въ сопели, *а самъ князь по них поиде*. Болгари же идуще по берегу, *видяще своих ведомых, овому отци, иному сыны и дщери, другому же братья и сестры и съплеменици, и стаху покивающе главами своими и стонюще сердца ихъ и смежающе очи свои*» [47, 161]. В описание добавлен ряд деталей, благодаря которым удалось представить зримую картину стройно движущегося русского войска. Сочетание «оболочитися въ бране» и лексически, и звукописью передает действие более ярко, нежели «вооружатися», впечатление дополняется двумя созвучными полногласными словами: «оболочитися» и «наволочити»; оборот «поиде полкъ по полце» создает ощущение мерного движения войска нагнетанием начальных глухих звуков. Усилена аллитерация в начале слов, помогающая передать звучание ратной музыки, с помощью замены глагола: вместо «удариша въ бубны и въ трубы» – «бьюще въ бубны и въ трубы».

Оборот «видяще своихъ ведомыхъ», в отличие от синонимичного «зряще своихъ плененныхъ» в Ермолинской летописи, также создает звукопись, эмоционально подчеркивающую данный затем перечень родных, которые попали в плен. Душевные переживания болгар, переданные в Ермолинском своде одним словом «плакашеся», в Московском раскрываются в трех синтаксически параллельных частях фразы с анафорическим союзом, при помощи метафорического образа, экспрессивность которого акцентирована нагнетанием свистящих и шипящих звуков.

Таким образом, описательные элементы имеют изобразительно-выразительный характер, достигающийся разнообразными языковыми средствами.

Главный герой повести князь Святослав Всеволодович представлен в Московском своде ярче, чем в других вариантах текста. Он изображен как главное лицо похода, ему принадлежат все важнейшие решения: он расставляет войска, первым со своей дружиной идет к Ошелу и вступает в битву. В момент, когда первый приступ к городу оказывается неудачным из-за дыма, Святослав произносит две речи, отсутствующие в других вариантах текста. Первая содержит приказ начать новый приступ с другой стороны Ошела. Вторая, уже у городских ворот, напоминает речь князя Святослава Игоревича к воинам в «Повести временных лет»: «Братие и дружино! Сегодня нам двое предлежить, или добро, или зло, да потягнемъ борже» [47, 161] (Ср.: «Уже нам пасти zde, потягнем мужески, братие» – 971 г., [47, 482]). Вслед за этой речью летописец приводит сообщение, которое было и в Ермолинской летописи, о том, что князь первым пошел к городу («И тако напредь всехъ *потече* самъ князь Святославъ ко граднымъ вратомъ, и по немъ вси вои, и тамо тынь и оплотъ, а Болгаре *бежаша* во градъ, а сии, *пришедше*, градъ *заждогаша*» [65, 97]). В Московской летописи эпизод приобретает динамичный характер благодаря использованию значительного числа глаголов и глагольных форм (девять вместо четырех), обозначающих решительные действия русских воинов: «И *потече* сам князь преди всехъ къ граду; *видевше* же его вои вси *устремишася* к граду борже, и *посекоша* тын и оплоты и с ту страну, и *зажгоша*. А Болгары *побегоша* в город, си же *погнаху* их *секуще* и по том *зажгоша* град отвсюду»» [47, 161]. Второй летописец стремился подчеркнуть значение речи и личной храбрости Святослава: не случайно упоминается о том, что воины устремились вслед за князем, а в обращении Святослава к войску и в описании приступа использовано одно и то же слово «борже» (быстрее) – призыв Святослава был услышан воинами и выполнен ими.

В дальнейшем повествовании распоряжение князя пройти вооруженными полками с музыкой мимо побежденных характеризует его как мудрого полководца: Святослав понимает значение такого марша в качестве подтверждения силы русского войска. Этот своеобразный «парад» должен был утешить врагов и выполнил свое назначение, о чем говорят дальнейшие свидетельства летописи о посольствах бул-

гар к владимирскому князю с настойчивыми просьбами о мире, которые только с третьей попытки увенчались успехом.

Помимо героя-полководца, в повести по Московскому своду появляется и герой-организатор похода, старший брат Святослава владимирский князь Юрий Всеволодович. Его роль подчеркнута отдельными деталями. Вначале говорится не только о том, что Юрий послал брата Святослава против болгар, но и о том, что именно великий князь назначил воеводой Еремея Глебовича, а также повелел послать полки Васильку Константиновичу ростовскому и муромским князьям. После победы Юрий встретил Святослава у Боголюбова: «и целовастася с любовью великою» [47, 162] – сообщает Московский свод. По возвращении во Владимир великий князь наградил участников похода: «и створи князь Юрьи учреждение великое брату своему и воемъ всем по три дни, и многы дать дары брату своему *златом* и *сребромъ* и **порты** розличными и **кони** и **оружиемъ**, *аксамиты* и *паволоками* и *белью*, тако же и вои одари повелику, **когого же по достоинству**. И отъиде Святославъ съ честию великою въ градъ Юрьевъ» [47, 162]. Это описание содержит два не вполне обычных компонента. Перечисление даров, данных победителю его старшим братом, напоминает скорее перечень военных трофеев, взятых в бою. Например, в рассказе о походе Олега на греков под 907 г. в «Повести временных лет» читаем: «несыи *злато*, *паволоки*, *овощ* и *вина*, и всякое *узорочие*» [47, 466]. Есть подобное перечисление и в «Слове о полку Игореве»: «...а съ ними *злато*, и *паволоки*, и *драгыя оксамиты*» [49, 5]. Сходные упоминания встречаются и в памятниках Куликовского цикла (в «Задонщине»: «Уже бо русские сынове разграбиша татарские *узорочья*, и **доспѣхи**, и **кони**, и *волы*, и *верблуды*, и *вино*, и *сахар*, и *дорогое узорочие*, *камкы*, *насычеве*...» [66, 12]; в Краткой летописной повести: «...погна бо с собою многа стада **кони**, и *вельблюды*, и *волы*, им же нѣсть *числа*, и **доспѣхъ**, и **порты**, и *товаръ*» [66, 15]; то же в Пространной [66, 23]). Интересно, что золото, паволоки, оксамиты упоминаются в виде трофеев в ранних текстах, а кони, оружие (доспех) и порты – в текстах XV в., рассматриваемая же повесть соединяет в перечислении все эти элементы. Основное значение

слова «бель», подходящее по смыслу в данном случае («шкурка, мех белки» или производное «беличий мех как денежная единица» [67, 138]), встречается, судя по данным словаря И.И.Срезневского и Словаря русского языка XI – XVII вв., в текстах домонгольской эпохи. Возможно, этот перечень в повести 1220 г. свидетельствует о двух этапах в работе над текстом: в XIII и XV вв.

Упоминание о том, что воины были награждены, не является уникальным, необычно то, что их одарили «коегождо по достоинству». Аналогия этому сообщению в более ранних летописных памятниках, кажется, есть только в НПЛ старшего извода в статье 1016 г. о награждении Ярославом новгородцев после похода на Святополка: «Ярославъ иде Киеву и сѣде на столѣ отца своего Володимира, и нача вое свое дѣлити: старостамъ по 10 гривень, а смердомъ по гривнѣ, а новгородьчемъ по 10 всѣмъ, и отпусти я домовъ вся» [16, 15]. Среди более поздних памятников сходное упоминание встречаем в Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», когда Дмитрий после битвы говорит воинам: «Егда же упасеть мя Господь и буду на своем столѣ, на великом княжении, въ градѣ Москвѣ, тогда имам *по достоанию* даровати вас» [66, 47]. Обобщенная форма выражения одного и того же понятия (по достоинству – по достоанию) сближает повесть о Святославе с поздним памятником.

Юрий в этом фрагменте – справедливый и милостивый князь, осознающий значение воинского подвига брата и всех русских воинов и награждающий их по заслугам. Так сыновья Всеволода Большое Гнездо прославляются в повести как верные союзники в борьбе за интересы Руси, опытные воины и полководцы.

Оба варианта повести – и в Ермолинском и в Московском сводах – отличаются светским характером. В них нет мотива Божьей помощи, нет датировок событий через упоминание церковных праздников, характерных для владимирского свода, вошедшего в Лаврентьевскую летопись, отсутствуют цитаты из Библии, обычные для владимирских летописцев XII-XIII вв.

Повесть по Московскому своду явственно проявляет тенденцию к детализации, описательности, внимание к героям и в известной мере

стремление к психологизму в изображении людей, эмоциональности текста, которая достигается за счет эвфонических приемов. Эти особенности подтверждают предположение А.Н. Насонова о том, что «записывавший был при Святославе» [63, 224].

Рассмотрев соотношение двух летописных повестей, можно предположить четыре возможных варианта их возникновения: 1) они отразили рассказы, созданные во Владимиро-Суздальском княжестве в XIII в., второй из которых представлял переработку первого; 2) Ермолинская летопись сократила общий с Московским сводом протограф; 3) она более точно воспроизвела исходный текст, а сводчик Московской летописи дополнил его; 4) если опираться на гипотезу А.А.Шахматова, возможно предположить, что во владычном своде времени Ефрема древняя владимирская повесть была доработана в стилистическом отношении и в этом виде вошла в Московский свод, в своде же времени Вассиана Рыло она была зафиксирована в первоначальном варианте, который вошел в Ермолинскую летопись.

Соотношение литературных особенностей двух текстов заставляет сомневаться в справедливости второго предположения. Мелкие лексические и детализирующие изменения двух текстов вряд ли могли быть так последовательно проведены путем изъятия частей редактором Ермолинской летописи, ведь они принципиально не изменяли содержания текста.

Есть основания и для того, чтобы отвергнуть третий вариант. Рассматривая окружение повести в Московском своде, легко обнаружить, что в целом тексты отличаются краткостью и сдержанностью в описании событий, московские летописцы 70-х гг. XV в. снимали из повестей, зафиксированных более древними летописями, например, СЛД, риторические элементы и повторы. Эвфонические приемы, наблюдаемые в повести 1220 г., используются очень редко. Подробные повествования, сходные описательностью и конкретностью с рассматриваемым текстом, единичны, самый яркий пример – это повесть 1207 г., которая была отнесена М.Д.Приселковым к тому же источнику, что и рассматриваемая [64, 250-252]. Все это заставляет предполагать, что особенности, отличающие рассматриваемую повесть, не свойственны манере

составителя свода 1479 г., а следовательно, отпадает гипотеза о расширении в нем общего с Ермолинской протографа.

Первое предположение косвенно подтверждается следующим соображением. Внимание к Юрию, проявленное в тексте Московского свода, может свидетельствовать о варианте, который владимирский летописец составил, по словам А.Н.Насонова, «для прославления или в память великого князя владимирского Юрия» [63, 224], а отсутствие внимания к этому князю в Ермолинской летописи – о работе не великокняжеского сводчика, не подчеркивавшего роль старшего из князей, который к тому же не участвовал в походе. Таким образом, исходные тексты обеих повестей могли быть созданы в XIII в.

Подтверждение этой гипотезы могло бы исходить из осознания окружения повести как явления древнего владимирского летописания. Однако ни один из дошедших до нас летописных сводов не отражает в целом древних источников Ермолинской и Московской летописей. В связи с этим, возможно, стоит обратиться за некоторыми аналогиями к явлениям изобразительного искусства XIII в., тем более что памятником походу 1220 г. стал известный собор в Юрьеве Польском, заложенный в 1230 г. главным героем повести князем Святославом Всеволодовичем на месте обетшавшего Георгиевского собора, который был построен Юрием Долгоруким в 1152 г. Он сохранил свое название, будучи теперь уже, видимо, посвященным небесному патрону Юрия (Георгия) Всеволодовича, старшего брата Святослава, одного из персонажей повести. Святой Георгий-воин изображен на одном из барельефов храма. Ермолинская летопись под 1230 г. сообщает: «Того же лета Святославъ разруши церковь въ Юрьеве, юже бо бе обетшала, еже преже созда дедъ его Юрьи, и созда чюдну велми, резанымъ камениемъ» [65, 103]. В Московском своде аналогичное известие помещено под 1234 г.: «Благоверный князь Святослав Всеволодич сверши церковь въ Юрьеве святого великомученика Георгия и украси и паче инехъ церквей, бе бо изъвну около всеа церкви по каменею резаны святыя чюдно велми, иже есть и до сего дне» [47, 173]. Нужно думать, что первый свод определяет год закладки собора, а второй время его завершения. Тверской сбор-

ник, повторяя в общих чертах сообщение Ермолинской, добавляет к нему, что Святослав «самъ бѣ мастер» [41, 355]. Комментируя это дополнение, Г.К.Вагнер писал о том, что «Святослав мог быть вдохновителем всей работы» и, возможно, создателем композиции Распятия [68, 50]. Находил исследователь на стене собора и портрет князя Святослава: «Спокойное, открытое выражение несколько холеного лица, ... по-кочевнически загнутые слегка вверх усы, челка волос, выбивающаяся из-под шапки-шлема, свидетельствуют о том, что это не декоративная маска, а именно портрет, в данном случае ктиторский портрет» [68, 34]. Среди барельефов искусствовед обнаруживал образы воинов Святослава, чей героический облик ярко отразился в повести: «Рельефы дружинников занимают не только капители, но даже венчают барабан главы, что было совсем невиданным явлением. В религиозных сюжетах особо подчеркнуты такие, в которых тоже сильно звучали мотивы героического подвига, верности правому делу» [68, 17; 69, 286].

Рассмотрев всю систему рельефов собора, содержащих «много светских мотивов, внесенных ... непосредственно из городской действительности» [68, 30], Г.К.Вагнер пришел к выводу о том, что это «начало нового искусства, посвященного миру человеческих отношений» [68, 56]. Светские мотивы и внимание к человеку сближают повесть, отразившуюся в Московском своде, и скульптуру Георгиевского собора, а это может говорить о том, что они принадлежат одной и той же эпохе в развитии культуры Владимиро-Суздальского княжества.

В то же время внимание к стилистической и звуковой переработке текстов более свойственно литературе начиная с конца XIV в., то есть связывать эту работу логичнее со сводом времени Ефрема.

Таким образом, все имеющиеся факты и логические доводы свидетельствуют в пользу возможности двухэтапной переработки текста. Повесть, зафиксированная Ермолинской летописью, представляется более ранней. Текст, впервые отразившийся в Московском летописном своде, мог вести начало от владимирского свода Юрия Всеволодовича, в котором был переработан более ранний вариант, а затем он, возможно, был стилистически доработан книжником, составлявшим летопись времени

Ефрема, и в таком виде оказался включенным в Московский свод.

Из более поздних редакций повести привлекает внимание вариант Тверского сборника. Прежде всего, он занимает иное структурное место в летописной статье. В двух рассмотренных летописях повесть о походе Святослава начитает летописную статью 1120 г. В Тверском сборнике до нее приведен ряд погодных записей о различных событиях. В Ермолинской и Московской летописях сразу вслед за сообщением о возвращении Святослава в Юрьев следует повествование о дальнейшем развитии отношений Юрия с булгарами. Тверской летописец отнес этот текст в следующую годовую статью, а в той же статье 1220 г. поместил несколько новгородских известий.

В текст, известный по Ермолинской летописи, сделан ряд вставок. В первой половине текста в нескольких случаях добавлены отчества князей, причем даже тогда, когда они избыточны («А Давыдъ Муромский посла сына Святослава Давыдича, а братъ его Юрий сына Олга Юриевича» – [41,330]). Рассказав о встрече войск, автор добавляет формулу: «и поидоша противъ себе» [41,330], которой не было в двух более ранних летописях. Одна из вставок весьма примечательна: тверской летописец замечает, что город Ошел «бѣ созданъ Александромъ Македонскимъ» [41, 331]. Возможно, эти сведения связаны с Хронографом, который публикаторы летописи называют одним из источников Тверского сборника [41, V]. К дате взятия Ошела (15 июня) тверской летописец добавил уточнение по церковному календарю, которое было в Лаврентьевской летописи: «на память святаго пророка Амоса» [41,331]. Ранние летописи сообщали о встрече победителя у Боголюбова, Тверская говорит: «пришедшу ему в Клязму, срѣте его князь великий Юрий» [41, 331].

Внимание привлекает также изменение перечня инструментов, которые использовало войско Святослава во время торжественного марша: «и удариша в накры, и въ органы, и въ трубы, и въ сурны и въ посвистѣли» [41,331] – количество перечисленных инструментов больше, чем в ранних вариантах повести, лексически совпадает только указание на трубы, слово «накра» означало бубен, барабан, так что сам предмет тоже совпадает с предшествующими повестями. Увеличение

ряда связано, очевидно, с желанием автора подчеркнуть значительность зрелища, представшего перед побежденными врагами. Таким образом, переработка Тверской летописью текста связана в основном с установкой на уточнение некоторых сведений, с привлечением, видимо, дополнительных к основному источников.

Текст повести в других летописях XVI в. не содержит следов сколько-нибудь целенаправленной переработки, скорее, можно говорить о немногих незначительных изменениях.

Таким образом, история редактирования повести о походе Святослава в летописях отражает литературные манеры разных авторов и эпох – от лаконичного сообщения одного из древних владимирских сводов в составе Лаврентьевской летописи до литературно изысканного повествования Московского свода, усвоенного крупнейшими летописями XVI в. – Воскресенской и Никоновской по Лаптевскому списку. История произведения также свидетельствует о том, что тексты воинских повестей, зафиксированных сводами XV–XVI вв., могут быть результатом многоэтапного редактирования.

1.5. Повесть «О первой Литовщине» в русском летописании

Повесть «О первой Литовщине» помещена под 1368 г. в Рогожской и Симеоновской летописях. В ее основу лег острый эпизод в истории межкняжеских отношений. Во второй половине XIV в. после распада Орды усилились набеги татар на Русь, что должно было поддержать процесс объединения сил русских князей, но противоречия между ними, напротив, углубились, поддерживаемые ордынцами [70, 43–67]. Особенно сложными стали в конце 60-х гг. отношения между Михаилом Тверским и Дмитрием Московским. В 1367 г. митрополит Алексей и Дмитрий вызвали Михаила в Москву и заставили подписать договор, который ставил его в зависимость от Москвы и передавал Городок во владение его двоюродных братьев. Михаил не собирался соблюдать условия договора, поэтому Дмитрий направил в Городок на помощь своим наместникам войско. Тогда Михаил отправился в Литву за помощью к князю Ольгерду, мужу сестры.

Литва в эту эпоху пыталась захватить часть западнорусских земель и открыто противостояла власти московского князя и влиянию митрополита Алексия.

Повесть рассказывает о приходе на Москву литовского князя Ольгерда, которого призвал на помощь Михаил Тверской. Рогожский летописец представляет собой наиболее близкое отражение общерусского свода 1408 г. через тверское летописание [71, 110-111], что отразилось на детальности изложения и в то же время наложило отпечаток на позицию повествователя. В первой части летописной статьи, еще до начала самой повести, выделенной заглавием, ярко проявляется тверская тенденция. Летописец, повествуя о поездке Михаила в Москву, говорит об Алексии и Дмитриии, что они «сѣдумаѡ на него сѡѡѡтъ золь... чересь цѣлование яша и да дрѣжали выстомѣ и Городокѣ отъняли» [39, 87], а Михаил, отпущенный в Тверь «сжалиси велми о томѣ и негодоваше, и не любо ему бысть, и положи то въ измену и про то имѣаше розмирие къ князю къ великому...» [39, 87]. Таким образом, летописец высказывает прямое осуждение митрополиту и московскому князю, мотивируя их неправотой дальнейшие поступки Михаила.

Сама повесть начинается сообщением об отправлении Дмитрием войска против Михаила и бегстве тверского князя за помощью в Литву к зятю Ольгерду. В произведении используются приемы возникшего в конце XIV в. «плетения словес» для характеристики действий персонажей. Наиболее активно автор применял парные синонимические сочетания, ярко изображающие значимые поступки князей. Михаил, придя к Ольгерду, «многы **укоры изнесе и жалобы изложи**, прося *помощи собѣ и оборони*,... паче же *вабячи и зовучи* его ити ратию къ Москвѣ» [39, 88]. Ольгерд в ответ на эту просьбу «сѡбравъ *воя многы* и подвигая *въ силь тяжцѣ*», а Дмитрию «того *не вѣдушу* и про то ему *вѣсти не было*» [39, 88].

В дальнейшем акцент в изображении героев перемещается с Михаила, который становится лишь одним из тех, кто сопровождает в походе литовского князя, на Ольгерда. Летописец отмечает особую полководческую стратегию и воинский опыт литовца. Группа близких по значению слов, часть которых создает конечные созвучия, появляется в рас-

суждении автора о хитрости, применявшейся Ольгердом в походах. Князь никому: «ни инымъ *опришимъ или внѣшимъ, или иноземцемъ или гостемъ*» [39, 88] не говорил, на кого идет войной, «да не услышана будетъ дума его во ушью иноземцемъ, да не изыдетъ вѣсть си въ ту землю, въ ню же рать ведяше» [39, 88].

В этой части произведения основное внимание летописец уделил врагу. Это было необычно для воинских повестей, но в рассматриваемом тексте оправдывалось необходимостью объяснить слабость московского князя, который, будучи обманут хитрым Ольгердом, не сумел предотвратить разорение своей земли, хотя и смог отстоять стольный город. Кроме того, автор выражает почти восхищение воинским умением и удачливостью литовского князя: «И тако, *воюя хитростию и скрадывая*, Олгердь **многы** земли **поималъ** и **многы** мѣста и грады и страны **поплѣнилъ**; не толма силою, елико умѣниемъ воеваше» [39, 88]. В этом отрывке летописец использовал две пары оборотов, близких по значению, а внутри второго члена второй пары поместил еще ряд однородных членов, раскрывающих одно понятие. Такая усложненная синтаксическая структура характерна для стиля «плетения словес», а концентрация синонимов позволяет автору отчетливо выразить оценку персонажа. Положительное отношение летописца к Ольгерду объясняется в данном случае, вероятно, тем, что он видел в литовском правителе союзника «своего» тверского князя.

Узнав, что враг приближается, московский князь начал «россылати грамоты *по вѣстмъ городомъ и по вѣстму княжению великому*» [39, 89], но воины из других земель не успели прийти ему на помощь. Дмитрий в повествовании о военных действиях не оценивается, летописец лишь фиксирует последовательно его поступки: отправленіе вперед сторожевого полка, сожжение посадов около города с целью усложнить положение врага в случае осады. Центральное же место отводится действиям Ольгерда, князь Михаил вовсе не упоминается. Причина такого изменения положения лица, чьи действия лежали в основе военных событий, объясняется, видимо, тверской позицией летописца. Ольгерд изображен в повести как безжалостный завоеватель, разоряющий русские земли и губящий людей.

Вероятно, редактор повести не хотел представлять князя своей земли как губителя соотечественников. Он стремился изобразить этот поход не как междоусобную рать тверского и московского князей, но как нашествие внешних врагов. Поэтому он подчеркивает участие в походе всех князей литовских, а в конце повести замечает: «Се же зло сътворися за наши грѣхы, а преже того толь велико зло Москвѣ от Литвы не бывало въ Руси...» [39, 90].

Экспрессивный стиль используется и с целью изобразить быстроту, активность действий Ольгерда, узнавшего, что Дмитрий не сумел собрать большого войска: «Олгердъ начать подвижнѣ быти, поостривъ силу свою и много дръзновенье въсприимъ, напрасно устрѣмився къ Москвѣ» [39, 89]. Нагнетание глаголов, фразеологизм «поостривъ силу свою» (вероятно, синонимичный выражению «поострити крѣпость свою» – усилиться, укрепиться [74, 73]), наречие «напрасно» (имело значения: неожиданно, быстро, напористо) подчеркивают решимость, проявившуюся в действиях врага Руси. Пространно изображены и последствия похода для Руси. Враг «волости повоева, села и дворы огнемъ пожже, много христианъ посѣче, и иныхъ въ полонъ поведе, а имѣния ихъ пограбиша, а скоты ину ту съ собою отгнаша и тако отидоша, а много зла створивше христианомъ» [39, 90]. Вполне естественно, что, перечисляя беды Руси, летописец предпочел забыть об их причине – «своем» тверском князе, призвавшем литовцев на Русь и участвовавшем в их походе.

Особую редакцию текста содержит Тверской сборник. Эпоха, в которую создавался свод, уже далеко отстояла от тех времен, когда Тверь была реальной соперницей Москвы в борьбе за великое княжение. Поэтому, перерабатывая текст повести, редактор этого сборника по-своему выразил местную тенденцию.

Летописец сократил значительные фрагменты ранней повести. Во-первых, снято рассуждение о военной хитрости, успешно применявшейся Ольгердом, и о том, как он использовал ее в походе против Дмитрия. Во-вторых, исчез рассказ о допросе литовским князем русских пленников, сообщивших ему о малых силах московского князя. В-третьих, изъят фрагмент о подготовке Дмитрия к обороне

города. В-четвертых, автор убрал перечисление бед, которые Ольгерд принес Руси. Наконец, снята заключительная реплика повествователя, оценивающего нашествие как казнь за грехи и вспоминающего, что никогда раньше от Литвы такого не было. В результате вместо красочного детализированного описания хода событий, яркого изображения личности и действий врага в повести по Рогожскому летописцу в Тверском сборнике возникает краткая информативная повесть, четко передающая ход событий и явно не ставящая своей целью обрисовку персонажей.

Внесенные изменения можно интерпретировать как выражение местной позиции: редактор, составлявший летопись для тверского князя, должен был более лояльно представить действия его предка Михаила, призвавшего на Русь литовского князя против московского. В свою очередь, стилистическая переработка могла явиться следствием содержательной, поскольку изъятые фрагменты содержали элементы «плетения словес», придававшие рассказу эмоциональность, излишнюю для эпохи составления Тверского сборника.

Упрощение стиля заметно с самого начала текста. Описание действий князя Михаила в Рогожском летописце весьма пространно, редактор Тверского сборника, сохранив содержание, снимает все элементы «плетения словес»: (см. табл. 2)

Таблица 2

**Сравнение первого текста из Рогожского летописца
и Тверского сборника**

Рогожский летописец	Тверской сборник
«... князь же Михайло бѣжа въ Литву къ князю Олгерду, зятю своему, и тамо <i>многы укору</i> изнесе и жалобы изложи, прося помощи собѣ и оборони, дабы сътворилъ месть его въскорѣ, <i>паче же вавбачи и зовучи его ити ратию къ Москве</i> » [39, 88].	«Князь же великий Михайло побѣжа въ Литву къ великому князю Олгирду, зятю своему, и жалобы изложи, прося помочи собѣ, дабы сътворилъ месть его вскорѣ» [41, 429].

Так же сокращен рассказ о разорении Ольгердом Московских земель. В Рогожском летописце событие показано рядом однородных

членов-глаголов, подчеркивающих урон, нанесенный врагом, редактор Тверского сборника гораздо более сдержан (см. табл. 3):

Таблица 3

**Сравнение второго текста из Рогожского летописца
и Тверского сборника**

Рогожский летописец	Тверской сборник
«Олгердь же се входя въ предѣлы области Московьскыя, начать преже всѣхъ воевати порубежнаа мѣста жеши, сѣчи, грабити, палити, плѣнити...» [39, 89].	«Олгердь же, входя въ предѣлы Московьскыя, нача воевати порубежнаа мѣста...» [41, 429].

Изъятие ряда детализирующих глаголов, создающих морфологическую рифму, уменьшает изобразительность и эмоциональность текста.

В конце повествования появляется фрагмент, содержащий оценку событий летописцем. Он предельно сокращает рассказ об осаде Москвы, но при этом произносит свое суждение: «...и оттолѣ скоро прииде къ Москвѣ, и ста около града съ великою силою, и стоялъ 3 дни и 3 нощи, и много зла сътворилъ, и отъиде въ своаши, учинивъ лихо за лихо» [41, 429]. Если учесть, что речь идет о действиях Ольгерда, то вызывает недоумение последнее высказывание летописца. Ведь «лихо» было сотворено Дмитрием по отношению не к литовскому, а к тверскому князю. Слова эти явно направлены на оправдание действий Ольгерда, поскольку он вступился за Михаила, хотя при этом летописец сознает, что он причинил зло русским людям, жителям Московского княжества.

Существенным изменениям повесть подверглась в Московском летописном своде 1479 г., где она помещена под 1366 г. Летописец сохранил фактический состав текста, но последовательно правил стиль, упрощая его и снимая элементы «плетения словес». В результате московская редакция превратилась в пересказ более ранней повести, отличающийся точностью передачи фактов и сдержанностью выражения позиции повествователя. Работая над содержанием текста, редактор

внес некоторые мелкие изменения. Им снято упоминание о молодости сына Кестутия Витовта, принявшего участие в походе Ольгерда, опущена датировка битвы сторожевого полка по церковному календарю, сохранена лишь светская датировка. Дополнения, внесенные летописцем, в основном носят уточняющий характер. Так, он пояснил, почему Михаил обратился к Ольгерду: «бе бо за нимъ сестра родная княжа Михайлова» [476, 251], и далее добавил, что князь не только сам обратился к Ольгерду, но и «сестру свою научая глаголати ему» [47, 251].

Примеры стилистических изменений в тексте многочисленны. В большинстве случаев редактор снял синонимические конструкции или однородные члены, дополняющие друг друга по смыслу. Рассказывая о поездке Михаила Тверского за помощью к Ольгерду, в паре «укоры изнесе и жалобы изложи» [39, 88] летописец изъясил первый член, вместо пары «вабячи и зовучи» [39, 88] употреблено слово «поущаше» [47, 251]. В рассказе о хитрости Ольгерда, никому не рассказывавшего, куда он идет, снят ряд однородных членов, уточняющий, кому не должно быть известно о его замыслах; в том же фрагменте из пары «да не услышана будеть дума его въ ушью иноземцемъ, да не изыдетъ вѣсть си въ ту землю, въ ню же рать ведяше» [39, 88] изъят первый член. Исчезло замечание автора о том, что хитрость Ольгерда всегда приводила его к успеху, содержащее два ряда однородных членов. Изъята из ряда пяти однородных членов пара «палити, пленити», создававшая созвучие в окончании. Ряд подобных изменений можно продолжить.

Единственный случай, в котором автор заменяет слово, имеющее оценочное значение, связан с хитростью, применяемой Ольгердом. Автор Рогожского летописца использовал по отношению к ней положительно-оценочное слово «умѣние» [39, 88], редактор Московского свода – отрицательно-оценочное «злехитрство» [47, 251]. Только на этом основании и можно говорить о выражении авторской позиции в повести.

Предпринятая редактором стилистическая правка укладывается в общую тенденцию свода – ориентацию на традиционную для северных летописей форму и манеру воинских повестей.

Большое число изменений содержит редакция Никоновской летописи. На них в первую очередь сказались общие тенденции этого свода. Во-первых, каждый из князей, особенно появляющийся впервые в повествовании, представляется летописцем с упоминанием всех его славных предков. Так представлены в начале повести Дмитрий: «Того же лѣта князь велики Дмитрей Ивановичь, внукъ Ивановъ, правнукъ Даниловъ, праправнукъ блаженнаго Александра...» [42:11, 10], в конце погибший Константин Оболенский: «...уби князя Константина, Юрьева сына, внука блаженнаго великаго князя Михаила Черниговскаго, правнука Всеволожа, праправнука Святославля, препраправнука Олгова, прашура Святославля, прапрашура Ярославля, препрапрашура великаго Владимера» [42:11, 11], а затем Серпуховской князь: «...с княземъ Володимеромъ Андрѣвичемъ, внукомъ Ивановымъ, правнукомъ Даниловымъ, праправнукомъ блаженнаго Александра» [42:11, 11]. Примечательно, что самый длинный ряд предков указывается для погибшего удельного князя: традиция эта идет от древнейших летописных сводов, в которых для живущих владетельных князей было достаточно упоминания по отцу и только в некрологических статьях упоминался дед [75, 10]. С титулатурой и отчеством упоминается и литовский князь: «къ великому князю Литовскому Олгерду Гедимановичю» [42:11, 10]. Такое упоминание правителей соблюдается во всем своде, оно подчеркивает величие русского княжеского рода и родов, чьи представители вступали в браки с русскими князьями. Возможно также, что на этой особенности сказалась официальная церемониальность Никоновской летописи.

Во-вторых, редактору Никоновского свода более близким оказывается эмоциональный стиль Рогожского летописца, чем сдержанная манера Московского свода. Он прибегает к ряду приемов более раннего памятника, в частности, использует пары синонимов или близких по смыслу оборотов, характеризующих поступки героев и их чувства. Так, о Михаиле говорится, что он «начать *понужати и поучевати*» Ольгерда, «*моляся и биа ему челомъ съ слезами*», Ольгерд же «всласть словеса его приимаше, и паче же жены своеа моления слушаа» [42:11, 10]. Особенно последовательно использует смысловые повторы рас-

сказ о хитрости Ольгерда: «Никто же не вѣдаше его, *куды мысляше ратью ити, или на что събираетъ воинства много*, понеже и сами тии **воинствении чинове и рать вся** не вѣдаше, куды идяше, *ни свои, ни чюжи, ни гости свои, ни гости пришелицы*, въ тайнствѣ все творяше любомудро, да не изыдетъ вѣсть въ землю, на нея же хоцетъ ити ратью, и таковою хитростию изкрадываше, *мнози земли поималъ и мнози грады и страны поплънилъ...*» [42:11, 11]. Более выразительно, чем во всех предыдущих вариантах, звучит авторская оценка нашествия литовцев, благодаря использованию эпитетов: «отъ Литвы едино се зло сотворися, и то *окаанно и всегубително*» [42:11, 11].

В-третьих, в тексте наблюдается уточняющая детализация, отчасти возвращающая утерянные элементы, бывшие в Рогожском летописце, отчасти вносящая новые сведения. К первому типу относится, например, упоминание, что, разбив заставу Московскую, Ольгерд «и князей, и воеводъ, и бояръ всѣхъ поби», а также восстановление датировки события по церковному календарю [42:11, 11]. От себя же редактор добавляет, что Витовт во время похода был не только молод, о чем говорят и другие летописцы, но и «неславень» [42:11, 10]. После слов о том, что Ольгерд «не толико силою, елико мудростию воеваше», автор замечает: «и бысть отъ него страхъ на всѣхъ, и превзыде княжениемъ и богатствомъ паче многихъ» [42:11, 11]. Если первый тип дополнений говорит о том, что в руках у редактора Никоновской летописи был, скорее всего, свод, сходный с протографом Рогожского летописца, то второй свидетельствует о желании редактора подчеркнуть силу и мудрость Ольгерда как полководца, с целью объяснить поражение московского князя. Единственный существенный элемент, изъятый поздним редактором, – это эпизод допроса пленных Ольгердом, в котором предыдущие летописцы передавали речь пленников, говоривших о том, что Дмитрий не успел собрать войско. В Никоновской этот пространственный эпизод заменен одной фразой: «Тогда убо Олгердъ извѣстно испытавъ и увѣдѣ, яко князь велики Дмитрей Иванович не успѣ собратися съ силою мноюю...» [42:11, 11]. Это изменение возможно, связано с нежеланием летописца делать акцент на том

обстоятельстве, что русские пленники, выдавшие истинное положение Дмитрия, способствовали быстрому движению Ольгерда к Москве и разорению земель.

Таким образом, редактор Никоновского свода ставил своей целью при переработке предшествующего текста максимально подчеркнуть силу и военную опытность врага Руси – литовского князя, дабы оправдать поражение московских войск под предводительством Дмитрия, позднее одержавшего победу в Куликовской битве, непосредственного предка правящего московского самодержца.

Подводя итоги, можно сказать, что от свода к своду менялись задачи, которые ставили летописцы, рассказывая об одном и том же событии. Эти задачи диктовались местной позицией редакторов и представлениями их о манере летописного повествования, которые со временем обновлялись. Позиция редакторов сказывалась редко в прямых оценках, чаще – в сокращении или расширении фактического состава сведений, в расстановке акцентов при обрисовке образов героев, в использовании средств эмоционально-экспрессивного стиля или отказе от них.

1.6. Летописная повесть о битве на Скорнищеве

В летописных статьях 1371 или 1372 г. в разных сводах помещена повесть о междоусобной битве войска Дмитрия Московского во главе с Дмитрием Волынским против Олега Рязанского. Москвичи выиграли сражение, и князь посадил в Рязани Владимира Пронского.

Повесть в краткой редакции содержится в Симеоновской и Рогожской летописях, а в более полной в СЛЛ. Последняя использует приемы агиографического эмоционально-экспрессивного стиля, прежде всего в характеристиках героев. Автор Рогожского летописца кратко определил рязанцев: «Рязанци же сурови суще...» [39,98], в Софийском своде летописец подчеркнул гордость силой, свойственную врагам московского войска, с помощью трех определений и глагольного трехчлена: «тогда рязанци *сурови человеци и сверепици и людие високоумни* суще, **възнесъшеся мыслю и възгордѣшася величаниемъ, и помыслиша високоумиємъ своимъ...**» [50,440].

С помощью подобного же трехчлена в обеих редакциях рязанцы характеризуют противников: «слаби и страшливи, и некрѣпци» [39, 99; 50, 440].

Поражение гордых рязанцев, нанесенное им смиренными москвичами прокомментировано летописцем с помощью трех цитат. Они содержат утверждение о Божественном покровительстве смиренным, а не уповающим на силу: «яко же рече Соломонъ: «Господь гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать». Въ еуангелии убо есть речено: «Всякъ възносяся смирится, а смиряися възнесется». Давидъ пророкъ рече: «Не спасеться царь силою многую, ни исполинъ, ни храберъ не спасеться множествомъ крѣпости своея» [50, 440, ср. 39,99] (Притчи 3:34; Иаков 4:6 или 1 Петра 5:5; Псалтирь 32:16).

Авторы повестей используют двучленные синонимические обороты. Один из них включен в рассуждение в обеих летописях о том, что Бог «не в силѣ, но въ правдѣ, даетъ *побѣду и одолѣние*» [39,99; 50,440]. Второй появляется в СЛ: вместо «И бысть имъ бой» [39,99] в Рогожском летописце – «И бысть имъ брань **люта** и **сѣча зла**» [50,441]. Хотя эпитеты, входящие в синонимические варианты формулы начала битвы, вполне традиционны, несомненна большая выразительность фрагмента Софийского свода.

Таким образом, обе ранние редакции повести отражают московскую позицию по отношению к междоусобной битве, дают традиционную провиденциальную трактовку события, подчеркивая гордыню рязанского войска, за которую оно и наказано поражением. Отношение к героям в обеих повестях выражается с помощью стилистики «плетения словес», в большей степени использованной в варианте Софийского свода, отразившего позднюю редакцию произведения.

В Московском летописном своде 1479 г. появляются дополнения к тексту, содержащемуся в СЛ (позже этот вариант воспроизведен в Воскресенской летописи). Если автор Софийского свода расширил отрицательную характеристику рязанцев в сравнении с Рогожской летописью, то редактор Московского свода усиливает эту характеристику, добавляя к ряду эпитетов еще один: «палаумные людища» [47,255]. Примечательно, что экспрессия выражена и существительным

с помощью суффикса, имеющего увеличительное значение, и прилагательным с оценочным смыслом. В сцену битвы введена формула судьбы побежденных – «Рязанци же побегоша, мнози же от них избиени быша, а инии изымани» – и формула бегства Олега «въ мале дружине» [47,255]. С помощью этих общих мест форма повести приближается к традиционной.

Еще одно изменение связано, видимо, со стремлением редактора к строгой логике повествования. В Рогожском своде рассуждение о том, что Бог наградил москвичей за смирение, а рязанцев наказал за гордость, следовало за сообщением об исходе битвы и было оторвано от характеристики враждующих сторон. Такие дидактические отступления, содержащие морализирующий вывод из событий, были обычными для ранних воинских повестей во владимирском летописании. В Софийском своде это отступление, сопровождаемое тремя цитатами о смирении и гордости, переставлено и следует непосредственно за характеристикой рязанцев и москвичей, предваряя повествование о битве. Редактор Московского свода предложил третий вариант расположения фрагментов. Он продолжил рассуждение о смирении и гордости, прямо определив ход событий: «Богъ... призре на смиренныхъ смиреннымъ окомъ» [47,255] – и снял цитату из Притч Соломона. Тем самым он кратко и логично подытожил характеристику героев и прямо связал ее с ходом событий. Две оставшиеся цитаты (из Нового Завета и Псалтири) летописец перенес в конец текста, как было в Рогожском своде, и дал с их помощью характеристику личности предводителя войска Олега Рязанского.

Редактор Московского свода, сохранив и слегка усилив оценку событий, старался придать тексту канонический облик воинской повести, строго выдерживая логику повествования и вводя наиболее распространенные формулы.

В Никоновской летописи в текст также внесены изменения. Хотя она ближе всего стоит к редакции Московского свода 1479 г. и Воскресенской летописи, редактор еще усилил негативную характеристику рязанцев, подчеркнув их гордость: «Рязанци же люди сурови, сверѣпы, високоумни, **горди, чаятелни, вознесшися умомъ** и возгордѣшеся

величаниемъ, и помыслиша въ высокоумии своемъ палоумныя и **безумныя** людища, **аки чюдища**... [42:11,16]. Выразительность характеристики достигается длинным рядом синонимов и тавтологических повторах (высокоумни – въ высокоумии – вознесшися умом, горди – возгордѣвшесе), морфологическими рифмами, которые создаются рядом стоящими словами (палоумныя и безумныя; людища, аки чюдища), а также появлением второго слова с увеличительным суффиксом в сравнении.

Параллельно с усилением характеристики врагов редактор подчеркивает смирение русского войска. В Московском своде «Си же съ смирениемъ и со въздыханиемъ уповаху на Бога крепкаго въ бранехъ, иже не въ силе, но въ правде дает победу и одоление. Богъ же видя сихъ смирение, а онехъ высокоумие и гордость, и призре на смиренныхъ смиреннымъ окомъ» [47, 255], в Никоновской летописи: «Наши же смирениемъ и въздыханиемъ уповаша на Господа Бога *и на пречистую Богородицу и на великии чудотворцы, понеже отъ Бога дается помощь смиреннымъ*; не въ силѣ бо, но въ правдѣ дасть побѣду, **и сердца сокрушена и смирена Богъ не уничижитъ**. И тако видя Господь Богъ смирение москвичъ, *и вознесе ихъ*, а рязанцевъ гордость, *и низложи ихъ...*» [42:11, 16-17]. Летописец увеличил ряд небесных покровителей, на помощь которых уповали московские воины, дважды пространно выразил мысль о покровительстве Бога смиренным, ввел два глагола-антонима, выражающих активное действие, определяя божественную помощь москвичам (вознесе-низложи). Благодаря этому авторская мысль воплощена отчетливо и эмоционально.

Сходные дополнения введены в речь рязанцев, решающих не брать с собой оружия, перечень видов которого увеличен по сравнению с предыдущими вариантами повести («не емлем себе ни щит, ни копии, ни иного которого оружья» [47,255] – «не емлите съ собою доспѣховъ, ни щитовъ, ни копей, ни сабель, ни стрѣлъ» [42:11, 16]), а взять лишь «едины ужища» [47,255] (веревки, канаты – [74, 167], в Никоновской летописи «взени (веревки, арканы – [75, 151]) едины, и ремение (ременный бич, кнут, ремennая плетъ – [76, 141]), и ужища» [42:11, 16], чтобы вязать москвичей. Редактор Никоновской не следует

за предшественниками, у которых эта деталь служила лишь для характеристики самоуверенности рязанцев, он показывает последствия этого безумного решения для судьбы рязанского войска: «Рязанци убо махающиеся взенми и ремениемъ и ужищи, и ничтоже успѣша, но падоша мертвыя, *аки снопы*, и, *аки свиньи*, заклани быша» [42:11,17]. Таким образом, характеристическая деталь превращается в сюжетную, прямо мотивирующую развитие действия.

Если авторы предшествующих редакций показывали ход битвы только формулой, то в Никоновской летописи нарисована ироничная живописная картина: рязанские воины машут взятыми вместо оружия веревками, арканами и кнутами, но сами оказываются беспомощными перед врагом, к которому до боя они высказывали презрение. Гибель рязанцев изображена с помощью сравнений, не встречавшихся в более ранних редакциях этой повести. Первое из них представляет собой одну из воинских формул, широко использовавшихся в повестях XV–XVI вв., а второе усиливает эмоциональное впечатление от унижения гордых своей силой врагов.

Редактору Никоновской летописи благодаря незначительным дополнениям удалось превратить выразительное, но достаточно сдержанное в стилистическом отношении повествование в наделенное рядом с традиционной дидактичностью эмоциональностью и иронией описание событий.

Изменение текста повести о битве на Скорнищеве шло в летописях по линии усиления авторских оценок, более четкой расстановки смысловых и эмоциональных акцентов, которые достигались средствами экспрессивного стиля: использованием синонимических рядов, тавтологии, созвучий, сравнений.

1.7. Повесть о нашествии Тохтамыша

«Повесть о нашествии Тохтамыша», рассказывающая о разорении Москвы через два года после победоносной Куликовской битвы, в 1382 г., сохранилась практически во всех летописных сводах XV – XVI вв. в двух основных редакциях, выделенных и рассмо-

тренных М.А.Салминой [77, 134-151]: более краткой, отразившейся прежде всего в Рогожской и Симеоновской летописях, и пространной, варианты которой обнаружены исследователями в НІVЛ и СІЛ, восходивших к единому источнику. Переработки этих текстов вошли в своды XVI в.

Редакция, зафиксированная Рогожским и Симеоновским сводами, содержит рассказ об основных событиях нашествия, лишенный мотивировок их хода и поступков героев. Первое сообщение повести об ограблении и пленении русских купцов на Волге посланными Тохтамышом не объяснено и никак не связывается с дальнейшим ходом событий. Вслед за этим автор сообщил о приходе сыновей Константина Суздальского в войско хана, но в дальнейшем их роль во взятии Москвы не упомянул, так что сюжетной роли сообщение не играет. В этой же части повести сказано о помощи Олега Рязанского Тохтамышу и отъезде Дмитрия Ивановича, не решившегося биться с ханом, в Кострому.

Летописец не описал подробно осаду Москвы. Он упомянул точную дату прихода хана к городу и рассказал о силах осажденных. Затем сказано, что войско стояло около Москвы три дня, «а на 4 день оболга Остѣя лживыми рѣчми» [39, 144]. Вместо описания захвата города автор также ограничился сообщением о взятии Москвы и точной датой и даже часом: «взяша градъ мѣсяца аугуста 26 день, на память святаго мученика Андреяна и Наталии, въ 7 часъ дни» [39, 144].

Более подробно описано разорение города и разграбление его богатств. В эту картину включены конструкции судьбы побежденных, цитата из Псалтири 78:1-3, уподобляющая Москву разоренному Иерусалиму, и описание состояния горожан.

Помимо этого, в третьей части повести кратко рассказывается о захвате Тохтамышем окрестных городов, столкновении части его войска с воинами серпуховского князя, разорении Рязанской земли, судьбе суздальских князей, бывших в войске хана, возвращении в Москву Дмитрия и походе на Рязань его войска. Таким образом, летописец не изобразил ни одной из упомянутых им битв, поэтому использовал минимум формул, не уделил внимания ни одному из персонажей.

Но, несмотря на неразвернутость описания событий, автор сумел придать напряженный эмоциональный характер повествованию, применив целый ряд приемов эмоционально-экспрессивного стиля.

Поскольку летописец почти не ввел в повествование описаний и отступлений, ведущую роль в стиле повествовательных фрагментов играли глагольные формы, передававшие последовательные действия героев. В ряде случаев это цепочки глаголов, связанные с разными объектами действия: «Того же лета царь Токтамышъ *посла* въ Болгары и *повеле* христианския гости русския **грабити**, а ссуды ихъ и съ товаромъ **отнимати и провадити** къ себе на перевозъ, а самъ, собравъ вой многы, *подвигаяся* къ Волзе **со всею силою своею и со всеми своими безбожными плъкы татарьскими**, и *перевезеся* Волгу, *пойде* изгономъ на великаго князя Дмитрея Ивановича и на всю землю Русскую» [39,143]. Внутри второй части фразы, содержащей три глагола, автор ввел еще два синонимичных именных оборота, подчеркивающих большую силу войска Тохтамыша.

В рассказе о вступлении хана на Русскую землю летописец применяет ту же схему: «...преже всехъ **взя** градъ Серпоховъ и огнемъ **пожже**, и отътуду **пойде** къ Москве, напрасно устремився, *волости и села жгучи и воюючи*, *народъ* христианьскыи **секучи и убиваючи**, а иные *люди* въ полонъ **емлючи**» [39,144]. Внутри первого и второго членов второй группы глагольных оборотов появляются парные сочетания глаголов, создающие морфологические созвучия, а внутри первого из оборотов еще и пара взаимодополняющих существительных. Такое переплетение разнородных повторов служило усилению эмоциональности повествования.

Более простой трехчлен обнаруживается в описании разорения Москвы: «Въ церквахъ же и въ олтарехъ убиство **сѣдѣша** и кровопролитие **сѣтвориша** окаянии, и святая мѣста погании **оскверниша**» [39,145]. В ряде случаев глаголы образуют длинные цепи: четырех-, пяти-, семичленные. О сыновьях Дмитрия Константиновича, посланных отцом к Тохтамышу, сказано, что они «**гнаша** въ следъ его и **переехаша** дорогу его на Серначе, и **пойдоша** въ следъ его и **постигоша** его на Рязани» [39, 143]. Об осаде города автор лишь упоминает: «Царь

же **стоя** у города 3 дни, а на 4 день **оболга** Остея лживыми речми и миромъ лживымъ, и **вызва** его изъ града и **уби** его предъ враты града, а ратемъ своимъ всемъ **повеле** оступити градъ весь съ всѣ страны...» [39, 144]. Нагнетание глаголов сопровождается повтором слова «град» в разных формах, подчеркивающим значение действий хана для всех жителей Москвы.

Подробнее рассказано о разграблении города, здесь летописец вновь переплетает разные ряды однородных членов: «...и церкви зборныя **разграбиша** и иконы чюдныя и честныя **одраша**, украшенныя *златомъ и серебромъ, и женчюгомъ, и бисеромъ, и каменiemъ драгимъ* и пелены златомъ шитыя и саженныя **одраша**, кузнъ съ иконъ **одраша**, а иконы **попраша** и ссуды церковныя служебныя священныя **поимаша** и ризы поповьскыя **пограбиша**» [39, 144]. Благодаря включению в глагольный многочлен рядов дополнений и определений – существительных и прилагательных – летописец добивается не только эмоциональности, но и красочности повествования.

Синтаксически более четко организованный, а потому более ритмичный семичлен рассказывает о разорении татарами других земель после захвата Москвы: «Татарове же волости **повоеваша** и грады **поимаша**, а села **пожгоша**, а монастыри **пограбиша**, а христианъ **посекоша**, а иныхъ въ полонъ **поведоша** и много зла **сътвориша**» [39, 145-146]. Полный синтаксический параллелизм делает особенно заметными глагольные созвучия, усиливающие эмоциональность фрагмента.

В отдельных случаях автор использовал повтор именных оборотов, в основном рассказывая о судьбе Москвы и ее жителей. Так, упоминая о гибели книг, летописец подчеркивает их количество перечислением тех мест, откуда их принесли: «... съ всего града и изъ загороdia и изъ сель» [39, 144]. Это редкий случай, когда в воинской повести среди прочих ценностей, погубленных врагами, упоминаются книги. Реплика говорит об авторе как о человеке книжном, способном в полной мере понять тяжесть этой утраты.

Летописец выстроил особенно сложные конструкции повторов, говоря о гибели жителей и чувствах, которые испытывали оставшиеся

в живых. Первая из фраз состоит из трехчлена, девятичлена и еще одного трехчлена: «И ту убиень бысть **Семень, архимандрить Спаскыи, и другыи архимандрить Иаковъ и игумень Акинфъ Криловъ** и инии мнози игумени и прозвители, и черньци, и крилошане, и черницы, и попове, и диаconi, и простьци отъ унаго и до старца, и младенца мужьска полу и женьска, ти вси **посечени быша**, овии **побиени быша**, друзии же въ полонъ въ поганыи **поведени быша**» [39, 145]. В последней части фразы, воспроизводящей конструкцию судьбы побежденных, синтаксический параллелизм с созвучиями глагольных окончаний дополняется своеобразной звукописью повторенного пять раз начального слога «по», что также было обычным для стиля «плетения словес».

Вторая фраза описывает душевное состояние московских жителей после захвата города с помощью ряда из двадцати восьми существительных, передающих проявления чувств и называющих сами чувства: «И бяше въ граде видети тогда плачь и рыдание и вопль многъ, слезы, крикъ великъ, стенание, охание, сетование, печаль горкаа, скорбь, беда, нужда, горестъ смертнаа, страхъ, трепеть, ужась, дряхлование, ищезнование, попрание, бещестие, поругание, понось, смехание врагомъ, укоръ, студъ, срамота, поношение, уничижение» [39, 145]. Группы слов, использованные в этом ряду, являются синонимами или словами, близкими по значению, а их соединение усиливает эмоциональное воздействие фрагмента.

Примеры повторов в тексте повести не исчерпываются приведенным материалом, но основные типы их намечены.

Из вариантов пространной редакции большей полнотой отличается тот, что помещен в НІVЛ. В нем подробно, с детальными мотивировками передается ход событий и появляется наибольшее количество авторских отступлений. Текст озаглавлен «О пленении и о приходе Тахтамьша царя и о Московскомъ взятии» [78, 326].

Повесть открывается сообщением о небесном знамении, предвещавшем нашествие, которое было упомянуто в предшествующей годовой статье Рогожского летописца и отделялось от основного повествования другими событиями. Здесь знамение – своеобразный

символический пролог повести. Состав первой части произведения отличается от краткой редакции. Появляется рассказ о совете Дмитрия с князьями и боярами, во время которого обнаружилось разногласие, заставившие московского князя уехать из города. Затем летописец подробно рисует смятение московских жителей при известии о грозящей опасности и отъезде Дмитрия и сообщает о приезде литовского князя Остeya, вставшего во главе обороняющихся. Мотивируются действия Тохтамыша по отношению к русским купцам на Волге. Сообщая о том, что Дмитрий узнал заранее о движении войска врага, летописец упоминает, что хан пытался избежать этого, пленив русских купцов. Эта деталь объясняет предшествующее событие и помогает нарисовать образ хитрого и дальновидного врага.

Центральная часть начинается сообщением о приходе войска Тохтамыша к Москве. Первый эпизод повествует о подходе передового отряда, который должен был разведать подступы к городу и выяснить, в Москве ли Дмитрий. Автор изображает различное поведение людей, оказавшихся в осаде. Одни молятся и готовятся к возможной смерти как добрые христиане, другие упиваются допьяна, хвалятся прочностью городских стен и, решив, что перед ними все войско хана, хулят его.

Подробно описывается приступ татар к городу на следующий день после подхода передового отряда. Создавая обобщенную картину боя, летописец выделяет из него эпизод, когда «суконникъ именемъ Адамъ» со стены у Фроловских ворот убил сына одного из ордынских князей стрелой, что опечалило всех татар, включая Тохтамыша. Это редкий случай, когда в описании сражения соединяются обобщенность и конкретизация.

Трехдневная осада города, как и в Рогожском летописце, не описана. Автор подробно остановился на событиях четвертого дня, когда обманом был убит Остей, а сыновья суздальского князя ложной клятвой убедили москвичей сдать город. За сообщением о входе врагов в Москву следует описание неравной битвы. Иначе говоря, вместо сообщений о происходивших сражениях в краткой повести автор пространный дает развернутые описания битв.

В третьей части, рассказывающей о последствиях битвы, распространено описание разорения Москвы, а в конце его помещен плач о погибших. Следующее затем повествование о разорении близлежащих городов, битве с войсками серпуховского князя, взятии Коломны и Рязани, судьбе суздальских князей с небольшими изменениями повторяет краткую редакцию. Элементы плача и пространное перечисление урона, нанесенного татарами городу, включены в рассказ о возвращении Дмитрия в Москву.

Приемы агиографического стиля, как и в краткой редакции, способствуют созданию эмоционально насыщенного повествования. Например, повествуя о помощи Олега Рязанского татарам, автор замечает, что князь посоветовал, «како пленити землю Рускую, како бес труда взяти каменные градъ Москву, како победити и издобыти князя Дмитриа» [78,327]. Три параллельных синтаксических оборота дополняют друг друга по смыслу, внутрь последнего из них введены два близких по смыслу глагола, а параллелизм подчеркнут анафорическим союзом, и все эти средства эмоционально акцентируют роль предателя – рязанского князя.

Чаше, чем в краткой повести, летописец использует триады синонимов. Например, говоря о совете князей, автор упоминает, что Дмитрий, «то познавъ и разумевъ и расмотревъ», «и убося стати в лице самого царя, и не ста на бои противу его, и не подня руки на царя» [78,328]. После отъезда из Москвы князя вече собрали «народи мятежници, недобрнии чловеци, людие крамолници» [78,329]. Суздальские князья, обманывая московских жителей, говорят им, что Тохтамыш не разорит город, а хочет лишь «видети градъ сеи и во нь внити и в немъ побывати» [78,332]. Когда войска татар вошли в город, жителям было «негде и избавления обрести, и несть где смерти избыти, и несть где острема мечи укрытися» [78,333]. О походе врагов по Руси сказано: «Тотарове же многи грады поимаша, и волости повоеваша, и села пожгоша...» [78,337]. Рассказывая о бедах, принесенных Тохтамышем, летописец упоминает «убытки и напасти и проторы» [78,338]. Количество примеров можно значительно расширить.

В пространной редакции активнее используются библейские цитаты, причем автор применяет их группами, что было обычным

для стиля «плетения словес». Рассказывая о совете князей, на котором они не пришли к согласию, летописец цитирует Псалтирь 132:1 с точной ссылкой на источник («не помянуша Давыда пророка, глаголюща» [78,328]), а затем Притчи 18:19 с невнятным упоминанием «и другому приснопомнимому рекшу» [78,328]. Рисуя картину разоренного города, автор к тексту из Псалтири, использованному в краткой редакции, добавляет еще два стиха из другого псалма (77:63,64). В рассуждении летописца о наказании людям, не подчиняющимся Божьей воле, использованы реминисценции из книг Исаяи 1:19, Иеремии 15:8, Левит 26:14,17,8, объединенные общей ссылкой «яко же Господь глагола пророкомъ» [78,337]. В единственном случае летописец привел одну цитату: сожалая о доверчивости москвичей, он заметил, что они «ни помянуша глаголющаго: не всякому духу веруйте» (1 Иоанна 4:1). Многочисленность цитат, неточная передача текстов, соединение нескольких источников в связи с одним объектом – все эти особенности напоминают манеру цитирования Епифания Премудрого.

Из других средств агиографического стиля, примененных автором пространной редакции повести, нужно упомянуть тавтологию: думу думати [78,328], бежань сбежало [78,329], стреляше стрелами [78,331], съкровища съкровенное [78,334]; сложные двухкорневые слова, имеющие ярко выраженный оценочный характер: многоценныа (трижды), велехвалное, богатотворное, быстрообразно, долговременьство, благодушьство [78,334], многочисловечень, славослова и хвалословления, стихослова [78,336]. Последнее из отмеченных средств появляется в двух фрагментах: описании разорения Москвы и отступлении – плаче, живо напоминающем плачи из «Жития Стефана Пермского». Этому плачу предшествует похвала Москве, последовательно построенная на основе триад однородных членов, в отдельных частях которой четко выдерживается принцип синтаксического параллелизма с анафорой, а в последней части дважды возникают созвучия в окончаниях глаголов. В следующем за этим отрывком плаче к упомянутым средствам добавляются риторические вопросы, восклицания, обращения, парные сочетания синонимов, гомеотелевты на основе именных сочетаний. Все эти средства были

использованы Епифанием Премудрым в первом из дошедших до нас житий. Если вспомнить, что три плача, завершавшие житие, строились на основе сочетания плача и похвалы, то можно предполагать, что редакция повести, зафиксированная НІVЛ, написана или знаменитым агиографом, как утверждал Б.М.Клосс [79, 110-124], или кем-то из его учеников.

Согласно сложившимся взглядам, текст «Повести о Тохтамыше» в редакции СІЛ представляет собой сокращенный вариант НІVЛ. Из значительных сокращений нужно отметить изъятие плача о погибших и заключительного перечисления бед, принесенных татарами. Последовательно переработана стилистика произведения. Многие фрагменты, содержавшие триады однородных членов или синонимов, были упрощены. Например, в рассказе о совете князей выпущены обе триады, приведенные выше. О Дмитрии сказано, что он «познавъ и разумевъ... бысть в недоуменьи и в размышленьи, не хотя стати противу самого царя...» [50,473]. Таким образом, редактор Софийского свода, сняв триады, характерные для агиографического стиля, в то же время сохранил парные синонимические сочетания. В следующем фрагменте, рассказывающем о созыве веча, также снимается триада синонимов с определениями, остается лишь пара без определений: «народи мятежници крамолници» [50,474]. В других случаях трехчлены сохраняются, например, в словах суздальских князей о желании Тохтамыша видеть Москву [50,477], в упоминании автора о том, что жителям негде было укрыться от неизбежной смерти [50,478]. Только в двух случаях нами обнаружены вставки в текст Софийской летописи, приведшие к возникновению тройных сочетаний. В Новгородском своде, рассказывая о разорении и разграблении города, автор упомянул: «паки другия сущи въ граде купци...» [78, 334], редактор Софийского уточнил: «...сурожане и суконники и купци...» [50, 479]. В первом из сводов сказано: «Товар же и всякия имениа пограбиша, и градъ огнемъ зажгоша, и градъ убо огню предаша», и в части списков прибавлено: «а люди мечю предаша» [78,335]. Фактически второй и третий члены тавтологичны, а четвертый, введенный в части списков, превращает трехчлен в два двухчлена. Редактор СІЛ упорядочил фразу, сняв тав-

тологию и четко выдерживая синтаксический параллелизм: «и градъ огнемъ запалиша, а товары и богатество все разграбиша и людие мечю предаша» [50,481].

Судя по этим изменениям, нужно думать, что редактор стремился приблизить повествование к традиции летописной воинской повести, сняв избыточные для этого жанра отступления, и кое-где упростив текст. В то же время он сам использовал элементы стиля «плетения словес», проникшего к тому времени и в летописное повествование, а потому не внес в текст ничего принципиально нового.

Таким образом, усиление в конце XIV – начале XV вв. внимания к изображению человека и поиск новых средств выражения позиции повествователя привели к использованию в летописной воинской повести средств эмоционально-экспрессивного стиля, зародившегося в домонгольской Руси в произведениях ораторского красноречия и получивших широкое распространение в агиографии эпохи Куликовской битвы.

В Тверском сборнике Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву сокращена даже по сравнению с Рогожским летописцем, хотя вероятно, что автор знал более полный текст, поскольку он приводит факты, отсутствующие в редакции упомянутого свода, и, наоборот, опускает сведения, которые в нем есть. Например, в Рогожском летописце в начале повести рассказывается об отправлении суздальским князем двоих сыновей к Тохтамышу. В Тверском сборнике это сообщение отсутствует, зато оба князя появляются в тот момент, когда Тохтамыш пытается обмануть москвичей. Как и в версии СИЛ, они произносят ложную клятву, обещая горожанам, что войска хана не тронут Москву. Речь их, в отличие от свода XV в., очень краткая. Если автору был известен текст, содержащий оба эпизода с упоминанием нижегородских князей, то он, вероятно, намеренно опустил первый как избыточный, потому что в нем приезд князей к Тохтамышу не имеет никакого сюжетного значения, во втором же их присутствие во вражеском войске и обращение к горожанам решают судьбу Москвы. По тем же причинам, очевидно, редактор Тверского сборника снимает в начале повести рассказ о попытке Дмитрия собрать войско, неудаче и отъезде

в Кострому. Читатель узнает об отсутствии князя в Москве из ответа горожан на вопрос татар, подошедших к городу. Таким образом, можно утверждать, что летописец избегает не только стилистического, но и смыслового дублирования, перегружающего текст. При этом во втором случае изъятие сообщения нельзя считать удачным, поскольку остается не мотивированным для читателя приезд в Москву литовского князя Остея и укрепление им города.

Повесть в Тверском сборнике по существу представляет собой краткий пересказ событий, раскрытых в более ранних сводах, при этом наименьшее внимание летописец уделил собственно военным событиям. Не показаны им и картины разорения города, столь выразительные в предшествующих редакциях. Редактор создал типичную информативную повесть, в центральной части которой кратко упомянуты две битвы: первый приступ и штурм уже открытого города. Оба описания лишены конкретных деталей и воинских формул.

В конце повести тверской летописец снимает рассказ о взятии татарами русских городов, столкновении с войсками серпуховского князя, сокращает сообщение о приходе Дмитрия в Москву. По всему тексту исчезают авторские отступления, лишь после сообщения о взятии Москвы появляется традиционная реплика: «Си вся учинися грѣхъ ради нашихъ» [41, 442].

Характер переработки текста в Тверском сборнике в какой-то мере можно объяснить, исходя из единственной значительной вставки, сделанной летописцем. Сообщив о взятии Москвы и судьбе жителей, он приводит сведения, не сохранившиеся ни в одном более раннем памятнике, о том, что Тохтамыш хотел идти к Твери, но князь Михаил послал к хану Гурленя, которого хан отпустил обратно «съ ярлики» [41, 442], и не пошел на Тверь. В появлении этого фрагмента, бесспорно, сказалась местная точка зрения редактора, которая свойственна всей летописи. Автор преуменьшил значение похода Тохтамыша на Москву и приглушил трагизм происшедших событий, одновременно унизив Дмитрия, который, по его словам, услышав о приходе хана, «побѣжа на Кострому» [41, 441], а вернувшись, оказался способным лишь на «плачь великъ и горко стогнание» [41, 442]. На фоне беспомощности московского князя особенно

выгодно отличается деятельность тверского, сумевшего с помощью посольства предотвратить разорение своей земли.

В свете этой авторской позиции становится понятной полная стилистическая переработка текста, из которого сняты все элементы стиля «плетения словес»: летописец не хотел создавать яркое эмоциональное повествование, и соответствующие средства были ему не нужны.

Редактор Тверской летописи превратил повествование о нашествии Тохтамыша в строго документальное, последовательное, избегающее повтора любых известий, которые, с его точки зрения, осложняют текст. В результате возникает хронологически и логически выдержанное повествование информативного типа, отличающееся отсутствием воинских формул. Единственная авторская реплика, появляющаяся в тексте, использует два образных выражения: «Си вся учинися грѣхъ ради нашихъ; и **бысть вскорѣ все прахъ**, а въ плѣнь поведоша **акы скоть**» [41,442]. Такая сдержанная оценка тоже была обычной для повестей информативного типа.

Повесть о нашествии Тохтамыша в списках Никоновской летописи отразилась в двух редакциях. В списке Акад. XVII сохранился вариант, близкий к Воскресенской летописи, в остальных – более краткий. Обе редакции отличаются тем, что в них нет описания небесного знамения, предвещавшего нашествие, которое было помещено в начале многих летописных текстов. В Никоновской летописи, так же как в Симеоновской и Московской, знамение перенесено в летописную статью предшествующего года. В обеих редакциях изменена и еще одна деталь: среди желающих уйти из Москвы при известии о подходе вражеских войск названы митрополит Киприан и великая княгиня Евдокия, и рассказано о том, как их не хотели выпускать из города, а в конце концов выпустив, ограбили вместе со всеми прочими уходящими.

В большинстве списков существенно переработан эпизод, повествующий о принятии Дмитрием решения об уходе из Москвы. Редакции СЛ, Московского и Воскресенского сводов, говоря о том, что князья не захотели помогать Дмитрию, приводили две библейские цитаты о благотворности братской помощи. Редактор Никоновской, так же как и Ермолинской летописи, снял оба библейских

текста. Редактор свода XVI в. в дополнение к упоминанию «разньства и разпри» [42:11,72] князей добавил: «еще же и оскудение воинства; оскудѣ бо вся Русская земля отъ Мамаева побоища за Дономъ, и вси Русстии людие въ велицѣ страсть и трепетѣ быша за оскудѣние людей» [42:11,72]. Оба фрагмента знаменательны в том отношении, что явно передают представления редактора XVI в. В первом случае большее, чем раньше, значение придано фигурам митрополита и великой княгини, во втором – автор стремится убедительно объяснить причину того, что великий князь оставил беззащитным свой город.

В большинстве списков Никоновской летописи полностью снята значительная часть текста ярко выраженного риторического характера, повествующая о разорении Москвы. В заключительной части повести редактор соединил вариант летописей XV в. с вариантом Тверского сборника. До рассказа о столкновении татарских войск с серпуховскими воинами он поместил сообщение о чудесном спасении Твери и посольстве Гурленя, а затем рассказал о судьбе окрестных русских городов, уходе Тохтамыша и возвращении в Москву Дмитрия.

Таким образом, редакция, зафиксированная большинством списков Никоновской летописи, отличается стремлением к детальной и точной передаче фактов, их мотивировке. В то же время желание идеализировать представителей рода московских князей приводит к изытанию пространных картин разорения города, которое могло быть поставлено в упрек Дмитрию, не сумевшему защитить свою землю.

1.8. Повесть о походе новгородцев против московского князя

В 1397 г. московский князь Василий Дмитриевич потребовал от новгородцев, чтобы они разорвали мирный договор с немцами, которые сожгли семь сел во владениях великого князя. Новгородцы отказались, и тогда князь склонил к союзу двинян и захватил часть новгородских земель. В 1398 г. новгородцы отвоевали их и заключили мирный договор с Василием. Эти события отразились в большинстве летописных сводов, но по-разному. Особенно сильно варьируется текст повести о самом походе новгородцев.

СІЛ и НІVЛ, сохранившие версию общерусского митрополичьего свода первой половины XV в. [80,58], содержат кратко изложенные факты. Автор повествует только об основных событиях похода: называет новгородских воевод и количество войск, сообщает о взятых новгородцами городах и сумме выкупа, судьбе двинских воевод и заключении мира с великим князем. В тексте отсутствуют прямая речь, авторские оценки событий. Из воинской фразеологии встречается оборот «взяша на щит» [50,514] по отношению к кубенским и галицким областям, а о том, что в тексте использован новгородский источник, говорит только упоминание «наши», когда речь идет о взятии новгородцами Орлеца. Эта редакция повести носит объективный фактографический характер и лишена эмоциональности. Именно она с небольшими разнотечениями сохраняется в большинстве более поздних сводов, и это не случайно: в основном летописи XV – XVI вв. носили общерусский характер и в рассказах о междоусобных войнах стремились сохранить нейтральный тон.

Иную редакцию обнаруживаем в составе младшего извода НІЛ, протограф которого был составлен в 30-е гг. XV в. [81,246]. Эта летопись местная новгородская. Начинается повествование с просьбы новгородцев к архиепископу Иоанну о благословении и о сборах в поход. По пути к Орлецу воеводы получили известие о взятии боярами великого князя новгородской волости по Веле и ее разделе между двинскими воеводами. Новгородцы сожгли старый Белозерск, повоевали и пожгли волости великого князя, осадили Орлец, который сдался. Затем воинский сюжет прерывается сообщением о построении церквей в Новгороде, а после него следует окончание: новгородские послы заключили мир с великим князем «по старине», все воины вернулись «добры и здравы» [16,393], предатели-воеводы были наказаны.

Повествование детализировано, летописец привел речи персонажей, которые становятся основным средством развития действия в первой части, мотивируя причины похода и передавая ход событий. В первой реплике новгородцы объясняют архиепископу, что не могут стерпеть захвата новгородских земель великим князем и собираются вернуть их: «хотѣмъ **поискати** святѣи Софѣи пригородовъ и волости»,

своеи отчины и дѣдины» [16,391]. Во второй речи воинство во главе с боярами просит благословения, снова выражая намерение **«поискати** святѣи Софѣи пригородовъ и волостию» [16,391], и вернуть их или **«свои головы положить»**. Третья реплика принадлежит самому городу: «...Новгород отпусти свою братью, рекъ имъ тако: поидите, святѣи Софии **пригородовъ и волостию поищите**, а своеи отцынѣ» [16,391]. Синекдоха, использованная автором, подчеркивает мысль о том, что все жители города были единоклюбны в желании вернуть земли, захваченные великим князем.

Две речи персонажей, представляющие собой диалог, приведены в рассказе о пути войска к Орлецу. «Владычень волостель Исаи» сообщает о приходе на Вель московских воевод, захвативших волость и взявших выкуп с жителей. Узнав об этом, новгородские воеводы решают стоять насмерть и произносят слова, которые напоминают речи князей к воинам перед битвой, появлявшиеся в летописных текстах: **«Лучши, братие, намъ изомрети за святую Софѣю, нежели въ обидѣ быти** отъ своего князя великаго» [16,392]. Эта реплика не только подготавливает дальнейший ход событий, но и выражает чувства и намерения героев.

В приведенных речах использованы воинские фразеологизмы и обороты, зафиксированные «Словом о полку Игореве»: об Игоре и его союзниках говорится, что они отправились **«поискати града Тмудороканя»** [49,7], сам князь обращается к воинам: «...хощу **главу свою приложити**» [49,4], **«лучежъ бы потяту быти, неже полонену быти»** [49,3]. Находит аналогию в «Слове» и образ «говорящего города»: после поражения Игоря «А вьстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастми» [49,6], в связи с его возвращением на Русь «Страны ради, гради весели» [49,11]. Концентрация в повести сходных со «Словом» оборотов может свидетельствовать о знакомстве книжника, писавшего ее, с текстом поэтического памятника, что представляется возможным, поскольку следы его обнаруживаются и в других новгородских летописных текстах XV в. Использование элементов поэтической традиции в летописной повести придает ей эмоциональность и способствует характеристике новгородского воинства.

В описании похода летописец использует традиционные стилистические формулы: «взяша на щить» [16,392], «бещисла» [16, 392 – трижды], «приихаша... добры и здравы» [16,393], которые характеризуют итог военных действий. Привлекает внимание стремление книжника подчеркнуть удачу новгородцев значительным выкупом, который они получили с Орлеца: «а у гостии князя великаго взяша с головъ окупа 300 рублевъ, а у двинянъ... взяша 2000 рублевъ, а 3000 коневъ: бѣше всѣхъ новгородцовъ 3000 или мене» [16,393]. В этом фрагменте ярко проявляется новгородская традиция: такие детали приводились в ту эпоху только летописцами этого княжества.

Рассказчик не преминул воспользоваться и еще одной возможностью подчеркнуть успех новгородцев: назвав полученный выкуп, он тут же напомнил, что взятие городка Орлеца не повлекло за собой значительных потерь со стороны осаждавших: «Оле Божие милосердие, селко прошед Руской земли и у сель тольста городка не бысть пакости в людех, токмо с городка одного челоуѣка убиша дичького Левушку Федорова посадника» [16, 393]. Прием акцентирования малых потерь новгородцев при сражении с сильными врагами также часто встречался в летописях этого княжества. В этом фрагменте ярко сказалось и отношение автора к событиям: он радуется успехам новгородцев, считая, что им оказано Божье покровительство.

Таким образом, фактическая сторона повести, по сравнению с упомянутой ранее редакцией, обогащена деталями, а эмоциональность текста ощутима благодаря использованию литературной традиции в речах персонажей, применению воинских формул, отчетливому выражению позиции новгородского летописца.

Поздней летописью, наиболее полно отразившей эту редакцию, оказалась Никоновская. В ней сохранен новгородский текст с некоторыми изменениями. Последовательно редактор убрал чересчур яркие новгородские черты: именование Новгорода его жителями «своим господином», упоминание о том, что новгородские воеводы приняли челолюбить у двинян «по новгородчкому слову»; уточнение того, что новгородцы пошли сначала «на князя великаго волости на Бѣлоозеро»,

реплику летописца, восхваляющего Бога за его милосердие, оказанное новгородцам.

В повести встречаются и мелкие дополнения, отвечающие общей тенденции, которая проявляется в Никоновской летописи, к распространению и конкретизации более ранних текстов. В частности, упомянутый образ «говорящего города» практически разрушен редактором именно благодаря конкретизации: «а Новгородъ Великий *весь собрався отъ мала и до велика, отъ убогихъ и нищихъ и рѣша...*» [42:11, 170]. Точно так же усилено формульное описание разграбления завоеванных белозерских земель. В НЛ летописец замечает: «а полона поимаша беици и животовъ поимаша беици» [16,392]; в Никоновской летописи читаем: «а полона поимаша безъ числа много, и имѣниа и богатства многое множество» [42:11, 170]. В НЛ говорилось, что двиняне «начаша бить челомъ съ плачемъ» [16,392], а в Никоновской добавлено «и со слезами» [42:11,170], возникающая тавтология подчеркивает чувства персонажей.

Существенно различаются только концовки двух текстов. В НЛ повесть заканчивается сообщением о возвращении войска в Новгород и судьбе предателей. В Никоновской летописи повествование завершается подробным рассказом о судьбе Анфала, брата двинского воеводы Ивана Никитича, брошенного в Волхов с моста по возвращении войска из похода. В НЛ сказано только, что Анфал бежал по пути в Новгород. Никоновская летопись подробно рассказывает о его бегстве в Устюг, сражении новгородцев против устюжан и Анфала, победе новгородских войск. Эти сведения приблизительно в том же виде, что в Никоновской, сохранились в СЛ и НВЛ, что говорит об их изначальной принадлежности общерусскому митрополичьему своду. Однако в более ранних сводах рассказ об Анфале отделен от основного повествования другими сообщениями, редактор же Никоновской летописи, видимо, рассматривал его как своеобразный эпилог сюжета о походе новгородцев и поэтому присоединил к предыдущей части повести.

Таким образом, используя как основу повествование НЛ, летописец дополнил его сведениями из другого источника, создав целостное повествование.

Встает вопрос о том, почему редактор общерусского московского Никоновского свода обратился к новгородской повести о походе, направленном против власти московского князя. Причиной, очевидно, было свойственное этому своду в целом стремление дать полное представление обо всех событиях, рассказать о них во всех подробностях. Такую возможность давал только новгородский вариант повести. Эмоциональность этого текста также отвечала общему стилю Никоновской летописи, а сугубо новгородская позиция источника была ослаблена московским редактором.

Еще одна редакция повести отражена общерусской Устюжской летописью начала XVI века. Общая схема повествования остается той же, но акцент сделан на событиях, связанных со взятием новгородцами Устюга. Если в других редакциях только упоминалось, что, взяв Устюг, войско стояло 4 недели, то в Устюжской летописи уточнено, что новгородцы пришли на Устюг в соймах (небольших судах с одним парусом), взяли и пожгли окрестности Устюга, «а города Гледена не могоша взяти, и стояли под городом три недели» [82,38]. Кроме, того, сообщается, что новгородцы просили у устюжан копейщины с города и с церкви (копейщина – подать при сдаче города), но устюжане отказали, и тогда победители, разгневавшись, разграбили церковь Святой Богородицы, взяв из нее иконы, и погрузили их в лодку. Но лодка не отошла от берега. Тогда один старый «ляпун» (так называли плохого живописца или мастера вообще) вошел в лодку, связал чудотворную икону Одигитрии полотенцем и сказал: «Николи полоненик не связан в чюжую землю не идет» [82,38]. Новгородцы зажгли соборную церковь и отправились к Орлецу. Дальше кратко говорится об осаде Орлеца и судьбе двинских воевод.

История плененной Одигитрии продолжается во время возвращения войска в Новгород. Гнев божий привел к несчастьям новгородцев: «и бысть на них на пути коркота, и поча их корчити руки и ноги, и хрепты ломити, и мало здоровых приидоша в Новгород, и тамо на них слепота бысть» [82,38]. Ничего подобного в других редакциях не обнаруживается, напротив, они сообщают, что новгородцы благополучно вернулись домой. В НПЛ: «приидоша... вси вои добры и здравы»

[16,393], в Никоновской: «И тако поидоша воеводы Новгородцкиа въ Новѣгородъ со всѣмъ воинствомъ, обогатѣвши» [42:11, 171]. Ясно, что Устюжская летопись передает местную легенду с чудесной концовкой. Владыка Иоанн Новгородский упрекал воинов за сожжение и разграбление храма, которое вызвало гнев Господень на город, и они просили его молиться, чтобы Бог отвратил от них гнев. Тогда владыка приказал им дать обет, что они поставят соборную церковь в Устюге и отвезут чудотворные иконы и пленных назад. Новгородцы обещали выполнить обет, поставили захваченные иконы в соборе Св.Софии, отслужили молебны, «и бысть им милость от Бога» [82,38].

Выполнение обета новгородцами описано уже в статье следующего 1399 г. Новгородский владыка послал в Устюг церковных мастеров и с ними купцов. Иоанн и новгородцы проводили иконы до Ладоги, а многие купцы до Устюга. «И поставиша церковь древяну, велику, единого лета, соборную Успения пресвятыя Богородицы» [82,38]. В рассказе о плененной иконе множество разговорных оборотов и слов, обозначающих предметы обихода, которые не встречались в воинских повестях. Разговорная стихия как господствующая свидетельствует об устном происхождении сюжета.

Легенда занимает примерно половину объема всей повести, и этим подчеркивается важность именно событий, связанных с Устюгом. Они отодвигают на второй план противоречия новгородцев и Василия Московского, что сказывается на сокращении сведений обо всех других этапах похода, уменьшении количества речей персонажей: сохраняются только первая реплика новгородцев к архиепископу и слова владычного управителя. Вместе с исчезнувшими речами исчезают и традиционные фразеологические обороты. Не используются и воинские формулы, содержавшиеся в других редакциях текста.

Таким образом, местный взгляд на события приводит к изменению смыслового и стилистического облика произведения: хотя фактическая основа в целом сохранена, подлинное значение конфликта заслоняется легендарным сюжетом, основанным на чуде, а традиционное повествование, оформленное устойчивой стилистикой воинской повести, заменяется рассказом, близким к устной народной речи.

Многообразие редакций повести свидетельствует о том, что одни и те же факты в летописях отражались по-разному в зависимости от позиции автора, принадлежности его к тому или иному княжеству, идейного и стилистического облика летописного свода в целом. Уже существующий рассказ мог быть источником, образцом, но не имел статуса непреложной истины. Исторические факты в редакциях могли оформляться с помощью традиционных средств, а могли приобретать индивидуальное освещение, особенно в том случае, когда основывались на легендарном материале.

1.9. Повесть о нашествии Едигея

«Повесть о нашествии Едигея» сохранилась в большинстве русских летописей XV и XVI веков. История этой повести в сводах XV в. была рассмотрена в работе Я.С.Лурье [83,285-298]. Во всех летописях рассказывается о политике Едигея, стремившегося ослабить Московское государство, ссоря его с литовцами, приходе татар на Русь, разорении городов и чудесном спасении Москвы. Наиболее значительны различающиеся и по составу, и по стилю редакции произведения в Рогожском летописце, Московском своде конца XV века и Никоновской летописи.

В Рогожском летописце [39,178-185] текст начинается пространным риторическим рассуждением автора о коварстве ордынских ханов. Летописец утверждал, что они обманывают русских князей мнимым дружелюбием и сеют рознь между ними, а затем пользуются их разобщенностью:

«...лестно и злоковарно честыми **окладають**
князий нашихъ и дары **украшаютъ**,
и темь злохитръство свое **питають**
и мирь глубоко **обещевають**
имети со князми нашими, и таковыми проныръствы
ближняя отъ любви **разлучають**
и усобную рать межи насъ **составляють**,
и въ тои разности нашей сами въ тайне **покрадають...**» [39,178].

В этом рассуждении легко заметить сложные двухкорневые слова с первой частью зло-, синонимы (лестно и злоковарно), глагольные формы с одинаковыми окончаниями, создающие морфологическую рифму – приемы, свойственные эмоционально-экспрессивному стилю.

От этого рассуждения летописец переходит к рассказу о добродетельном правлении московского князя Василия Дмитриевича, при этом он вновь использует сложные слова, но уже с первым корнем благо- : русские люди «благоденствовахуть» в его правление, Русь «благощѣтяше», в московской земле наступило «благоврѣменьство» [39,178], чего не могли стерпеть враги. Явно выраженная антитеза: зло врагов и добро русской земли – определяет авторскую позицию в дальнейшем повествовании. Она проявляется в дальнейшей характеристике Едигея, внешне выказывающего «злоковарную, злохитреную» [39,178] любовь к Василию, «злохитро» устанавливающего мир с ним. Хан обманул Василия, и тот рассказал ему о распрях со своим тестем литовским князем Витовтом. Обрадованный Едигей, именуемый летописцем в этом случае «враждолюбительным» и «кровожелательным зверем» [39,179], постарался еще больше рассорить двух правителей, заверяя каждого в своей поддержке. При этом автор не только рассказывает о поступках Едигея, но и передает его замысел: он надеялся, что если даже между князьями не произойдет кровопролитной битвы, то все равно им придется собирать войска, держать их в готовности, и это ослабит их, они «всяко трудни будутъ». Замысел Едигея удался: Василий и Витовт начали военные действия, продолжавшиеся в течение трех лет. Состоялась битва на Плаве, для которой Едигей прислал войско в помощь московскому князю.

Затем вновь появляется отступление. Автор замечает, что старцы не одобрили приглашения «юными боярами» татар на помощь, ссылаясь на опыт домонгольской Руси. Тогда князья приглашали половцев в помощь себе, а те, рассмотрев устройство войска и укрепления, затем использовали эти знания для захвата русских земель. Старцы предполагали, что так же может случиться и с татарской помощью. Здесь

летописец добавил: «якоже и събытсѣя», предвосхищая ход событий. Едигей стал готовить поход на Русь, думая, что князья, уставшие от долгих военных действий, вскоре могут примириться, и получив сведения о русских укреплениях от татар, которых посылал на помощь московскому войску.

Далее в повествовании появляется новый персонаж, пришедший на помощь Василию князь Свидригайло Ольгердович, «ляхъ вѣроу», но храбрый воин. Василий дал ему в княжение города, в том числе древний Владимир с его святыней – Успенским собором. Старцы не одобрили и этого решения князя, напоминая о том, что никогда такого не бывало на Руси. Сам летописец заметил: «И таковаго града не помиловавше Москвичи, вдаша въ одръжание Ляхови» [39,181]. Эта критическая реплика в адрес московских властей подтверждает мысль о том, что в Рогожском летописце отразилась обработка общерусского свода редактором-немосквичом.

Василий и Витовт после трех лет военных действий заключили мир. Едигей, узнав об этом и считая, что воины не успели отдохнуть, воспользовался удобным моментом и послал гонца к Василию, требуя прислать к нему сына, брата или вельможу, ничего не опасаясь, а сам отправился к Москве. Когда вельможа Юрий с небольшим войском пришел к царю, тот захватил его и пошел еще быстрее. Василий ждал вестей от Юрия, поэтому не успел собрать войско, а узнав о приближении врага, сам с княгиней и детьми уехал в Кострому. Началось бегство людей из Москвы, грабежи, пожары в посадах. Летописец с горечью рассказал о гибели храмов.

Враги захватили множество русских городов и двадцать дней стояли, осаждая Москву, всю округу пленили и «пусту сотворили», говоря, что готовы даже зимовать здесь.

Чудесное спасение Москвы летописец объясняет небесной помощью в ответ на всенародную молитву к Богу и Богоматери. В то же время непосредственной причиной ухода врагов от Москвы летописец считает размышления Едигея: раньше он собирался зимовать на Руси, а теперь начал беспокоиться, не захватит ли без него кто-нибудь власть в Орде, или не соберет ли Василий большое войско против него. Эти

мысли заставляют царя самого просить мира, и его заключают на условиях, предложенных горожанами.

В конце летописец помещает рассуждение, в котором оценивает весь ход событий: Бог попустил приход иноземцев, наказывая русских людей, но не дал врагам овладеть всей землей. Повесть завершается размышлениями автора о том, что кому-то может показаться его рассказ неудачным, но он следовал принципу древних летописцев, начиная с Сильвестра Выдубичского, «не украшаа пишушаго». Мысль, которую отстаивает автор, – юные должны почитать старцев, не принимать решений без совета с ними, «ибо красота граду есть старчество, понеже и Богомъ почтено есть старчество». Так вина за происшедшее возлагается на неопытных советников московского князя, что соответствует позиции летописца, недоброжелательного по отношению к Василию, а главное, к его окружению.

Характерными особенностями повести являются чередование повествовательных фрагментов и авторских отступлений и использование на всем ее протяжении элементов эмоционально-экспрессивного стиля.

В характеристике героев заметную роль играют сложные двухкорневые слова – существительные, прилагательные, наречия, глаголы. Для изображения врагов использованы эпитеты: злоковарно, злохитрство, самояднии, злохитрено, злоковарную, злохитрну, злохитро, враждолюбительный, кровожелательный, ратолубецъ, зломысленни; для изображения русских людей и городов – боголюбивому и православному, благоденьствовахуть, благоцветяше, христоименитых, благовременства, миролюбци, многославнии, первоседание, златоверха, велечюдней, многолетними.

Еще один прием эмоционально-экспрессивного стиля, широко примененный в повести, – использование парных сочетаний слов, синонимического характера или дополняющих друг друга по смыслу: лестно и злоковарно, боголюбивому и православному, пагубе и крови, похвала и слава, источник и корень, разумети и памятовати, грабяче и губяче, величаваго и гордаго, высокия и страшныя. Изредка встречаются тавтологические сочетания: крепкаго крепость; умиришася, взяша миръ, устраши, наложи страхъ.

Значительную роль в создании эмоциональности повествования играет использование параллельных и сходных синтаксических конструкций, на основании которых возникают созвучия глагольных форм:

Едигей «ядь же аспиденъ подь устнами **ношаше**,
ненавидя **любяше**,
на любимого егоже **именоваше**
сына собе Василиа, время похищъ,
вместо добрыхъ съ губителствомъ неусыпно **грядяше...**»;
«Послу же Едегееву на Москву **пришедшу**
таковаа **изрекшу...**» [39,182];
«Городецъ и волости многы **поимаша**,
и множество людии **изгыбоша**,
а инии отъ зимы **изомроша**» [39,183];
«... и множество людии **посекоша**,
а иныхъ въ пленъ **поведоша**» [39,185].

Все эти фрагменты связаны с характеристикой действий хитрого и дальновидного врага и их влиянием на судьбы русских людей. В последних двух случаях автором использована обычная синтаксическая конструкция судьбы побежденных, в которую встроены созвучные глагольные формы.

Характерной чертой эмоционально-экспрессивного стиля, проявившейся в повести о Едигее, можно считать широкое использование библейских текстов, появление которых обосновано авторской установкой, декларированной в первой фразе текста: «Въ лѣто 6917 прилучися таково зло **грехъ ради нашихъ** въ Руси» [39,178]. Мысль о приходе врагов как наказании за грехи и о возможности прощения смиренных проходит через всю повесть и влияет на выбор цитат. Первые две цитаты появляются в пространном авторском рассуждении, начинающем произведение, и прямо выражают эту идею: «...верху власъ прегрѣшении нашихъ обретаемься, того ради Господу Богу наказующу насъ и посещающу жезломъ беззакония наша по пророку» [39,178]. Первая часть фразы – неточная, без указания на источник цитата из Псалтири 37:5, вторая, со ссылкой на пророка и более точная, из того же источника 88:33.

Вторая группа цитат помещена в рассказе о Свидригайле Ольгердовиче. Решение Василия дать ему в княжение Владимир вызывает несогласие летописца, утверждающего, что такой священный город нельзя было отдавать «ляху». Поэтому, забегаая вперед, автор говорит о последствиях недалёковидности князя, цитируя ряд фрагментов Писания: «...темже и беды многы постигоша насъ (ср.: Втор. 31:17, 31:21), храбрии паче женъ явишася (ср.: Исход 19:16) и страшливее дътищъ обретешася, отъя бо ся крепкаго крепость, по пророку, и стрелы младенецъ язвы быша имъ (Пс. 63:8) и лысты мужественныя (Пс. 146:10) на бѣгъ токмо силу показаша» [39,181]. Последнее выражение, использованное в ироническом смысле, автор, изменив порядок слов, повторил позже, рассказывая о том, что войска Свидригайлы никакой помощи русским не оказали. Повтор цитаты не случаен: в Псалтири она включена в текст, подчеркивающий, что Бог покровительствует не сильным, а уповающим на милость его. Это размышление во втором случае дополнено еще одной неточной цитатой из того же источника, со ссылкой: «Сломи бо ся оружие ихъ и щить гордыхъ огнемъ сожъжеся, по пророку» [39,184] (ср.: Пс.45:10). Таким образом, цитаты отчетливо выражают мысль о том, что призвание «иноверцев» московским князем на помощь было бесполезным.

Цитата из Псалтири характеризует Едигея: «ядъ же аспидень подь устнами скрываа ношаше» [39,182] (ср.: Пс. 139:3). В источнике эта метафора отнесена к людям лукавым, неправедным, замышляющим ложь в сердце своем, что вполне соответствует образу татарского хана в летописной повести.

Летописец объясняет спасение Москвы благочестием москвичей. Узнав об отъезде из города князя с семьей, жители «смотряще яко никто же помагая имъ и человечьское спасение не обретеся имъ, и памятующе Давида, еже пиша, рече: добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя, добро есть надеятися на Бога, нежели надеятися на человека» [39,184] (ср.: Пс.117: 9,8). Автор поменял местами стихи Псалтири, потому что москвичи, конечно, в первую очередь могли надеяться на защиту князя.

Последняя цитата без указания источника содержится в авторском рассуждении в конце повести о том, что, хотя Бог допустил приход врагов на Русь за грехи, но «милости же своя не отведе до конца, аще и озоба нась вепрь отъ луга, и инокъ диви пояде нась (ср.: Пс. 79:14), но корени благочестия не исторже» [39,185]. Таким образом, на протяжении всего произведения цитатами автор подтверждает мысль о воплощении в исторических событиях Божественного замысла.

Сам способ использования группы цитат в связи с одним объектом напоминает манеру Епифания Премудрого, а преобладание текстов из Псалтири приводит на память его «Житие Стефана Пермского», около половины из трехсот пятидесяти цитат которого приходится на долю этого памятника [84, 88].

Нужно отметить также, что в тексте повести присутствуют триады однородных членов, характерные для стиля известного агиографа. Помимо примеров, приведенных в связи с явлением синтаксического параллелизма, отметим еще некоторые: «многожды покушася *прийти* и *разорити* таковыя красоты величество и славу *отъторгнути* христоименитыхъ людии», «тогда многихъ злыхъ обычаи греховныхъ оставляти *обещеваемся*, и паки забытне отъ правды *зablужаемъ*, верху власть прегрѣшени нашихъ *обрѣтаемся*» [39,178]; «иже все царство единъ *держаше*, и по своей воле царя *поставляше*, егоже *хотяше*», «да поне *сбираючеся и воюючеся и разнорасходячеся* всяко трудни будутъ» [39,179]; «ты же *воздажъ* честь цареви, еще не самъ да сынъ твои *посли* ко цареви или брата, аще ли то единаго отъ велможъ *посли*, ничтоже бояся» [39,182]; «Въ тыи часъ видети година бе страшна, *человекомъ* мятущимся и вопиющимъ и великия *пламы* гремяща на воздухъ въсхожаху и *градъ* обстоимъ плѣкы безбожныхъ иноплеменикъ» [39,183]. Ряд этот может быть продолжен.

Повесть о Едигее информативного типа, помещенная в Московском летописном своде, отличается от текста в Рогожской летописи. Она рассказывает об основных событиях, не характеризуя подробно героев, тем не менее в ней проявляется особенность, как правило, не свойственная произведениям этого типа – мотивированность повествования, проявляющаяся в отдельных эпизодах.

Первый – рассказ о посольстве Едигея к тверскому князю Ивану с требованием выступить на помощь к Москве. Поведение князя мотивируется нежеланием нарушить крестное целование Василию Дмитриевичу. Он пошел с небольшой дружиной, дошел до Клина и вернулся обратно в Тверь. Рассказав об этом, летописец объясняет и оценивает его поступок: «сие же сотвори, да бы ни Едигея **разгневити**, ниже великому князю **погрубити** и *обоим обою* избежа, премудра бо сия створи» [47,324]. Два глагола в синтаксически параллельных конструкциях, создающие морфологическую рифму, и использование тавтологического сочетания эмоционально подчеркивают мысль о разумных действиях князя.

Второй мотивированный эпизод связан с уходом Едигея от Москвы. Он объясняется событиями в самой Орде, где некий царевич, решив воспользоваться уходом большей части войска, хотел захватить власть. События описываются в деталях: проводник привел царевича не к царю, «но на торгъ, еще же и мьгла велика бысть в день тои», царевич убил проводника и вызвал смятение в Орде, вследствие чего царь Булат пришел в ужас и потребовал немедленного возвращения Едигея для защиты своей власти. Этого, казалось бы, было достаточно, чтобы объяснить снятие осады. Но летописец приводит еще и мысли Едигея, который хочет уйти со славою: «и искаше подобна времени како бы отступити отъ Москвы, не яко не одолевъ, но всячески победивъ, и нача просити окупа з города» [47,326].

Отличительной особенностью повести является также изображение чувств больших групп людей, особенно осажденных в Москве жителей и пленных в разоренных русских землях. О первых летописец говорит, что они «...*постъ и молитву* створиша, *мольбы же и моленья* приносящи съ *слезами и въздыханиемъ*» [47,324]; «**Всеблагыи же и милостивъ и человеколюбець** Богъ услыша скорбь людей своих и *молитвъ и моления и въздыхания* их не презри...» [47,325]. Парные и тройные сочетания синонимического и взаимодополняющего характера, встречавшиеся в повестях по Рогожской летописи, появляются и в рассматриваемом тексте, хотя и в меньшем количестве. Положение жителей в плененных землях также описывается с помощью приемов

эмоционально-экспрессивного стиля: «Отци и матери плакаху, зряще чад своих **разбиваемых и умерьщвляемых**... и не бысть *помилующаго, ниже избавляющаго, ни помогающаго*», по всей Руси «туга велика и плачь неутешим и рыданье и кричанье ...» [47,326], «все бо **подвизашася** и все **смутишася**, многы бо *напасти и убыткы* всем человекомъ здешася **и болшим и меншим и ближним и далним**... все в *тузе и скорби* мнозе и *печалью* одержими» [47,326].

Элементы этого стиля, хотя и менее концентрированные, встречаются в повествовании о ходе событий. Настойчиво используются производные числа три, что характерно для текстов Епифания Премудрого [85,174–221]: 30 тысяч было послано в погоню за великим князем, 3 тысячи рублей откупа потребовал Едигей с Москвы, 3 недели он стоял у города. Заметим, что эти числа не упомянуты в повести по Рогожскому летописцу.

В то же время в произведении отсутствуют цитаты. В конце повести летописец помещает отступление, в котором сообщает о чудесах от икон, по которым «неци отъ книжникъ» предсказали еще до начала нашествия грядущую беду Руси. Перенесение в конец символических эпизодов, которые должны быть помещены в начале произведения, позволило автору использовать событие в назидательных целях: летописец пояснил, что, если люди не покаются в грехах после появления чудес предсказания, то Бог казнит их за прегрешения. Таким наказанием было, по мнению автора, нашествие Едигея.

Таким образом, в произведении сочетается стремление к логическому и рациональному построению повествования с использованием эмоционально-экспрессивного стиля в его умеренном варианте, не повторяющем более раннюю редакцию.

В Никоновском своде повесть о приходе Едигея помещена под 1409 г. и представляет собой соединение двух ранних вариантов: помещенного в Рогожской и Симеоновской летописях и более краткого, содержащегося в Московском летописном своде и Воскресенской летописи. Редактор придал тексту открыто дидактический характер.

Начинается произведение так же, как в других летописях, сообщением о приходе Едигея на Русь и перечислением его сил. Но затем автор

делает отступление в прошлое. Более половины всего произведения занимает повествование о попытках Едигея поссорить московского князя Василия Дмитриевича с его тестем литовским князем Витовтом. Он даже обещал Василию свои войска для похода против Литвы, чтобы добиться ослабления обоих противников. Политика Едигея подробно мотивируется автором повести, который говорит о дьявольском умысле хана, нарочно раздувавшего междоусобные рати, чтобы не дать возникнуть сильному государству. В то же время летописец в дидактическом отступлении напоминает читателям, что нападение врагов допускается Богом за грехи людей: «мы тогда в забытье приходимъ, отъ правды заблуждаемъ, и другъ друга ненавидимъ, и братья брата ратуемъ, и чюжаа возхищаемъ и лукавьствуемъ» [42:11, 206]. В этой части повести редактор использовал текст, сходный с Рогожской летописью, пересказывая его. Из приведенного фрагмента им снята редкая библейская метафора «верху власть прегрѣшени нашихъ обрѣтаемъся», которая заменена рядом предложений, конкретизирующих образ, содержащийся в опущенной цитате.

Рассуждения о замыслах врага и Божьем наказании подтверждаются рассказом о посольствах Едигея к Василию и Витовту с увещеваниями биться друг против друга, в котором значительную роль играет прямая речь героев. Расширение речи Едигея к Василию направлено на то, чтобы подчеркнуть желание татарского хана убедить московского князя в значительности своей помощи. Посольская речь Едигея к Витовту в ранней редакции отсутствовала полностью, о ней лишь упоминалось. В редакции Никоновской летописи герой пространно убеждает литовского князя в злых намерениях Василия и своей любви и помощи. Вместо размышлений Едигея о том, что ссора двух князей в любом случае будет полезна для него, приведенных в редакции XV в. в форме косвенной речи, в Никоновском своде вновь появляется прямая речь, введенная словами «помысливъ въ себе», и содержащая те же идеи, но выраженные иначе. Таким образом, прямая речь героев играет существенную роль в развитии сюжета.

Повесть подробно рассказывает об отношении воевод и московских жителей к союзу Василия с татарами. Бояре и князья радовались

ему, считая, что он увеличивает силу Василия, их чувства выражены через прямую речь. Только «старцы старые» осуждали московского князя, вспоминая в своей речи об опыте южной Руси, когда-то пользовавшейся помощью половцев и страдавшей от этих союзников. Их речь развивает мысль значительно подробнее, чем это было в ранней редакции.

Наряду с недалёковидностью московского князя автор видит и ещё одну причину нашествия Едигея – грех Василия, давшего русские города, в том числе Владимир с его святыней Успенским собором, во владение «ляху» Свидригайло, предложившему ему помощь против Витовта. Говоря о Божьем наказании, летописец, как и его предшественники, нарушает хронологию, сообщая, что позже, во время нашествия Едигея, сам Свидригайло и его воины бежали с поля боя. Затем он вновь возвращается к событиям до нашествия, упоминая, что на третий год распри московский и литовский князья заключили мир. С этого момента завязывается основной сюжет сообщением о том, что татары видели войска «трудни и истомлени», рассмотрели их вооружение и обо всем рассказали Едигею. В повествовании о дальнейших событиях вновь акцентируется хитрость татарского военачальника с помощью распространения его посольской речи к Василию, в которой он сообщает московскому князю о своем походе на Витовта. Так мотивируется решение не успевшего собрать войско Василия уехать из Москвы, оставив там братьев. Сокращено описание смятения в городе, разорение окрестностей нарисовано обобщенной картиной: «... аще гдѣ явится **единъ татаринъ**, и **наши многи** не смѣху противитися ему; аще ли где **два или трие татарины** явятся, то **многое множество христианъ** на бѣгъ устремятся, жены и дѣти оставляюще...» [42:11, 208]. В этом описании переосмыслена восходящая к Библии формула, в соответствии с которой один русский воин гонит сто врагов, а два – тысячу. Летописец приспособил ее к конкретным событиям и усилил во второй половине тавтологией.

Редактор расширил список взятых татарами городов, упомянул о бездействии Свидригайло, сняв при этом элементы иронии по отношению к «ляхам». Перенесено раньше по времени упоминание

о спасении Москвы молитвами Богородицы и чудотворца Петра. Затем появляется сообщение о решении хана захватить Москву, для чего Едигей потребовал помощи от тверского князя, хитростью разрушившего замысел врага. Упомянутого нарушения хронологии не было в повести по Рогожскому своду. Вероятно, оно возникло при соединении двух версий рассказа.

Завершает повесть обширное отступление, в котором автор размышляет о чудесном спасении Москвы и наставляет читателей творить добро и соблюдать Божьи заповеди. По мысли оно сходно с последним фрагментом повести по Рогожскому своду, но расширено за счет рассуждения, использующего риторические вопросы, повторы, обращение к читателям. Из ранней редакции сохранен лишь один образ, восходящий к Псалтири 79:14: «аще и озоба нась вепрь от луга и инокъ дивий пояде нась, но корень благочестия не исторже».

Самой примечательной особенностью повести является свобода компоновки разновременных событий. В отличие от большинства воинских повестей, летописец не подчиняет рассказ хронологии, а неоднократно нарушает ее в угоду логике своего рассуждения. Исторические события в его изложении оказываются подтверждением размышлений о наказании за грехи и необходимости добродетели, поэтому в произведении появляются значительные элементы жанра поучения. В связи с этим на второй план, как и в повести по Рогожскому своду, уходит изображение московского князя, а главным оказывается образ коварного, хитрого и дальновидного врага, охарактеризованного не только через действия, как в Московском своде, но также через побуждения и мысли, вызывающие соответствующие поступки. Усеченный характер описания военных действий связан не только с отсутствием значительной битвы или длительной осады города, но и с задачей автора подчеркнуть нравственное значение происходящих событий. Однако достигается эта цель иными, нежели в редакции Рогожской летописи, средствами: не последовательно выдержанным цитированием текстов Священного писания и нагнетанием средств эмоционально-экспрессивного стиля, а более детальной разработкой образов героев, в том числе с помощью их речей, и мотивировкой всех происходящих

событий, которая носит по преимуществу двоякий характер: не только религиозно-символический, но и прагматический.

Рассмотренные редакции повести о нашествии Едигея свидетельствуют об изменении системы летописного повествования, развивающегося по линии углубления трактовки событий, установления их взаимосвязей и усиления внимания к личностям исторических лиц, определяющих ход этих событий. С изменением повествовательной системы связаны и постоянные перемены в стилистической системе повести.

1.10. Летописная повесть о Мустафе-царевиче

Один из многочисленных рассказов о набегах татар на Русь содержит краткая повесть о приходе в 1444 г. на Рязань войска царевича Мустафы. Первоначальный вид повести, видимо, содержится в Московском летописном своде 1479 г. и Симеоновской летописи, затем он был перенесен в Воскресенскую летопись. Текст озаглавлен «О Мустофѣ, иже убитъ на Рязанской земли»: «В лѣто 6951. Мустофа побить на Рязани. Пришедшу же царевичю Мустофѣ на Рязань съ множествомъ Татаръ ратью, и повоева власти Рязанские, много зла учини. Слышавъ же то князь великий Василей Васильевичъ посла противу его князя Василья Оболенскаго и Андрѣя Голтыева, да дворъ свои съ ними. А Мустофа былъ въ городѣ, Рязанци же выслаша его изъ града, онъ же вышелъ изъ града и ста туто же подъ градомъ, а воеводы князя великаго приидоша на него, и бысть имъ бои крѣпокъ, и поможе Богъ христианомъ, царевича Мустофу самого убиша, и князеи съ нимъ многихъ и Татаръ, а князя Ахмута мурзу яли, да Азибердѣя, Мишереванова сына, и иныхъ Татаръ многихъ поймали, а въ великаго князя полку убили Татарове Илию Ивановичя Лыкова» [86, 192]. Летописная запись представляет собой типичную информативную воинскую повесть, не содержащую деталей и мотивировок событий. Например, неясно, как Мустафа оказался в самой Рязани: в тексте говорится только о том, что он повоевал область Рязанскую, но ничего не сказано об осаде или сдаче самого города. В первой фразе сообщается об исходе событий. Об их последовательности рассказано кратко, подробно

перечисляются лишь взятые московскими воеводами в плен враги. В повести использована формула начала битвы в не очень распространенном позднем варианте «бысть... бои крѣпокъ». В целом язык повести носит разговорный характер.

Во многих последующих сводах сообщение об этом событии полностью отсутствует, а летописный свод 1518 г. содержит только краткую погодную запись, представляющую собой первую фразу из рассказа Симеоновской летописи: «В лѣто 51. Моустофа побит на Рязани» [87, 270]. По-видимому, это событие для ближайших потомков было заслонено современными ему, о которых более подробно рассказывает летопись: усобицей Василия Васильевича и Дмитрия Шемяки и приходом татар на Суздаль.

Развитие текста повести происходит в Никоновской летописи, где появляется последовательное мотивированное повествование. Если заголовок и первая фраза сообщения в Симеоновской летописи предупреждали читателя о гибели врага, то в Никоновской летописи помещено название «Повѣсть о Мустофѣ царевичѣ» [42:12,61], которое не дает сведений о развязке событий и придает амбивалентность повествованию. После рассказа о нападении Мустафы на Рязанскую землю летописец не сообщает сразу, как его предшественники, о сборе войск московским князем, а последовательно повествует о том, что татарский царевич встал на поле и предложил рязанцам выкупить пленных, что они и сделали.

Затем рассказано, как вторично царевич пришел к городу с миром, желая зазимовать там: «бѣ бо ему супротивно на Поли, а Поле все въ осень пожаромъ погорѣ, а зима люта и велми зла, и снѣзи велици и вѣтри и вихри силни» [42:12,61]. Впервые детальное описание природных явлений в летописной воинской повести объясняет поведение персонажа. При этом пейзаж носит яркий изобразительный характер: читатель ясно представляет себе сгоревшее осенью поле, покрытое снегом. Впечатление холода и бесприютности, которое стремился передать автор, создается синонимией метафорических эпитетов, определяющих зиму, указанием на обилие снега и близкими по значению словами «ветри и вихри».

В этом фрагменте автор дважды подчеркнул мирные намерения Мустафы – до описания природы и после него: «паки прииде въ Рязань на миру, хотя зимовати въ Резани... И того ради миромъ прииде въ Рязань и хотѣ зимовати въ Рязани нужи ради великиа» [42:12,61]. Этот рассказ, отсутствовавший в ранних вариантах повести, объясняет сообщение Симеоновской летописи о том, что, когда московский князь послал войска против Мустафы, тот уже был в городе. Из дальнейшего повествования Никоновской летописи становится ясно, что рязанцы разрешили ему зимовать в Переяславле.

Рассказывая об отправлении князем Василием Васильевичем войска к Рязани, автор, помимо имен воевод, названных предшествующими летописцами, упоминает войско мордвы «на ртахъ» (то есть на лыжах), и вновь поясняет эту деталь природными явлениями: «понеже зима бѣ люта и снѣжна, а татарове конми обмерли, и отъ **мраза и студени великиа** померзли, и бысть въ нихъ скорбь *многа*; а сѣно велми дорого» [42:12,61–62]. Автор снова использовал эмоционально окрашенные эпитеты и синонимичные существительные, подчеркивающие трудность военных действий для врагов.

Сообщив о том, что рязанцы выслали Мустафу из города, перед началом описания битвы на речке Листани (Листань, теперь Листвянка, впадает в Оку несколько ниже современной Рязани [88,259]) летописец вновь упоминает погоду, объясняя ее влиянием неготовность татар к бою: «Татари же отнюдь охудѣша и померзоша, и безконни быша, и отъ *великаго* **мраза и студени великиа** и **вѣтра и вихра** луки ихъ и стрѣлы ни во что же быша; снѣзи бо бяху *велици зьло*» [42:12, 62]. В этом третьем описании, усиливая впечатление, автор соединил характеризующие непогоду синонимичные существительные, уже появившиеся в первых двух фрагментах.

Померзшим лукам и стрелам татар автор противопоставляет удобное оружие русских воинов, подробно перечисленное им. Мордва и рязанцы выступили на лыжах «съ сулицами и съ рогатинами и съ саблями», а пешая рать «съ ослопы и съ топоры и съ рогатинами» [42:12, 62].

Сражение описывается кратко, но при этом упомянуто, что татары, несмотря ни на что, «никако же давахуся въ руки, но рѣзашася крѣпко» [42:12, 62]. В рассказе о ходе боя использована формула начала битвы с синонимичными эпитетами и появляются морфологические рифмы, придающие дополнительную эмоциональность тексту:

*«И бысть имъ бой великъ и силенъ зѣло
на рѣчкѣ на Листани;
И начаша одолѣвати христианя...
И много татаръ избиша,
И самого царевича Мустофу убиша,
И князей съ нимъ многихъ татарскихъ избиша;
А князя Ихмуть-мурзу яли,
Да князя Азбердѣя, Мишереванова сына, яли,
И иныхъ многихъ татаръ поимали»* [42:12, 62]

Ритмичность текста создается относительным параллелизмом синтаксических конструкций, поддержанным анафорическим союзом «и», и созвучием окончаний, первое из которых могло возникнуть случайно, поскольку оно неточное, тройные же рифмы, видимо, намеренные. Благодаря новым приемам традиционная информативная повесть превращается в строго мотивированное и красочное повествование.

Естественно задаться вопросом, откуда летописец XVI века почерпнул дополнительные сведения о событиях в Рязани, в частности, о природных условиях, которых не было в более ранних сводах. А.Г.Кузьмин отметил особый интерес составителя Никоновской летописи к истории Рязанского княжества. Рассмотрев рязанские известия в летописях XV в. и Никоновском своде, он пришел к выводу о том, что, во-первых, рязанское летописание не составило особой традиции, а во-вторых, автор Никоновской летописи «непосредственно располагал, по-видимому, только летописцем второй половины XIV – начала XV в., и, может быть, некоторыми записями за XIII век» [88,284]. Рассматривая повествование о приходе Мустафы на Рязань, историк заметил, что Никоновская летопись «включила в свой рассказ по существу все известия московских летописей, растворив их в сведениях, полученных из других источников. Такими источниками могли быть какие-то рязанские записи или расска-

зы свидетелей, сделанные более или менее значительное время спустя после самого события. Не исключено, что дополнительные сведения вводил сам автор древнейшей части Никоновской летописи» [88,261]. В то же время А.Г.Кузьмин обратил внимание на то, что в рассказе отсутствуют детали, появления которых можно было бы ожидать, если бы запись делалась современником событий, например, точные даты и имена рязанских воевод, участвовавших в сражении [88,259].

Точку зрения А.Г.Кузьмина поддержал Б.М.Клосс, который отмечал, что в 20-е гг. XVI в., когда создавалась летопись, Рязань была лишь недавно присоединена, и мысль о Москве как собирательнице Руси и помощнице всех удельных князей была важной. Ряд источников к тому же указывает, по мнению исследователя, на рязанское происхождение составителя летописи митрополита Даниила [89,102-103], что подтверждает мнение о возможности появления в Никоновском своде рязанского материала, отсутствующего в других летописях.

В связи с этим привлекает внимание позиция повествователя, поскольку создается впечатление, что он сочувствует царевичу Мустафе, поэтому так старательно описывает природные явления, которые мешали татарскому войску сражаться, дважды обращает внимание на то, что Мустафа во второй раз пришел к Рязани как проситель, с мирными целями, подчеркивает тяжесть боя и сопротивление врагов, несмотря на неблагоприятные для них природные условия. Объяснить этот комплекс особенностей можно, если учесть сложные московско-рязанские отношения на рубеже XIV-XV веков, о которых писал А.Г.Кузьмин, утверждая, что именно в это время и был составлен рязанский свод, ставший одним из источников Никоновской летописи. По его мнению, до 1500 г., когда умер князь рязанский Иван Васильевич, в Рязани существовала сильная «партия рязанской самостоятельности», у которой, возможно, была поддержка в окружении московского князя [88,276-277], поскольку его сестра Анна Васильевна была женой рязанского князя. Соответственно, мысль о том, что вмешательство московского князя в уже разрешенный конфликт между Рязанью и Мустафой было излишним, могла скрытым образом присутствовать в повести, подтверждая независимость Рязани.

История повести о Мустафе раскрывает то влияние, которое оказывала местная позиция редактора на изменение батальных текстов. Новые литературные явления складываются как следствие определенного взгляда на события, который, в силу политических обстоятельств времени создания свода не может быть выражен прямо, но сказывается на художественных деталях текста.

Наблюдения над изменениями текстов летописных воинских повестей приводят к ряду выводов. Общая композиционная схема жанра остается постоянной на протяжении столетий, но с конца XIV в. в произведения начинают включаться ранее редко использовавшиеся элементы: символические, лирические, описательные. Их появление связано с общими процессами эпохи. В первую очередь, это постепенное изменение системы мировоззрения. В летописях XV в. объяснение хода событий чаще всего носит двойственный характер: сохраняется религиозно-символическая мотивировка и в то же время все большее значение приобретают прагматические мотивы, связывающие тот или иной поворот событий с замыслами и поступками людей. С конца XV в. второй тип мотивировок в рассказах о событиях недавнего прошлого становится преобладающим. Этим обусловлен другой важный процесс – усиление интереса к человеку и его внутреннему миру: летописцы проявляют внимание к историческим личностям и включают в развитие действия тех персонажей, о которых раньше могли даже не упоминать. В связи с этим расширяется система персонажей: рядом с главным героем появляются эпизодические, чьи образы важны для отдельных этапов развития событий, которые, в свою очередь, раскрываются более подробно. Таковы образы бояр, воинов, иногда вражеских полководцев, которые ранее только упоминались в повестях. Этот процесс приводит к развитию характеристик героев, в том числе к дополнению речей, зафиксированных в ранних вариантах, и включению новых случаев прямой речи.

В то же время несомненны перемены, вызванные вниманием летописцев к форме происходящих событий, к деталям, которые делают

повествование более ярким и наглядным. Эти детали часто связаны с домыслом летописцев, преданиями или использованием литературных образцов. Все названные изменения ведут к беллетризации сюжетов воинских повестей, особенно заметной в том случае, если ранняя погодная запись или информативная повесть под пером редакторов превращается в повесть событийного типа.

Значительную роль в редактировании текста воинских повестей играла местная позиция летописцев. Она сказывалась не только на оценке событий, но и на художественных особенностях повествования, в частности, на использовании или неприменении средств эмоционально-экспрессивного стиля.

В тех случаях, когда происхождение авторской позиции, выраженной в конкретной редакции, вызывает сомнение, приходится предполагать включение в поздние общерусские своды материала утраченных местных летописей.

Позднее местное летописание особенно охотно включает в тексты воинских повестей легенды, связанные с городом или княжеством, где написана летопись, и эти легенды помогают выразить новую точку зрения на порядок и смысл происходящих событий.

Работа редакторов над воинскими повестями в разных летописных сводах отличалась и некоторыми индивидуальными чертами. В Рогожском летописце в переработке воинских повестей прошлого отразилось стремление передать основные факты, сократив текст за счет изъятия подробностей, характеристик героев, размышлений предшествующих летописцев. В повествованиях же о событиях конца XIV-начала XV вв. обнаруживаются черты эмоционально-экспрессивного стиля, связанного с ярким изображением событий и выражением позиции летописца. По всей видимости, эти повествования восходят к протографу летописи – утраченному своду 1408 г.

В событийных повестях СИЛ и НІВЛ проявилась тенденция к усложнению композиции. Они представляли собой развернутые повествования, в них широко использовалась прямая речь персонажей, введены символические и описательные элементы, эмоциональное

воздействие достигается использованием приемов эмоционально-экспрессивного стиля. Повести, включенные в эти своды, по их вниманию к персонажам, изображению значимых деталей событий стоят у истоков процесса беллетризации воинской повести.

Основная тенденция Московского летописного свода конца XV в. в работе над воинскими сюжетами – стремление к объективности и точности повествования, документализация текста, которая сочетается с использованием традиционных форм повествования, в том числе с формулами. Редактируя древние тексты, книжники, как правило, старались освободить их от лишних подробностей, сделать понятными личности героев, придать им традиционную форму информативной повести трехчастной структуры. Кроме этого, они снимали оценки событий, цитаты, отступления. Почти во всех текстах проявляется тенденция к созданию мотивированного повествования, события объясняются чаще прагматическим, а не религиозно-символическим способом. По сравнению с другими сводами XV в. Московский немного внимания уделяет героям, обращая внимание главным образом на группы людей, судьбы которых связаны с описываемыми событиями. Только в этих случаях используются иногда приемы стиля «плетения словес», в целом нехарактерные для этого свода. Фактически редакторы Московского свода закрепляют сложившийся канон жанра воинской повести, который усвоили книжники последующего столетия.

Редактор Тверского сборника также стремился к мотивированному, логическому изображению событий, лишенному описательности, повторов фактов, стилистической избыточности и активного выражения авторской позиции. Перерабатывая тексты предшественников, летописец снимал мелкие детали и придавал повестям чаще всего информативный характер. В ряде повестей заметен самостоятельный подход, сказывающийся в изменении композиции, внесении дополнительных сюжетных элементов, происходящих, вероятно, из местных письменных источников и устных легенд, а также в домысливании деталей событий. Особенно заметной становится переработка в тех случаях, когда летописец стремился представить деятельность тверских князей в ином свете, нежели его предшественники.

Создатели Никоновской летописи, редактируя древнейшие тексты, создали яркое сюжетное повествование, соединяя книжное и фольклорное начала, развертывая сведения о героях, зачастую вымышленные. При этом легендарные элементы занимают подчиненное положение по отношению к традиционным летописным приемам повествования.

В повестях о событиях XIII–XV вв. редакторы Никоновского свода чаще всего сохраняли тексты предшественников, прибегая лишь к стилистической правке, связанной с торжественной церемониальностью этой летописи и проникновением в нее элементов эмоционально-экспрессивного стиля.

Наблюдения над работой летописцев XVI в. с воинским материалом приводят к выводу о том, что в ней явственно сказались противоречия, существовавшие в культуре эпохи. Все редакторы, ориентируясь в большинстве случаев на образцы жанра воинской повести, в то же время, сознательно или бессознательно, использовали публицистический и беллетристический вымысел, вносили в характеристики героев представления своего времени, соединяли разнородные стилистические традиции: воинскую, эмоционально-риторическую, документальную.

Образ повествователя остается, наряду с общей схемой композиции, самым устойчивым признаком. Как и летописцы предшествующих веков, создатели памятников XV–XVI столетий редко высказывают свою позицию прямо. Расширяются возможности оценки за счет обогащения системы изобразительно-выразительных средств, в частности, эпитетов и сравнений, а также за счет использования значительного количества библейских цитат, впрочем, появляющихся не во всех повестях и в неодинаковой степени применяемых в разных летописях. Принципиально позиция объективного наблюдателя остается основной особенностью образа, но благодаря различным средствам авторам удается передать свои пристрастия, особенно в местных сводах. Одним из таких средств были «малые» или «вставные» жанры, о которых речь пойдет в следующей главе.

Глава 2. МАЛЫЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ВОИНСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

В составе летописных воинских повестей, начиная с Повести временных лет, обнаруживаются «малые жанры» лирического и символического характера. Количество их со временем нарастает, они используются и во внелетописном воинском повествовании. Проследим путь становления и развития этого литературного явления.

2.1. Особенности и функционирование лирических жанров

Древнерусская лирика отличалась от лирики нового времени прежде всего нестихотворным характером, хотя в то же время обладала выраженной ритмической организацией, создающейся приемами, общими для эпических и лирических жанров. Так называемые малые лирические жанры или жанрообразования непосредственно выражали чувства и мысли персонажей или автора, придавая текстам эмоциональность. В то же время в них могли появляться эпические элементы, связанные с упоминанием каких-либо событий. Лирические жанры в воинском повествовании появились на этапе его становления, но развитие их шло неравномерно.

2.1.1. Назначение и своеобразие молитв

Крещение Руси князем Владимиром не только отразилось в летописных текстах как факт, но и сказалось на трактовке событий летописцами, привлекавшими для их объяснения разнообразные жанровые формы. Одной из таких форм стала молитва. Этот малый лирический жанр внутри воинских повестей отличается от соответствующего жанра в круге богослужебной литературы, поскольку создается автором для определенного конкретного случая, то есть литературные молитвы индивидуальны.

Молитвы выражали глубокую веру русских людей в то, что справедливые битвы с врагами в защите родной земли находятся под покровительством Бога и могут быть проиграны только в том случае,

если приход иноземцев являет Божью кару за грехи. В междоусобных битвах молитвы помогают тем персонажам, на чьей стороне правда.

Значение христианской молитвы раньше всего показано летописцем в «Повести временных лет» по отношению к эпохе, когда Русь была еще языческой. Сила ее направлена против войска князей киевских Аскольда и Дира, подошедших к Царьграду на кораблях, ибо молитва цесаря Михаила и патриарха Фотия и помощь ризы Пресвятой Богородицы приводят к тому, что на море поднимается буря и разбивает корабли руси. Саму молитву летописец не приводит, упоминает только, что ее «всю ночь... створиша» [37,15].

Такая форма упоминания молитв без передачи их текста встречается и в дальнейшем. Суздальская летопись под 1125 г. рассказывает о сражении Ярополка с половцами. Летописец дважды упомянул о молитвах князя: перед боем («призвавъ имя Божье») и после победы («хваля и слава Бога» [46,296]), но ни в том, ни в другом случае они не приведены.

Летописная статья 1174 г. Киевской летописи рассказывает о конфликте Андрея Боголюбского с князьями Ростиславичами, возникшем из-за желания Андрея назначить князьям другие уделы и попытки осуществить это решение с помощью большой воинской силы. Князь Мстислав побеждает войско Андрея и «похвали всемилостиваго Бога и святою Бориса и Глѣба помочь невидимо гонящеѣ» [37,577]. Итог событий подводится летописцем в форме назидательного рассуждения: «Се уже сбыся слово апостола Павла, рекша, еже передѣ написахомъ, возносяися смириться, а смиряися вознесеться, и тако възвратишася вся сила Андрѣя князя суждальскаго, совокупилъ бо бѣшетъ всѣ землѣ и множеству вои не бѣше числа, пришли бо бяху высокомысляще, а смирении отидоша в дома своя» [37,577-578].

Аналогичный случай встречаем и в Галицко-Волынской летописи в повести об обороне Даниилом Галича в 1229 г. В части, рассказывающей об окружении Галича королем Белой, упоминается: «Данилови же молящуся Богу» [37,760], и по его молитве дается Божья помощь, чем подчеркивается законное право князя на владение своей отчиной.

В НЛ младшего извода последняя часть повести о Куликовской битве содержит упоминание о благодарственной молитве русского воинства: «многыя князи рускыя и воеводы прехвалными похвалами прославиша пречистую Матерь Божию Богородицю» [16,377].

В повести Московского летописного свода 1471 г. о походе князя Ивана Васильевича на Новгород автор перечисляет молитвенные обращения князя перед походом: в Успенском соборе перед иконой богоматери Владимирской и чудотворной иконой, написанной митрополитом Петром «многа моления съвърши и слезы доволно излиа», у гробов митрополитов Петра, Феогноста, Киприана, Фотия, Ионы «молебнаа съвършаа и слезы изливаа, прося помощи»; в Чудовом монастыре перед иконой Архангела Михаила «молебнаа съвършаает, призываа на помощь того воеводу небесныхъ силъ съ многимъ умилением», в приделе Благовещения у гроба митрополита Алексия «помолися со многими слезами», в Архангельском соборе ко всем святым «моленье съвършаает, прося помощи и заступления от них» [47,390]. Как видим, внимание сосредоточивается на слезных молитвах князя и его прилежном молении. Текст приведен только одного молитвенного обращения Ивана – к его предкам: «Аще духомъ далече есте отсюду, но молитвою помозите ми на отступающихъ православья дръжавы вашеа» [47, 390].

Во всех приведенных случаях упоминаемые молитвы функционально относятся к двум типам: просительные, как правило, определяющие развитие событий и дающие повод для авторских выводов, и благодарственные, подчеркивающие значение Божественного покровительства для победы.

С начала XI в. в летописных повестях о битвах появляются тексты молитв. Первые образцы их связаны с войной Ярослава Мудрого против Святополка Окаянного после убийства Бориса и Глеба.

Рассказ о первом сражении помещен в летописных статьях 1015-1016 гг. Статья 1015 г. заканчивается сообщениями о сборе Ярославом войска, обращении к Богу с просьбой о праведном суде, выходе Святополка к Любечу на берег Днепра с дружиной и печенегами. Молитва не имеет сюжетного значения, но выражает чувства и надежды героя: «нарекъ Бога рекъ не азъ почахъ избивать братью, но онъ. Да будетъ

Богъ отместникъ крови брату моея, зане безъ вины проля кровь Борисову и Глѣбову праведною, еда и мнѣ си же створить. Но суди ми, Господи, по правдѣ, да скончается злоба грѣшнаго» [37,128]. Последняя фраза молитвы воспроизводит фрагменты двух стихов Псалтири (7:9,10).

Второй раз молитва появляется перед повествованием о битве на реке Альте, помещенным под 1019 г. Это молитва Ярослава к Богу и обращение к погибшим братьям с просьбой о помощи: «Ярославъ же ста на мѣстѣ идеже уби Бориса и въздѣвъ руцѣ на нѣбо и рекъ: кровь брата моего вопиеть к тобѣ, Владыко! Мести от крови правѣднаго сего якоже мстилъ еси от крови Авелевы, положивъ на Каинѣ стѣнанье и трясение, тако положи на семъ. И помолився рекъ: брата моя, аще есте отсюду тѣломъ отошла, то молитвою помозита ми на противнаго сего убилицю гордаго» [37,131]. В этой молитве появляется аллюзия к истории Каина и Авеля и мотив мести за невинно пролитую кровь, присутствующий во многих текстах Ветхого Завета. В обеих молитвах раскрывается представление о роли Ярослава как орудия справедливого наказания убийцы и мотивируется его решение выступить против брата-врага.

Помещенная под 1022 г. повесть о поединке тмутороканского князя Мстислава с касожским Редедой также содержит просительную молитву. Мстислав, в ходе поединка оказавшийся слабее своего противника, обратился к Богородице: «О пресвятая Богородице, помози ми, аще бо одолѣю сему, съзижду церковь въ имя твое» [37,134]. Молитва содержит не только просьбу, но и обет, данный князем и выполненный им после победы.

В более поздних летописях, повествующих о событиях конца XIV – начала XV в., количество молитв увеличивается, и они становятся более разнообразными по функциям и образам.

В этом отношении особенно ярким примером может служить Пространная редакция повести о Куликовской битве, вошедшая в НІVЛ и СІЛ.

На этапе подготовки к битве летописец приводит пять молитв князя Дмитрия Ивановича, которые лишены непосредственно сюжетных

функций. Они характеризуют главного героя и подтверждают мысль о Божественном покровительстве ему. Все молитвы содержат заимствования из Псалтири.

Первая произнесена московским князем перед иконой Богородицы, когда он узнает о походе Мамаю в союзе с литовским князем Ягайло. Дмитрий, «пролия слезы», обращается ко Христу и Божьей Матери, прося о милости к христианам. В молитве использованы тексты Псалтири (23:8,10; 75:8), Тропаря 6 гласа из Великого Повечерия, что было отмечено Л.А.Дмитриевым [90,389]. В этом фрагменте, в отличие от предыдущих, проявляется похвальное начало, возвеличивание Господа и Богородицы, создающее торжественный патетический строй текста за счет использования, в частности, значительного количества традиционных эпитетов (всемогущий, всемогущий, крепкий, царь славы), повторов отдельных слов («Госпоже», «помилуй»).

Вторая молитва произнесена Дмитрием после беседы с братом и боярами. Она гораздо более краткая и содержит только просьбу о помощи, выраженную с использованием текста 69 псалма (1-2).

Третья пространная молитва произнесена, когда князь узнал о предательстве Олега Рязанского. Он, «въздыхнувь из глубины сердца», просил о помощи правым и отмщении «новому Святополку» – Олегу, выражая мысли переплетением мотивов двух псалмов (78:10, 6; 85:10). В этой молитве особенно подчеркивается мысль о том, что противостоят русскому воинству иноверные, язычники, поэтому автор обращается к скорбному тексту 78 псалма.

Четвертая молитва, вновь краткая, произнесена после получения князем на Дону грамоты с благословением преподобного Сергия. В этой молитве содержится просьба и выражается надежда князя; вновь использован текст Псалтири 19:8.

Примечательна пятая молитва Дмитрия. В ней сочетается изображение замыслов Мамаю, подчеркнутое сравнением и ярким эпитетом (враг приближается «акы змии къ гнѣзду», «аки нѣкаа ехидна прыскающе», он «нечестивый сыроядецъ» [50,462], стремящийся осквернить русскую землю и разорить святые церкви) с просьбой о помощи, вы-

раженной перифразом текста молитвы «На великое освящение воды» из Требника [90, 390] и аллюзией к истории Моисея (Исход 13-14).

Во второй части, рассказывающей о битве, также помещена молитва князя, произнесенная после перевоза войска за Дон. Она подчеркивает праведный характер борьбы с врагом, вновь содержит просьбу о заступничестве и использует тексты псалмов 3:2, 117:10-11.

В третьей части повести, традиционно сообщающей о торжестве победителей, приводится благодарственная молитва Дмитрия Ивановича к Иисусу и Богородице, «велико благодарение принесе» [50,468]. В ней на первом плане мотив милости Господа к русскому воинству, явленной по молитвам Его Матери, восходящий к многочисленным псалмам. Кроме этого, автор выстраивает ряд ретроспективной исторической аналогии, объединяющий библейских и исторических лиц, которым была явлена Божья милость: Моисей, Давид, Константин, Ярослав Мудрый.

Молитвы, помещенные в повести, не только содержат традиционные просьбу и благодарность, но и раскрывают размышления и чувства Дмитрия: ожидание грядущих событий, упование на Божью помощь, уверенность в правоте борьбы с врагами. Автор достигает эмоциональности и разнообразия текстов использованием псалмов и тропов, разными способами введения молитв в повесть.

В повести о нашествии Едигея по Рогожской и Симеоновской летописям автор объясняет спасение Москвы заступничеством Богоматери и митрополита Петра, явленным за благочестие москвичей. Они, узнав об отъезде из города князя с семьей, «смотряще яко никто же помагая имъ и челоувѣчьское спасение не обрѣтесе имъ, и памятующе Давида, еже пиша, рече: добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя, добро есть надѣятися на Бога, нежели надѣятися на челоувѣка» [39,184] (ср.: Пс.117: 9,8), начали молиться. Обе их молитвы краткие и просят о защите. Первая обращена к Богу и содержит перифраз стиха 19 из 79 псалма: «Не предаждь звѣремъ душа рабъ твоихъ, Владыко, аще и согрѣшихомъ Ти, но за имя Твое святое еще пощади насъ, Господи» [39,184] (ср. «не предаждь звѣремъ душу исповѣдающуюся тебѣ...»).

Вторая молитва обращена к Богородице: «О Заступнице наша неотступимая, еще не предаждь до конца насъ в руцѣ врагомъ нашимъ» [39,184](ср. «... не предаждь мене обидящимъ мя» (Пс.118:121)). В данном случае обе молитвы произносятся всеми москвичами, а не одним персонажем, и это молитвы не о помощи в бою, но именно о заступничестве за мирных людей, у которых нет земных защитников.

Под 1408 г. в Тверской летописи помещена повесть «О побоищи Рязаньскомъ», рассказывающая о битве между Федором Рязанским и Иваном Пронским, причем московский князь послал помощь своему зятю Федору. Летописец не одобряет этого решения Василия, замечая: «старци же се не похвалиша; а иже не сложивъ къ Пронскому, ратью послати на нь, се бо здумаша бояре юнии» [41,480]. Даже присутствие татарского посла не примирило князей. Автор явно сочувствует пронскому князю и приводит его молитву о помощи правому делу: «възрѣвъ на небо и рече: “Видждь, Боже, и призри на лице правды твоеа, и разсуди прю мою отъ востающихъ на мя”» [41,481]. Эта краткая молитва построена на мотивах двух псалмов: 83:10 и 54:19.

Две пространные молитвы содержатся в рассказе о подготовке московским князем обороны города в повести о приходе крымского царя Сафа-Гирея на Русскую землю, помещенной в Воскресенской летописи под 1541 г. После сражения у города Осетра, когда были захвачены пленные и князю рассказали о силах врага, он, отправив войска к Пахре, пошел в церковь и обратился к Богоматери и чудотворцу Петру с просьбами о помощи и заступничестве. Молитвы редко появлялись в воинских повестях Воскресенской летописи, соединение же сразу двух аналогичных по смыслу лирических фрагментов оказывается особенно заметным. Молитва к Богоматери вводится упоминанием образа, к которому обращается герой: «припаде къ образу Пречистые, юже Лука евангелист написа, и падъ на колени, проливаа слезы, нача молитися» [93, 390]. Обращаясь к Богородице, князь упоминает о чуде изгнания Темир-Аксака из Русской земли, прося повторить эту милость, явленную

его прапрадеду Василию, по отношению к нему, его потомку. Фрагмент этой молитвы: «Пошли Царици милость свою, да не ркутъ погании: где есть Богъ ихъ, на него же уповають?» [91,390] содержит неточную цитату из Псалтири 78:10, встречавшуюся в пространной летописной повести о Куликовской битве. Чувства князя передаются не только через текст молитвы, но и через описание их внешнего выражения.

Вторая молитва произнесена двумя малолетними князьями у гроба митрополита Петра. В ней они напоминают о своем сиротстве, отсутствии земной помощи и просят о небесном заступничестве: *«а вжеглъ ты Богъ намъ светлую свещу и постави на свещницы, тобя дароваль Богъ роду нашему и всему христианству крепкаго стража»* [91,390]. Сама метафора: святитель Петр – светлая свеча – происходит из жития, где приводится рассказ о сне матери Петра до его рождения, в котором она увидела «агнецъ доброзрачен на руку своею, имущи на рогу своею дрѣво, различныя цвѣты имуща, и **свѣща пресвѣтлыи свѣтящаяся»** [79,28]. В житийную же литературу метафора пришла из библейского текста (Лк 11:33). В летописных воинских повестях предшествующей данному памятнику эпохи она не встречалась, но, как будет показано дальше, появилась в составе молитвы во внелетописной воинской повести.

Молитвы содержит повествование о Казанском походе Ивана IV в 1552 г., вошедшее в Никоновскую летопись. В рассказе о битве «на Арском месте» помещена молитва царя, благодарящего Бога за победу московского войска. Этот фрагмент введен описанием чувств Ивана IV и выражает не только благодарность, но и просьбу об окончательном избавлении от врага: «прииде в церковь много молитвенная со слезами изрече втайнѣ и явственѣ възвѣщаетъ: «что ти въздамъ, Владыко, противу твоему благодарению, но токмо слезы и сердце сокрушено? Милостивый Владыко Христе! Подай съврѣшенную избаву бѣдному христианству: не намъ, Господи, не намъ, но имени твоему даждь славу» [42:13,211].

Еще одна пространная молитва царя приведена перед рассказом о взрыве подкопа под стены Казани и выделена отдельным

заголовком «Моление царское». Как и первая, она вводится предисловием, описывающим состояние Ивана и изображающим иконы, к которым он обращался: «Самъ же благочестивый царь на образъ Христа Бога нашего прилежно взирая и на рожшую Его Богоматерь и на угодника Его великаго Сергия, туто бо прихоть его царьской къ чюдотворцову образу стоящу, еже з живаго свѣтилника Сергия начертана, въ сердцы же своемъ тайно безпрестанныя молитвы всылая, отъ очию же его яко рѣка слезъ изливашеся...» [42:13,216]. Сама молитва, обращенная ко Христу и Богоматери, содержит просьбу о милости к царю и воинству и об оставлении грехов, выраженную эмоционально с помощью многочисленных повторов («помилуй!» «Се время прииде милости твоя!» «милость»).

Молитва всего воинства упоминается во время молебна, который проходил в начале битвы. Акцент снова сделан на чувства молящихся: «...все людие съ великимъ вопомъ и плачемъ и стенаниемъ сердечнымъ призывая Бога на помощь» [42:13,217].

Две краткие молитвы царя – ко Христу и преподобному Сергию – предшествуют непосредственно вступлению его в битву. Это молитвы о помощи, которые вновь сопровождаются описанием состояния молящегося: «Царь же въздохнувъ изъ глубины сердца своего и слезы многи пролия и рече: “не остави мене, Господи Боже мой, и не отступи отъ мене, вонми въ помощь мою”» [42:13,217]. Молитва строится на синонимии, дополненной цитатой из Псалма 69:1.

В последней части повествования – рассказе о торжестве русских войск, установлении мира с окрестными землями, заложении церкви и освящении города, возвращении войска в Москву – значительное место занимают благодарственные молитвы царя. В главке «Царь хвалу Богу воздаеть» помещена пространная молитва, обращенная к Господу и Богоматери, с выражением благодарности и провозглашением славы: «руцѣ возведе ко Господу, благодарныя молитвы приношаше» [42:13,219]. Молитва эта отличается эмоциональностью благодаря риторическим фигурам, анафорическим и синонимическим повторам, усиливающим впечатление.

После въезда в Казань и воздвижения креста царь, его брат Владимир Андреевич и все воинство произносят благодарственную молитву за чудо преображения города из мусульманского в христианский. Благодарность Богу воздается в молитве и за дарование Руси царя, избавившего ее от врагов.

Перед выходом из Казани в обратный путь царь в краткой молитве просит Бога соблюсти город и людей в нем.

По приезде в Нижний Новгород все люди обращаются к богу с молитвой о царе: «Умножи, всемилосердый Богъ, лѣтъ живота его, яже избави насъ отъ таковыхъ змй ядовитыхъ, отъ нихъже злѣ много лѣтъ страдали есмя! Утверди его, Христе, на многие лѣта!» [42:13,222].

В Троице-Сергиевом монастыре царь молится у иконы Троицы и над гробом преподобного Сергия, но об этих молитвах только сообщается, так же как и о молитвах, произнесенных царем в Успенском соборе Московского Кремля: «многы молитвы благодарны со слезами изрече» [42:13, 227].

Повесть о Казанском походе – самая большая и по существу последняя воинская повесть в летописании. Молитвы, вошедшие в нее, представляют все разнообразие этого жанра, существовавшего на протяжении нескольких веков.

Итак, чаще всего в летописных воинских повестях встречаются два типа молитв – просительные о помощи против врагов и благодарственные, значительно реже появляются молитвы о заступничестве.

В раннюю эпоху многие молитвы лишь упоминаются, но не приводятся, но уже в летописных записях XI в. обнаруживаются тексты молитв, использующие как элемент стихи Псалтири, точные или видоизмененные, которые остаются опорными для жанра вплоть до XVI в.

Если в ранних повестях молитвы вводятся чаще всего простым упоминанием «рече» или «рекъ», лишь в отдельных случаях может быть упомянут жест или состояние молящегося («въздѣвъ руцѣ на небо»), то начиная с эпохи Куликовской битвы широко распространяется эмоциональное изображение чувств молящихся, подчеркивающее значение произносимых молитв. Большинство

молитв произносятся главными героями воинских повестей, но в отдельных случаях представлены молитвы всего воинства или всех горожан.

Со временем изменяется форма молитв. Относительно краткие и четко выражающие мысль тексты постепенно уступают место более выразительным, основанным на повторах, тропах и риторических фигурах, акцентирующим чувства персонажей. В них начинает привноситься элемент похвалы, славы. С расширением текста цитирование конкретных псалмов сменяется использованием мотивов и средств, свойственных в целом Псалтири и богослужебным текстам.

Все эти изменения связаны с общими процессами, свойственными воинскому повествованию: с конца XIV в. оно начинает проявлять большое внимание к чувствам и мыслям исторических лиц, прибегая для этого к различным приемам и формам, а в XVI в. в Никоновской летописи соединяются все возможные способы характеристики героев, в том числе и разные типы молитв.

Традиция летописных воинских повестей была унаследована вне летописными воинскими текстами, в которых также появлялись молитвы. Первым произведением этого ряда была «Повесть о разорении Рязани Батыем». В ней приведены молитва рязанского князя Юрия Ингваревича перед битвой, обычная для летописных повествований, с просьбой о помощи.

С эпохи Куликовской битвы количество молитв увеличивается. Памятниками, рассказывающими о наиболее значительных военных событиях (Куликовской битве, победе над Казанским ханством, борьбе с польско-литовской интервенцией) в XV-XVII вв. были «Сказание о Мамаевом побоище», «Казанская история» и «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря» Авраамия Палицына. На их примере можно проследить значение жанра молитвы во внелетописном воинском повествовании.

В начале всех трех произведений авторы высказывали главную задачу: рассказать о дарованных Богом победах над иноверцами (см. табл. 4)

Таблица 4

**Сравнение вступлений к «Сказанию о Мамаевом побоище»,
«Казанской истории» и «Сказанию» Авраамия Палицына**

«Сказание о Мамаевом побоище» (Основная редакция)	«Казанская история»	«Сказание» Авраамия Палицына
«Начало повѣсти, како дарова Богъ побѣду государю великому князю Дмитрею Ивановичю за Дономъ над поганымъ Мамаем, и молением пречистыа Богородица и русьскихъ чудотворцевъ православное христианство – Русскую землю Богъ возвыси, а безбожныхъ агарянь посрами» [92,25].	«Красныя убо и новыя повѣсти сея достоит намъ радостно послушати, якоже удивившееся преславному в нашей земли и во дни наша в лѣта православнаго и благочестиваго и державнаго царя и великаго князя Иоанна Василевича.., ему же дарова Богъ всемирную побѣду и славное одолѣние на презлое царство срацынское, на предивную Казань, правые ради его вѣры еже во Христа» [93,252].	«... о семъ писаниемъ известити, иже в Великой России ко спасению благородствию нашему, колику преславному и велику милость показа намъ Богъ нашъ, пресвятая и преезначальная Троица... и от коликихъ золь избави нас Господь во обстояние многихъ вой, молитв ради великихъ чудотворцовъ...» [94,162].

При общем сходстве высказываемых мыслей есть и некоторое отличие «Сказания» Авраамия: если в предшествующих двух памятниках упоминается о победе, данной князю и царю, то в последнем произведении речь идет о милости, дарованной русским людям от Бога. Этим различием во многом определяется состав и характер молитв в текстах.

В «Сказании о Мамаевом побоище» и «Казанской истории» большинство молитв произнесено главными героями – князем Дмитрием Ивановичем (10) и царем Иваном Васильевичем (9). Некоторые из молитв появляются в ситуациях, типичных для летописных воинских повестей, прежде всего перед выступлением в поход и после победы.

Первая молитва Дмитрия помещена сразу после получения известия о походе Мамай на Русь и обращена к иконе Спаса Нерукотворного [92,28]. В молитве выражается скорбь князя о бедствиях, которые может принести приход врага, мысль о том, что новое нападение монголо-татар вызвано его грехами, за которые может пострадать

вся его земля, и надежда на благополучный исход событий, с Божьей помощью. Примечательно, что князь вспоминает «страх и трепет» от нашествия Батыя, который еще жив в русских людях перед Куликовской битвой, хотя после этого события прошло почти полтора столетия. Эмоциональность молитвы создается лексическими повторами (господи, царю, владыко), эпитетами (светодателю, злаго Батыя, свирепый зверь (Мамай), риторическими вопросами («Азь грѣшный смѣю ли молитися Тебѣ, смиренный рабъ твой? То к кому простру уныние мое?»), звукописью («укроти, Господи, сердце свирѣпому сему звѣрю!»).

В «Казанской истории» рассказывается о том, что в самом начале своего правления, размышляя о бедах русских людей, приносимых казанцами, Иван «плакашеся всегда перед Богом, моляшеся, да вразумит его Бог то иже языком поганым воздати, еже христианом воздаша» [93,310]. «Сердцем боляше, стоняше о православных христианѣхъ», погибающих и попадающих в плен к казанцам, царь произнес пространную молитву, использующую мотивы библейских книг [93,318-320]; (ср.: Пс. 78:1-3, 2-я Царств 24:17), виня в бедах подданных, как и Дмитрий, свои «грехи и беззакония... во юности сотворенныя» [93,320] (ср.: Пс. 24:7) прося помощи против супостатов и проводя мысль о том, что Русь ведет борьбу с иноверцами, и потому должна получить небесную помощь.

Сходные молитвы помещены в памятниках XV и XVI вв. перед выступлением в поход. Две из них обращены к Господу и Богородице. Первая в «Сказании» использует в основном тексты псалмов, содержит упоминание о грехах князя и просьбу о помощи, то есть по смыслу повторяет текст предыдущей молитвы, но оформлена она более традиционными средствами, в частности прямо цитирует (ср. Пс 34:1-2): «Суди, Господи, обидящим мя и възбрани борющимся съ мною, прими, Господи, оружие и щит, и стани в помощь мнѣ. Дай же ми, Господи, побѣду на противныя врагы, да и ти познають славу Твою» [92,32]. Сходные мысли и отзвуки того же псалма звучат и в молитве Ивана Грозного: «... посрами ихъ, обидящих нас и борющихся с нами...» [93,402].

Более пространны молитвы к Богородице, причем икона Владимирской Богоматери, перед которой молятся герои, названа одинаково: «юже Лука евангелист, живъ сый, написа» [92,32], «юже евангелистъ Лука написа» [93,402]. В «Сказании» она содержит не только просьбу о помощи против врагов, но и о подании мужества русскому воинству. В молитве Дмитрия используются наиболее распространенные обращения к Богородице («чюдотворнаа Госпоже царице, заступница, Пречистаа»), в молитве Ивана круг эпитетов, подчеркивающих помощь и заступничество, шире («твердая стѣна... крѣпкий столпъ, и оружие непобѣдительно, и ополчѣние крѣпко, и воевода силенъ, и предстатель непобѣдим» [93,402]).

Третья молитва произнесена Дмитрием у гроба митрополита Петра, а Иваном «к новым нашим русским чюдотворцем Петру, и Алексѣю, и Ионе» [93,456], но в «Сказании» приводится ее текст, в «Истории» она только упоминается. Дмитрий обращается к новопрославленному святителю как к пастырю Руси: «Тебе бо Господь прояви послѣдному роду нашему и *вжегль тебе намъ, свѣтлую свѣцу, и посьстави на свѣщницѣ высоцъ* свѣтити всей земли Русской. И тебе нынѣ подобаетъ о нас, грѣшных, молиться, да не приидетъ на нас рана смертна и рука грѣшника да не погубить нас. Ты бо еси стражъ нашъ крѣпкий от супротивных нападений, яко твоя есмы паствина» [92,32]. Образ свечи восходит, как уже упоминалось, к житийной метафоре, он акцентируется и становится выразительным благодаря повтору слов с корнем «свет» и возникающей на его основе аллитерации. Возможно, что именно из этого памятника, наряду с другими элементами, образ был заимствован в повесть о приходе Сафа-Гирея на Русь в Воскресенской летописи [95].

Молитвы появляются в обоих произведениях в связи с видениями. Узнав о видении Фоме Казибею Бориса и Глеба, князь произносит молитву, вспоминая библейские и исторические события, в которых была оказана Божья помощь: «Владыко Господи человеколюбче! Молитвъ ради святыхъ мученикъ Бориса и Глѣба помози ми, яко же Моисию на Амалика и прѣвому Ярославу на Святоплѣка, и прадѣду моему великому князю Александру на хвалящегося короля римскаго, хотящаго

разорити отечество его. Не по грѣхомъ моимъ въздай же ми, нѣ излий на ны милость свою, простри на насъ благоутробіе свое, не дай же насъ въ смѣхъ врагомъ нашимъ, да не порадуются о насъ врази наши, и рекутъ страны невѣрныхъ: *«Гдѣ есть Богъ ихъ, на нѣ же уповаша?»* Нѣ помози, Господи, христианомъ, ими же величается имя Твое святое!» [92,41]. Помимо ретроспективной исторической аналогии, напоминающей о победах предков Дмитрия, в молитве использована распространенная в летописных повестях цитата из Псалтири (78:10).

Так же во время осады Казани царь, узнав о видениях Святителя Николая и преподобного Сергия, предвещавших победу, «безпрестани втайне Бога моляше: «Ты убо, премилостивый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, таковая вся вѣси и нас, раб твоих, помилуй по величѣй твоей милости» [93,446]. Краткая молитва содержит трехкратный повтор однокоренных слов (премилостивый – помилуй – милости), эмоционально акцентирующий просьбу царя.

Молитвы появляются и в сходных эпизодах принесения благословения Троице-Сергиева монастыря войскам. Дмитрий в молитве обращается к Пресвятой Троице, Христу, Богородице и упоминает молитвы преподобного Сергия, Иван IV произносит пространную молитву к Богу, а затем обращается за помощью к Богородице и преподобному Сергию, прямо напоминая о событиях, переданных в «Сказании о Мамаевом побоище»: «ускори ныне на помощь нашу и помогай молитвами си, яко же иногда прадеду нашему на Дону на поганого Мамаю» [93,440].

Приведены в обоих текстах и благодарственные молитвы. Дмитрий дважды произносит их после битвы, говоря о милости Божией к русским воинам и восхваляя Творца: «Хвалю тя, Господи Боже мой, и почитаю имя Твое святое, яко не предашь еси насъ врагомъ нашимъ, и не далъ еси имъ похвалитися, иже сии на мя умыслиша зла: нѣ суди им, Господи, по правдѣ ихъ, азъ же, Господи, уповаю на тя!» [92,46]; «Слава тебѣ, вышній Творецъ, Царю небесный, милостивый Спасъ, яко помиловал еси насъ, грѣшныхъ, не предашь еси насъ в руцѣ врагомъ нашимъ, поганымъ сыроядцемъ» [92,48]. Эти молитвы по смыслу прямо перекликаются с авторской идеей, высказанной в начале произведения.

После победы над Казанью царь приказал служить молебн и во время крестного хода «бѣ самъ ходя за кресты, слезяще и глаголаше: «Благодарю Тя, Христе Боже мой, яко не предал мя еси в руцѣ врагъ моих до конца в посмѣх и укоризну и не презрѣл еси моления моего, но даровал ми еси, юному, сия вся нынѣ збывшася видѣти очима моима, еже на жребий мой и на честь, и на славу мнѣ от прародителей моих убрегль еси, еже они многа лѣта подвизашася о Казани и одолѣти не возмогоша, и ничимъ же охужень есмь от них» [93,480].

Сходство проявляется и в молитвах, использованных в необычной для воинских повестей ситуации предательства. Когда Дмитрий узнал от вестника, посланного Захарией Тютчевым, о предательстве Олега Рязанского и Ольгерда Литовского, решивших присоединиться к Мамаю, в молитве выражено горькое чувство князя, сетующего на то, что к его врагу присоединились люди, которым он не причинил никакого зла, и просящего о праведном суде. В молитве использована цитата из Псалтири 7:9-10.

«Казанская история» повествует о том, что служилого хана Ивана IV Шигалея оклеветали казанцы, решившие изменить договору с московским царем, а он, приехав в Москву, рассказал об этом царю, который, «тяжко си вмѣнивъ о отвержении казанцевъ от него, паче живота своего, и очи свои слез наполни, и глагола слово псаломское: «Суди, Господи, обидящие ми и возбрани борющия ми, и прими оружие свое и щит, и востани в помощь мою, и запрѣти сопротиво гонящих мя, и рцы души моей спасение: твой есмь азъ» [93,390]. Как видим, в тексте использован тот же источник, что и в молитве Дмитрия перед походом.

Помимо главных героев, в обоих памятниках молитвы произносят и другие персонажи, прежде всего, жены полководцев.

Плач-молитву произносит жена Дмитрия княгиня Евдокия после выступления воинов в поход. Он окрашен личными чувствами, тревогой за судьбу мужа и детей, и поэтому эмоционален. «Уже бо конечное зрѣние зрѣть на великого князя, слезы льючи, аки *рѣчную быстрину*. С великою печалию **приложивъ руцѣ свои къ персем своим** и рече: “Господи Боже мой, вышний Творецъ, призри на мое

смирение, сподоби мя, Господи, еще видѣти моего государя, славнаго въ чловецѣ великого князя Дмитриа Ивановичя. Дай же ему, Господи, помощь от своеа крѣпкыя руки побѣдити противныа ему поганыа половци. И не сътвори, Господи, яко же преже сего за мало лѣтъ велика брань была русскимъ князем на Калках с погаными половци съ агаряны; и нынѣ избави, Господи, от такиа бѣды и спаси ихъ, и помилуй! Не дай же, Господи, погыбнути оставъшему христианству, да славится имя твое святое в Русьстѣй земли. От тоа бо галадцкыа бѣды и великого побоища татарскаго и нынѣ еще Русскаа земля уныла и не имать уже надежи ни на кого, токмо на тебя, всемилостиваго Бога, можеша бо живити и мертвити. Аз бо, грѣшная, имѣю нынѣ двѣи отрасли, еще младаы суще, князи Василиа и князя Юриа: *егда поразить их ясное солнце съ юга или вѣтръ повѣетъ противу запада – обоего не могутъ еще трѣпѣти*. Азъ же тогда, грѣшнаа, что сътворю? Нѣ възврати имъ, Господи, отца ихъ, великого князя, поздорову, тѣ и земля ихъ спасется, а они въ вѣкы царствуютъ”» [92,33].

Тавтология, яркое сравнение, изображение жеста подчеркивают печаль княгини. В молитве она вспоминает одну из самых страшных по своим последствиям битв русских с монголо-татарами, память о которой сохранилась во всех русских летописях. Поэтический образ ее детей, сравниваемых с молодыми растениями, передает беспокойство Евдокии о будущем сыновей.

В «Казанской истории» молитву произносит царица Анастасия, прося победы и благополучного возвращения для супруга: «О всемилостивый Господи, Боже мой, призри на мое смирение и услыши молитву рабы Твоея, и вонми рыдания моя и слезы, и даруй ми слышати супруга моего царя преславно побѣдивша враги своя, и сподоби мя здрава его сождати, свѣтла и весела видѣти ко мнѣ пришедша, и радующася, и хвалящася о милости Твоей!» [93,400].

В «Сказании» молитвы произносят также митрополит Киприан, князь Владимир Серпуховской, в «Казанской истории» приводится молитва предка главного героя Ярослава Всеволодовича во время Батыева нашествия. Наряду с этим в обоих памятниках появляются коллективные молитвы. В «Сказании» есть молитва, произнесенная всем

русским воинством, подготовившимся к битве: «вси бо равнодушни, единъ за единого, другъ за друга хоцеть умрети, и вси единогласно глаголюще: «Боже, с высоты призри на ны и даруй православному князю нашему, яко Константину побѣду, покори под нозѣ его врагы Амалика, яко же иногда кроткому Давиду» [92,39]. Краткая молитва о даровании победы с использованием традиционных образов ретроспективной исторической аналогии дополняется сообщением автора о единстве русского войска, готового умереть в грядущем бою за общее дело.

В «Казанской истории» подобных молитв две. Первая произнесена пленниками, освобожденными московским войском от черемисов: «О премилостивый Господи Иисусе Христе, Боже нашъ, услыши нас, молящихся пресвятому имени твоему! Помилуй, Господи, и спаси, и сохрани раба твоего, христолюбиваго благовѣрнаго царя нашего и все его христолюбивое воинство, и даруй ему одолѣние на противныя его, и виждь его благое милосердие, еже к нам, нищим, и ко плѣннымъ людємъ показа. И ты, Господи, воздай же ему милость свою за нас, убогихъ и нищихъ, в семъ вѣцѣ и в будущемъ» [93,428].

Подготовив подкопы и войско к решительному приступу, Иван IV приказал петь молебны, «непрестанно же самъ о землю пометашеся и главою бияшеся, и в перси своя часто руками ударяше, и захлепашеся, и слезами ся обливаше» [93,454]. Это экспрессивное изображение слезной молитвы царя сопровождается текстом молитвы, которую произносят все русские люди: «С нимъ же и вся земля Русская испустити вопль безгласный ко всеилному Богу, исполняема неповинными кровми: “Да не вотще будут труды его и великий подвигъ поднятия его, и да не возвратится второе, самъ пришел и посрамлен от града Казани, и да не будет в послѣдний смѣх и во уничижение казанцемъ и всѣмъ окрестнымъ врагомъ его, живущимъ около державы его, и да не будетъ лишень желанія своего! И отверзи очи свои, Боже, и виждь злобу поганыхъ варваръ, и ущедри закланія рабъ своих, и суд издаси на окайныхъ горекъ, яко же и они воздаша вѣрнымъ людємъ рускимъ!”» [93,454].

В «Казанской истории» появляется благодарственная молитва автора, подобных которой не встречалось до этого в воинских повестях.

Она произнесена в главе, рассказывающей о поставлении в Казани архиепископа Гурия через два года после взятия города: «Слава неизреченнымъ судбамъ твоимъ, владыко! Слава человеколюбию и милосердию твоему к намъ! Слава неизреченной ти благи! Велий еси, Господи, и чудна дѣла твоя, и ни едино же есть слово довольно наше к похвалению чудес твоих!... *Велий Господь наш и велия крѣпость его, и разуму его нѣсть числа!* (Пс.146:5). Кто возглаголетъ силы Господни и слышаны сотворит вся хвалы его? Слава единому Богу нашему, творящему дивная и преславная чудеса, еже видѣста очи наши» [93,484]. Эта молитва-похвала построена на основе риторических восклицаний, с использованием анафоры, эпитетов.

Передавая молитвы, авторы обращают внимание на жесты («пад на колѣну свою», «прииде къ гробу блаженнаго чудотворца Петра митрополита, любезно к нему припадаа», «простеръ руцѣ свои, възопи велегласно»), прямо передают чувства («нача сердцемъ болѣти и наплънися ярости и горести»; «слезно рекуще»; «из глубины души нача звати велегласно»), соединяют жест и описание проявлений чувств («пригнувъ руцѣ к персем своим, источникъ слезъ проливающи»; «въздѣвъ руцѣ на небо, нача плакаться, глаголя»). Такое развернутое введение молитв (наряду с обычным «рече») подчеркивает их эмоциональность.

Все молитвы в памятниках раскрывают облик русских людей – от князя до простых воинов – как уповающих на Божью милость. Дарованная победа – ответ на это всенародное упование.

«Сказание» Авраамия отличается от предшествующих повествований о военных событиях тем, что в нем нет главного героя-воина – князя или царя. Поэтому изменяется и система персонажей, произносящих молитвы в произведении.

Первую молитву произносят архимандрит Иоасаф с братией, воинами и воинством «со смиренномудрием, с плачемъ и рыданиемъ Господа Бога моляще о избавлении града, глаголюще сие: “Надежда наша и упование, Святая Живоначная Троица, стѣна же наша и заступление и покров, Пренепорочная Владычица Богородица и приснодева Мариа; способники же нам и молитвеници к Богу о насъ, препо-

добнии отцы наши, велиции чюдотворцы Сергей и Никон!» [94,254]. Эта общая молитва с просьбой о защите построена на основе синтаксического параллелизма, придающего тексту отчетливый ритм, который усиливается использованием однородных эпитетов, соединенных союзом «и».

Следующие молитвы, обращенные к Богу и Богородице, проносятся Иоасафом (в главе «О молитве архимарита и всех сущих во осаде») в начале осады. Они объясняют события как кару за грехи и содержат просьбу о помиловании, используя евангельский текст «Не приидох праведных спасти, но грѣшники призвати на покаяние» [94,258] (Ср.: Мф 9:13, Мк 2:17, Лк 5:32). В первой молитве архимандрит полагается на заступничество преподобных Сергия и Никона, а во второй вспоминает об обещании, данном Богородицей, по свидетельству Жития преподобного Сергия, хранить его обитель и по его кончине, и умоляет о покровительстве монастырю.

Во время напряженных семидневных боев упоминается о молитве архимандрита со всем освященным собором и приводится ее фрагмент, использующий текст Псалтири 78:10, появлявшийся в Пространной повести о Куликовской битве и Сказании о Мамаевом побоище: «Господи Боже, помози нам, конечнѣ погибающим, и не отрини людий твоих до конца, и не дай же достояния твоего в поношение злым еретикомъ, *да не рекуть: «Гдѣ есть надежда их, нанѣ же уповают?»*, но да познают, яко ты еси Богъ нашъ, Господь Иисус Христос, в славу Богу Отцу, аминь» [94,262].

Молитва звучит в видении обитателям монастыря, в котором преподобный Сергей призывал их собраться в храм на молитву. Они увидели, как после призыва преподобного Сергия «Святыи же архиепископъ Серапионъ, въздѣвъ свои руцѣ, и возопи: «О всепѣтая Мати, рождшиа всѣхъ святыхъ святѣйшее Слово! Нынѣшнее приношение приемши, от всякия напасти избави всѣхъ и грядущая изми муки, вопиющая: аллилуйа!» [94,280].

Таким образом, все просительные молитвы в повести о защите, а не о даровании победы, что соответствует реальному ходу событий. При этом автор подчеркивает, что эти молитвы, как правило,

произносятся не одним человеком, а обитателями монастыря во главе с архимандритом. Все молитвы вводятся с указанием на выражение чувств: «с плачем и рыданием», «со слезами восклицающе», «от среды сердца стонанием и рыданием», «со слезами глаголюще».

В последней главе «Слово благодарственно за вся чудотворения божия иже быша во обители чудотворца Сергия молитвами его. Творение того же келаря инока Авраама», которая представляет собой лирико-риторическое заключение произведения, содержатся три пространные похвальные молитвы: преподобному Сергию Радонежскому, Богоматери, преподобным Сергию и Никону. Обращение к Богоматери содержит риторическое восхваление, основанное на анафорическом построении («Благословенна... Блажена...») и использует множество метафорических эпитетов. В двух других молитвах звучат личные мотивы: преподобного Сергия автор просит дать ему достойные слова для восхваления, а к двоим святым обращается с просьбой молить Всевышнего о прощении грехов всех людей и его собственных. Положение этих фрагментов в конце произведения обычно для житий, но не характерно для воинской повести, где молитву после битвы обычно произносил не автор, а главный герой-князь.

Особенности молитв в «Сказании» Авраамия связаны и с реальным ходом событий, и с последовательным использованием в воинском повествовании житийных элементов, и с усилением интереса к чувствам обычных людей. Главная функция молитв та же, что и в предшествующих памятниках, – выражение упования на Божью помощь, которая дается достойным и без которой не может быть одержана победа над врагами.

Итак, проследив основные черты молитв в воинских памятниках, можно сделать следующие выводы:

- молитвы связаны с осмыслением событий, а во внелетописных повестях последовательно отражают основную мысль произведений;
- количество молитв во внелетописных повествованиях увеличивается по сравнению с летописными текстами;

- расширяется круг персонажей, чьи молитвы передает автор, шире используются молитвы, произносимые группами лиц;
- молитвы последовательно вводятся в текст произведений упоминанием чувств, жестов персонажей;
- эмоциональность молитвенных текстов создается широким применением риторических приемов, тропов, библейских цитат, некоторые из которых становятся устойчивыми для данного жанра, ретроспективной исторической аналогии.
- в отдельных случаях молитва может включать элементы двух других малых лирических жанров: плача и похвалы.

2.1.2. Поэтика и роль плачей в воинском повествовании

Древнерусские плачи привлекали к себе внимание небольшого круга исследователей. Основополагающим трудом в изучении жанра стал раздел «Лиро-эпические плачи в древнерусской литературе» монографии «Очерки поэтического стиля Древней Руси» В.П.Адриановой-Перетц. Темы плачей, согласно наблюдениям исследователя: «скорбь по умершем... горестная судьба, разлука, военное поражение... бедствия разоренного войной города или государства» [96,135]. Главной проблемой, рассмотренной в монографии, стало происхождение древнерусских книжных плачей и воздействие на них народной причеты и библейско-византийских текстов. В.П.Адрианова-Перетц определяла плачи как лиро-эпический жанр.

Упоминания плачей князей и горожан встречаются в воинских повестях, написанных в разных землях и в разное время. Темы их – военные поражения и судьба разоренных русских земель и жителей, взятых в плен. Они могут быть краткими и пространными, но в них изначально заложено эмоциональное начало. В «Повести временных лет» упомянут плач киевлян о киевском князе Изяславе, погибшем в битве на Нежатиной Ниве: «и не бѣ лзѣ слышати пѣнья в плачѣ велицѣ и воплѣ, плакася о немъ весь городъ Киевѣ» [37,193]. Даже в этом кратком сообщении используются эмоционально выразительные средства: синонимы (плач и вопль), повтор однокоренных слов (плач, плакася), эпитет «велик».

Подобным образом в Киевской летописи упоминается плач Руси о поражении войска Игоря от половцев, в котором используется неточная библейская цитата, придающая эмоциональность тексту: «И тако во день святаго воскресения наведе на ня Господь гнѣвъ свои, в радости мѣсто наведе на ны плачь и во веселье мѣсто желю на рѣцѣ Каялы» [37,642-643] (ср.: «и превращу праздники ваши въ жалость и вся пѣсни ваша въ плачь» – Ам. 8:10).

В Лаврентьевской летописи в повести о разорении татарами Владимирской земли дважды появляются упоминания плачей: сначала князей и горожан – «Всеволодъ и Мстиславъ с дружиною своею и вси гражане плакахуся зряще Володимера», взятого в плен, а во время приступа к городу упоминается плач всех жителей: «И бысть плачь великъ в градѣ, а не радость, грѣхъ ради нашихъ и неправды» [46,462], вновь используются антитеза, напоминающая библейский текст, и эпитет «велик».

В аналогичном тексте по Никоновской летописи о плачах говорится еще в двух эпизодах: узнав о взятии Москвы и гибели людей, собираясь на битву, «князь велики же Юрьи Всеволодичъ слышевъ то, и **плакавъ** много со владыкою Митрофаномъ, и со княгинею своею, и з дѣтми и з боаря своими, **слезы многи пролиаша**, и вниде въ церковь... и бысть **плачь велий** во градѣ, и не бѣ слышати другъ ко другу глаголюща **въ слезахъ и въ рыдании**» [42:10, 106-107]. Перед захватом Владимира татарами князя, владыка, воевода, бояре и люди «**возплакашеся плачемъ велимъ**, и внидоша вси въ церковь пречистыя Богородици соборную... и бысть **кричание, и вопль и плачь велий** во градѣ» [42:10, 108]. В летописи XVI в. усиление эмоциональности определяется использованием слов с корнем «плач», синонимов, тавтологии и повтора эпитета «велий».

Дважды упоминаются плачи в повести о междоусобной битве на Липице по большинству списков Никоновской летописи: когда Юрий с Ярославом прибежали с поля боя, «бысть плачь велий» [42:10,74]. После сообщения о том, что в битве погибло много славных новгородцев, сказано: «и плакася о нихъ намного князь Мстиславъ Мстиславичъ» [42:10,75].

В краткой повести о нашествии Тохтамыша на Москву в Тверском сборнике есть упоминание плача Дмитрия, увидевшего разоренный город: «...князь великий Дмитрей поиха на Москву, и видѣ изгыбель нача **плачь великъ** и **горко стогнание**» [41,442]. Несмотря на краткость всей повести, автор подчеркивает печаль князя использованием синонимических сочетаний.

Таким образом, можно отметить некоторые устойчивые приемы в упоминаниях плачей: эпитет «велик (велий)», отсылку к цитате из книги пророка Амоса, а также тавтологию, нагнетание однокоренных слов, синонимию.

Помимо упоминаний, встречаются описания плачей с передачей их содержания в форме косвенной речи. В Галицко-Волынской летописи так представлен плач жителей, которым предстояло погибнуть, в повести о Сендомирском взятии 1261 г.: «и бысть **плачь** великъ и рыдание, мужи **плакахуся** свѣрьстьницъ своихъ, матери же **плакахуся** чады своихъ, брать брата, и не бысть кто помилуя ихъ» [37,854].

В более поздних повестях, написанных в конце XIV–начале XV в., эта форма становится пространнее и эмоциональнее. Так повесть о нашествии Тохтамыша в редакции Рогожской и Симеоновской летописей содержит приведенное выше пространное описание плача с помощью ряда из 28 существительных [39,145].

В повести о нашествии Едигея по Московскому летописному своду конца XV в. находим распространенное описание плача: «Отци и матери **плакаху**, зряще чад своихъ *разбиваемых* и *умерщвляемых*, тако же и чада **рыдаху** разлучения от родитель своих, и не бысть **помилующаго**, ниже **избавляющаго**, ни **помогающаго**. И бысть тогда въ всеи Руской земли всемъ христьяномъ туга велика и **плачь неутешим** и **рыдание** и **кричанье**, вся бо земля пленена бысть начень от земли Рязаньские и до Галича и до Белаозера, вси бо подвизашася и вси смутишася, многы бо напасти и убыткы всемъ человекомъ здеашася и болшим и меншим и ближним и далним, и не бысть такова, иже бы без убытка быть, но вси в *тузе* и *скорби* мнозе и *печалью* одержими» [47,326]. Содержание плача жителей раскрывается через описание автором положения русских городов. Средства, использованные

в этом описании, те же, что встречались в упоминаниях плачей, но более насыщены: это цепочки синонимов и однородных членов, анафоры, постпозиция прилагательных, синтаксически параллельные конструкции. Появляется новый эпитет к слову «плач» – «неутешим».

Собственно литературными формами плачи становятся в воинских повестях нечасто. Один из первых примеров – плач Ярополка Изяславича по убитом отце, который помещен вслед за упоминавшимся плачем киевлян о князе после битвы на Нежатиной Ниве: «Ярополкъ же идяше по немъ плачася съ дружиною своею: «Отче, отче мои, что еси бес печали пожил на свѣтѣ семь. Многи напасти приемъ отъ людѣи и от братья своя. Се же погипе не от брата, но за брата своего положи главу свою» [37,193]. В конце плача слышится отзвук библейского текста: «...болши сея любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя» (Лк 15:13).

Яркий образец жанра – плач Игоря, плененного во время неудачного похода 1185 г. против половцев, приведенный после упоминания общего плача русских земель. Этот плач передает чувства и мысли героя, оценивающего причины поражения своего войска. Первая часть содержит покаяние в грехах: Игорь оплакивает свое участие в междоусобицах, рисуя картину бед, которые он принес мирным жителям Переяславской земли, и рассматривая свое поражение как кару за них. Во второй части он оценивает собственное положение – полководца, потерявшего ближайших родных и войско, попавшего в плен к врагам. Финал речи Игоря превращает плач в молитву, ибо он обращается к Господу с просьбой о милости. В плаче использованы эмоционально-риторические и поэтические средства: метафорические образы («и все смятено плѣномъ и скорбью тогда бывшую», «лютыя и немилостивыя раны подъяша» [37,643], «се нынѣ вижу другая мучения вѣнца приемлюще» [37,644]), риторические вопросы, дополненные анафорой («Гдѣ нынѣ возлюбленыи мой братъ? Гдѣ нынѣ брата моего сынъ? Гдѣ чадѣ роженія моего? Гдѣ бояре думающеи? Гдѣ мужи храбѣющеи? Гдѣ рядъ польчнии? Гдѣ кони и оружя многоцѣнная?» [37,643]), ряды однородных членов («Тогда бо не мало зло подъяша безвиннии хрестъани, отлучаеми отецъ от роженіи своих, братъ отъ

брата, другъ от друга своего и жены отъ подружии своихъ и дщери от материи своихъ и подруга от подругы своеа» [37,643]). Ритмический характер текста создается с помощью синтаксического параллелизма, парных сочетаний, постпозиции прилагательных.

В ННЛ текст повести о приходе Батыя на Рязань заканчивается эмоциональным авторским плачем: «И кто, братье, о семь не поплачется, кто ся нас осталъ живыхъ, како они нужную и горкую смерть подъяша. Да и мы то видѣвше устрашилися быхомъ и грѣховъ своихъ плакалися съ въздыханиемъ день и ночь; мы же въздыхаемъ день и ночь, пекущиеся о имѣнии и о ненависти братьи» [16,75].

В повести о Куликовской битве по ННЛ описан плач мирных жителей, проводивших своих близких в поход: «и бысть в градѣ Москвѣ туга велика, и по всѣмъ его приделомъ плачь горкъ, и гласъ и ридание, и слышано бысть, сиречь высокыхъ, Рахиль же есть дыхание крѣпко, плачущися чадъ своихъ и великимъ рыданиемъ, въздыханиемъ, не хотя утѣшиться, зане пошли с великимъ княземъ за всю землю Русскую на остраа копыа. Да кто уже не плачется женъ онѣхъ рыдания и горкаго ихъ плача?» [78,315-316]. Четыре раза используются однокоренные слова с корнем «плач», в одном случае с новым эпитетом «горкъ», дважды приводится синоним к ним «рыдание». Эти средства эмоционально усиливают настроение перед появлением краткого плача женщин, «каждо к собѣ глаголаше: «Увы мне, убогаа наша чада! Уне бы намъ было, аще бы ся есте не родили, за сиа злострастныя и горкия печали вашего убиинства не подняли быхомъ; по что быхомъ повиннѣ пагубѣ вашей?» [78,316]. В тексте использованы мотивы, характерные для плачей по убитым, но этот плач произносится в то время, когда воины только отправились в поход, исход которого неизвестен, однако матери уже оплакивают сыновей как погибших.

В повести о нашествии Тохтамыша на Москву в ННЛ пространный плач о погибших произносит церковь: «плачется церкви о чадѣхъ церковныхъ, паче же о избѣенныхъ, яко матере о чадѣхъ плачущеся» [78,336]. В плаче отчетливо просматривается ритм однородных членов, выдерживается принцип синтаксического параллелизма с анафорой («О, чада церковнаа! О страстотрѣпци избѣении, иже нужную кончину

подъясте, иже нужную смерть притрыпѣсѣ от огня и меча, от поганныхъ насильства!»; «Вси лежать, вси уснуша и почиша, вси посѣчени быша и избѣени быша...» [78,336]). Широко используются риторические вопросы, восклицания, обращения, парные сочетания синонимов, гомеотелевты на основе именных сочетаний («Церкви стоящи не имуще лѣпоты ни красоты...Гдѣ четци и пѣвци? где клиросници, церковници?... нѣсть зовущаго ни тѣкущаго... ни слышати славословіа и хвалословения, не бысть въ церквахъ стихословіа и благодарения» [78,336]). Примечательно, что, хотя говорится о плаче церкви, в середине него слышится авторский голос: «Увы мнѣ! страшное се слышати, страшнѣе же тогда было видѣти; грѣси же наши то намъ сътворили» [78,336]. Текст этой редакции повести не случайно некоторые исследователи связывают с деятельностью Епифания Премудрого, поскольку структура и стилистика текста напоминают написанные им жития, в частности, плач церкви есть в «Житии Стефана Пермского».

В повести о битве на Липице в редакции Тверского сборника авторское отступление о величии победы, содержавшееся в ранних редакциях повести, превращено в плач благодаря введению картины последствий битвы и эмоциональной авторской реплики (см. с. 54).

Эмоциональность плача автора поддерживается описанием плача горожан во Владимире и Суздале, выражающего горе простых жителей: «Бысть же **плачь неутѣшимъ** въ Володимерѣ и въ Суждалѣ, **плачуще** стари немощей дѣтей своихъ, а жены мужей своихъ, а малии отцевъ своихъ и братий; не бѣ бо такого двора, идѣже бы **кричания и выпля** не было, и странно бѣ видѣти челоуѣкы изъопухша отъ слезъ» [41,323]. Экспрессия фрагмента усиливается ритмизацией текста с помощью синтаксически параллельных элементов, использования повторов и синонимов.

Соединение женского плача с молитвой появляется в рассказе Никоновской летописи о сборах Ивана IV в поход на Казань. Царь произносит наставление царице Анастасии, утверждая мысль о том, что гибель за православную веру не есть смерть, но жизнь вечная, и прося жену пребывать во время его похода в духовных подвигах и молитвах. Летописец изображает состояние царицы в этот момент: «...уязвися

нестерпимою скорбию и не можаше отъ великие печали стояти, аще не бы благочестивый царь свою супружницу своимъ руками удръжалъ, хотяше бо пастися на землю, и на многъ часъ безгласна бывши и плакася горко; и егда возможе отъ великихъ слезъ удръжати и проглаголати государю благочестивому царю...», Анастасия произносит плач: «Ты убо, **благочестивый** государю мой, заповѣди хранишь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, еже ти хотящу *душу свою положити* за православную вѣру и за *православныхъ* христiane, азъ же како стерплю отшествие своего государя? *Или кто ми* утолить горкую сию печаль? *Или кто ми* принесетъ и повѣдаетъ великую сию *милость* отъ Бога на **благочестивомъ** моемъ государѣ, яко **благочестивый** царь всея Руси самодръжець отъ *всемиловитаго* и вседръжителя Бога *милость* получи и съ всѣмъ своимъ *христолюбивымъ* воинствомъ брався съ нечестивыми и одолѣти и на свое царство здравъ възвратися?..» [42:13,185]. Затем плач переходит в молитву, обращенную сначала ко Господу, а затем к Богородице с просьбой о милости и победе.

Плач этот интересен прежде всего необычностью ситуации, в которой он появляется. Он адресован супругу, собирающемуся в поход, и содержит горестные размышления о будущей разлуке и надежду на благополучное окончание военных действий благодаря милости Божьей. Эмоциональное его наполнение разнообразнее, чем в предшествующих образцах летописных плачей. В тексте использованы анафорические конструкции, подчеркивающие печаль царицы, повторы однокоренных слов, одного и того же слова, синонимов, отражающих мысль о том, что поход находится под покровительством Божиим, так как предпринят против неверных православными христианами.

Подводя итоги, нужно отметить, что в летописных воинских повестях плачи появляются в трех основных формах: упоминание, описание с передачей содержания и введение текста плача. Упоминаются и описываются чаще всего плачи групп персонажей, а приводятся плачи отдельных лиц, в том числе авторские. Эмоциональность всех форм создается системой лексических повторов, синтаксических средств, использованием библейских реминисценций. Устойчивым эпитетом, вводящим данную жанровую форму, можно считать плач «велик

(велий)», позднее появляются и повторяются эпитеты «неутешим» и «горец». Эпические включения в текст плачей нечасты и невелики по размерам.

Формы плачей во внелетописных повестях и обширных воинских повествованиях XVI-XVII вв. те же, что в летописях, но соотношения их иное, со временем увеличивается количество текстов плачей и сокращается число упоминаний. Упоминаний плачей больше всего в «Повести о разорении Рязани Батыем», о времени создания которой мы придерживаемся точки зрения, высказанной Д.С.Лихачевым [97], хотя споры о датировке памятника продолжаются [98; 79,436-456;99].

Автор рассказывает о том, что князь Юрий, узнав о гибели сына и всего посольства в стане Батыя, «нача *плакаться*, и с великою княгинею, и со прочими княгинями, и з братиею. И *плакашеся* весь град на много час, и едва отдохнув от великаго того *плача и рыдания*» [100,142]. Эмоциональность всенародного оплакивания молодого князя подчеркивается рядом однокоренных слов и синонимами.

Ингварь оплакивал погибших родных «*плачем великим во псалмов и пѣсней мѣсто: кричаще велми и рыдаше... и плачася безпрестано*» [100,150]. Упоминание плача князя вновь содержит синонимы, характерные и для летописных повестей, а затем кратко сказано об общем плаче: «Не бѣ бо во граде пѣния, ни звона: *в радости мѣсто всегда плач творяще*» [100,150], в упоминании которого содержится отзвук также использовавшейся в летописных повестях цитаты из книги пророка Амоса.

В момент выступления в поход Дмитрия в Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» упоминается плач княгини Евдокии: «уже бо конечное *зрѣние зрѣть* на великаго князя, слезы льючи, аки рѣчную быстрину» [92,33]. В этом фрагменте появляются тавтология и сравнение слез с рекою, характерное и для устнопоэтической, и для книжной традиции.

Второе упоминание плача в этом памятнике соединяет печаль и радость: «Събранымъ же людемъ всѣм, князь великий ста посреди ихъ, плача и радуся: о убиенных плачется, а о здоровых радуется» [92,47].

В «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.» упоминания плачей носят развернутый характер и сближаются с описаниями, хотя в них не передается прямо содержание плачей. В 14-й день осады города во время страшного боя «также и от *плача* и *рыдания* градцких людей, и жон, и дѣтей, мняшесе небу и земли совокупитися и обоим колебаться, и не бѣ слышати, друг друга что глаголетъ: совокупиша бо ся *вопли*, и *крычания*, и *плач*, и *рыдания* людей, и стук пищальный и звонъ клаколный в един зук, и бысть яко гром велий» [101,226]. «От *вопля же* и *крычания* людцкаго обоих, и от *плача* и *рыдания* градцкаго, и от зуку клаколнаго, и от стуку оружия и блистания мняшесе всему граду от основания превратитися» [101,230]. Во время подсчета убитых после страшного боя «цесарь же бѣ *плача* и *рыдая* непрестааше, видяще падѣние своих людей, а помощи ниоткуда чающе» [101,232]. Парные сочетания «плач и рыдания», «вопли и кричания» становятся топосами для описания чувств людей.

Краткое упоминание плача в памятнике только одно: после гибели стратига Рахкавея «бысть грѣком *плач* и ужась велиа о Рахкавѣ, понеже ратник бѣ велий и мужествѣн и цесарю любим» [101,238].

В «Казанской истории» упоминаний плачей нет. Вновь появляются отдельные упоминания в XVII веке в «Сказании об осаде Троице-Сергиева монастыря» Авраамия Палицына. В главе «О укреплении осады» автор пишет: «и бѣ тоя нощи ничто же ино от градских людей слышати развѣ *воздыхание* и *плачь*, понеже от околних мнози прибѣгше и мнѣвше, яко вскорѣ преминется великая сия бѣда» [94,248]. Когда литовцы начали делать подкопы под стены монастыря, «бысть во граде всѣмъ православнымъ христианомъ *скорбь велика*, и *плачь велик*, и *ужась* ради подкоповъ» [94,270]. Во время эпидемии цинги в монастыре «И о семъ велика бысть радость врагом, литовскимъ людемъ и русскимъ измѣнникомъ, видяще бо всегда погребаемыхъ и слышаше плачъ великъ во градѣ о умирающихъ» [94,308].

Большее значение во внелетописных повестях приобретают описания плачей. В «Повести о разорении Рязани» описание плача Ингваря при виде гибели города: «и жалостно *воскричаша*, яко труба, рати глас подавающе, яко сладкий орган вещающи, и от *великаго кричания*

и *вопля страшнаго* лежаща на земли, яко мертв...» [100,148] – раскрывает состояние князя с помощью сравнений, синонимов, эпитетов, элементов синтаксического параллелизма. В то же время автор не передает содержания плача, которое понятно из контекста.

В «Сказании о Мамаевом побоище» плачи описываются в сцене «испытания примет» Дмитрия Волынца. Воевода рассказывает Дмитрию Ивановичу: «Слышах землю плачущую надвое: едина бо съ страна, аки нѣкаа жена, напрасно плачущися о чадѣх своихъ еллинскимъ гласом, другаа же страна, аки нѣкаа девица, единою възопи велми плачевнымъ гласом, аки в свирель нѣкую, жалостно слышати велми» [92,40]. Эти плачи, хотя и сравниваются с человеческими, но принадлежат земле, олицетворенной в этом фрагменте, и выполняют необычную для жанра символическую функцию знамений, предсказывая ход событий.

Значительно шире используются описания плачей в «Казанской истории». Рассказывая о предательстве Махметемина, который решил, по совету злой жены, перебить всех русских купцов и жителей казанской земли, автор повествует: «Вездѣ превзыде вифлиомский плачь: тамо бо младенцы закалаху, отцы же и матери ихъ з болѣзнию души оставахуся, здѣ же состарѣвшиися мужи и жены, и юношы младыя, и красныя отроковицы, и младенцы вкупѣ убивахуся» [93,282].

После неудачного похода на Казань Дмитрием Углицкого «велик бысть от тѣх мѣсть плач на Руси, паче того, еже бысть плач о прежнихъ побитыхъ в Казани живущия Руси. Понеже бо ту падоша воинския главы избранныя, княжие и боярские, и храбрыхъ воевод и воинъ главы и тѣла, яко же и на Дону от Мамаа» [93,288]. В этих описаниях используется ретроспективная историческая аналогия, в первом случае с библейскими событиями, во втором с событием русской истории, что подчеркивает значение происходящего и вносит эпический элемент во фрагменты.

Узнав о третьей расправе с русскими в Казани, великий князь Василий Иванович «*многи слезы къ Богу проливая, и по многи дни хлѣба не вкушаше, ядения и пития, и плакашеся Богу о христианстѣй погибели, еже в Казани. Плакашеся* и о царѣ Шигалее, яко той тамо же

погибе: зѣло бо любляше его» [93,294]. В описании раскрывается содержание плача великого князя, эмоциональность которого создается с помощью лексических повторов и элементов синтаксического параллелизма.

Описанием всенародного плача завершается глава, рассказывающая о бедах, принесенных казанцами Руси: «И бѣ скорбь велика в Русской земли и велико стѣнание, и рыдание, и вездѣ произхождаше плач велегласен и горек, и неутѣшим от языка **погана и неправедна**, студа и злобы исполненъ, от челоуѣк, **сердцы милости не имущих**» [93,318]. Ряд синонимов, дополненный эпитетами, описывает горе русских людей, передавая их отношение к врагам.

Изображение состояния и плача казанской царицы Сумбеки и окружающих ее людей в момент ее пленения ведется с использованием значительного количества повторов, эпитетов, сравнений: «... и заразися от рукъ рабынь, поддерживающих ю, о свѣтличный мость и возопи великим гласом *плачевным*, подвизающе с собою на плач и то бездушное каменение. Тако же и честныя жены и красныя девицы, живущия с нею в полатѣ, яко многия горлицы и загозицы, жалобно *плачевныя гласы горкия* во весь град испущаху, издираху лица своя красныя и власы рвуци, и руце и мыжцы своя кусающе. И *восплакася* по ней весь двор царевъ: велможи и властели вси, и царския отроцы. И слышащей плач той стицахуся ко цареву двору, такоже *плакахуся и кричаху неутѣшно*» [93,360].

Описывается с передачей содержания плач казанских женщин в тот момент, когда русские воины ворвались в Казань: они «*вопиху... и горко плакахуся велми*», просили мужей выйти навстречу царю, покорившись, «изшедше со младенцы своими на руках держаще, и самым имѣ руцѣ свои желѣзы и ужи привязавше, и в рубища раздранная одѣянным» [93,448] – ради того, чтобы сохранить жизнь хотя бы детям.

Упоминания плачей связаны с изображением горя русских людей, описываются и плачи врагов, побеждаемых русскими воинами.

Самой распространенной формой во внелетописных воинских повествованиях было включение текста плача.

Плачи сосредоточены в последней части «Повести о разорении Рязани», рассказывающей о приходе в город князя Ингваря Ингваревича, оплакивании и похоронах погибших. Здесь появляется авторский плач: «Кто бо не *возплачетца* толикаа погибели, или хто не *возрыдает* о селице народе людей православных, или хто не *пожалит* толико побито великих государей, или хто не *постонет* такового пленения» [100,148]. Чувства автора передаются средствами, использованными и другими формами плачей, но синтаксический параллелизм в данном случае выдержан более последовательно, а синонимия представлена разнообразнее.

Обширный плач Ингваря при виде убитых на поле боя вводится подробным описанием его чувств: «*воскрича горько велием гласом*, яко труба распалаяся, и в персьи свои рукама биюще, и ударяшесе о земля. Слезы же его от очию, яко поток, течаша и *жалосно вещающе...*» [100,150]. Описание содержит изображение состояния героя через внешние проявления: жесты и звуки, с использованием сравнений. Пространный плач, обращенный к убитым братьям, выражает горе от гибели всех родных, от одиночества и желание умереть вслед за братьями. Появляется и мысль о бренности и скоротечности земного существования, которые в полной мере ощущает Ингварь: «Многим землям государи были есте, а ныне лежите на земли пусте, зрак лица вашего изменися во истлѣнии» [100,150]. Плач построен на основе риторических вопросов и восклицаний, в нем появляются метафорические образы: «Цветы прекрасныи, винограде мои несозрѣлы...», «Солнце мое драгое, рано заходящее! Месяци красныи, скоро изгибли есте! Звѣзды возточныа, почто рано зашли есте?» [100,150]. Кроме этого, используется уже упоминавшаяся антитеза, восходящая к Библии: «... за веселием плач и слезы приидоша ми, а за утѣху и радость сетования и скръбь яви ми ся!» [100,150] (Ам.8:10). Обращение к силам природы напоминает народные причитания: «О земля, о земля! О дубравы! Поплачите со мною!» [100,152]. В этом случае возникает сочетание двух форм: описания плача и его текста, что усиливает эмоциональное впечатление.

В Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» нет столь обширных плачей: они принадлежат князьям, одержавшим победу,

соответственно не так трагичны выражаемые ими чувства. Первый плач связан с эпизодом поисков великого князя после Куликовской битвы. Владимир Андреевич Серпуховской «нача плакати и кричати, и по плѣком ѣздити начать сам и не обреть... И рече: «Аще *пастырь пораженъ – и овцы* разыдутся. Кому сиа честь будетъ, кто побѣдѣ сей явится?» [92,45-46]. Традиционные библейские образы дополняют сообщение о плаче и помогают передать чувства князя, не нашедшего брата на поле боя.

Два плача принадлежат Дмитрию Ивановичу. Пришедший в себя после битвы князь «нача з братом своимъ и съ оставшимися князи и вьводами ѣздити по боишу, *сердцем боля кричае, а слезами мыся*, и рече: «Братиа, русскыя сынове, князи и бояре, и вьведовы, и дѣти боярьскыя! Суди вам Господь Богъ тою смертию умерети. Положили есте главы своа за святыя церкви и за православное христианство» [92,47]. Описание плача с помощью выразительных метафор, передающих горе героя, сопровождается включением текста плача, в котором сочетается сожаление о погибших и восхищение их подвигом.

При виде убитого боярина Бренка, с которым Дмитрий обменялся доспехами перед боем, «князь великий прослезися и рече: «Брате мой возлюбленный, моего ради образа убиень еси. Кий бо рабъ можетъ господину служыти, яко меня ради самъ на смерть смыслено грядыше? Вѣстинну древнему Авису подобень, иже бѣ от плѣку Дарьева Перскаго, иже и сей тако сътвори» [92,47]. В этом плаче, как и в предыдущем, появляются риторические обращение и вопрос. Князь приводит ретроспективную историческую аналогию поступку своего боярина, сохранившуюся только в «Сербской Александрии» [90,404]. В обоих фрагментах сочетаются элементы плача и похвалы. Такое соединение уже встретилось в «Сказании» в упоминании о плаче великого князя, что говорит о последовательном совмещении двух противоположных по эмоциональному настрою лирических жанров. Все три плача, приведенные текстуально, предваряются описанием состояния князей, их душевных движений, то есть, как и в «Повести о разорении Рязани», вновь встречается сочетание двух форм плача.

В «Повести о взятии Царьграда турками» помещен авторский плач перед взятием города, в котором повествователь, вспоминая о прошлом божественном покровительстве, упоминал о грехах, приведших к падению города: «О, велика сила грѣховнаго жала! О, колико зла творит преступление! О, горѣ тобѣ, Седмохолмий, яко погани тобою обладают, ибо колико благодатѣй божиих на тебѣ восияша, овогда прославляя и величая паче иных градов, овогда многообразне и многократнѣ наказая и наставляя благими дѣлы и чюдесы преславными, овогда же на врагы побѣдами прославляя, не престааше бо поучая и къ спасению призывая и житѣйскимъ изобилиемъ утѣшая и украшая всячески! Тако же и непорочная мати Христа Бога нашего неизреченными благодѣянии и неизчетными дарованми помиловаше и храняше во вся времена. Ты же, яко неистовен, еже на тебѣ милость божию и щедрот отвращашеся и на злодѣяние и беззаконие обращаешся. И се нынѣ открыся Гнѣвъ божий на тебѣ и предасть тебѣ въ руце врагом твоим. И кто о сем *не восплачется или не возрыдает!*» [101,64]. Из семи предложений, составляющих этот текст, четыре представляют собой риторические восклицания. Использованы парные сочетания синонимические или дополняющие друг друга по смыслу: «прославляя и величая», «многообразне и многократне **наказая и наставляя благими делы и чюдесы преславными**», «поучая и... призывая», «утѣшая и украшая», «помиловаше и храняше», «не восплачется или не возрыдает», которые порой создают морфологическую рифму, усиливая эмоциональное воздействие.

Наибольшее количество плачей включено в «Казанскую историю», что связано и с большим объемом произведения, и с тем, что плачи произносят и русские люди, и враги. Включение плачей врагов обусловлено прежде всего новым отношением автора к человеку. Пробыв, по его словам, двадцать лет пленником в Казани, он находился в добрых отношениях с казанским царем и вельможами. Вероятно, наблюдения привели его к мысли о единстве человеческой природы и о том, что враги Руси способны так же проявлять чувства, как русские люди.

Первый плач, который приведен автором, принадлежит казанскому царю Махметмину, изменившему московскому государю и по-

раженному проказой [93,288-290]. Он считает болезнь наказанием, посланным ему за измену московскому царю, положившемуся на его верность. Махметемин оплакивает свое преступление и перечисляет все блага земные, которые у него были и которые не могут спасти его. Плач оформлен рядами однородных членов, синтаксически параллельными конструкциями, риторическими восклицаниями, эпитетами и сравнениями.

Глава «О плѣнении казанцев на Рускую землю и о осквернении от них святых божиих церквах и наругание християномъ» [93,312] по содержанию представляет собой рассказ о нашествиях казанцев на русскую землю и бедах, принесенных ими русским людям. По форме это плач автора о несчастьях, перенесенных Русской землей, построенный с использованием традиционных приемов.

Глава начинается авторским вступлением: «И како могу сказати или исписати напасти тоя грозныя и тучи страшныя русским людем во времена те! Страх бо мя побѣждаетъ, и сердце ми горить, и плачь смущаетъ, и сами слезы текутъ изю очию моею! И хто убо тогда, о вѣрнии, изрещи можетъ бывшии великия бѣды за многа лѣта от казанцевъ и от поганя черемисы ихъ православным християном паче Батыя» [93,312-314]. За рассуждением автора о том, что казанцы постоянно разоряли русские земли, не давая «покоя християном и тихости на всяк часъ», следует пространное обобщенное повествование о разорении и насилиях, чинимых врагами.

Повествовательная часть сопровождается риторическими восклицаниями, эмоциональность которых подчеркнута анафорическим междометием «О!», выразительными метафорическими эпитетами и синтаксическим параллелизмом: «О жестокия сердца! О каменные утробы ихъ! *О солнце, како не померче и сияти не преста! Како луна не преложиша в кровь, и звѣзды, яко листвие от древес, на землю како не низпадоша!* (Ср. Иоиль 2:31, Мф. 24:29, Деян.2:20, Откр. 6:12-13) О земле, како стерпѣ таковая и не разверзе устъ своихъ, и живых не пожре беззаконникъ тѣх, и во адъ не низведе ихъ!» [93,316]. В Апокалипсисе образы изменения светил связываются со снятием шестой печати, предвещающим явление антихриста, что соответствует авторскому

пониманию современных ему событий: жестокость казанцев должна вызвать неизбежное падение грешного царства, которому предшествуют вселенские катаклизмы. После этого фрагмента автор вновь возвращается к бедам, принесенным врагами, рассказывая в том числе о насильственном обращении русских людей в мусульманство и убийстве непокорных.

Эта глава представляет собой предельное распространение авторского плача. В нем последовательно сочетаются лирические и эпические элементы, что характерно и для двух плачей последней «вольной» казанской царицы Сумбеки, которые раскрывают ее внутреннее состояние в момент, когда она оказалась не самовластной правительницей, а пленницей московского князя.

Первый плач включен в главу «О изведении царицы и сына ея» [93,358]. Он обращен Сумбекой к покойному мужу Сапкирею и произнесен в мечети, где он был похоронен. В нем содержится целый ряд традиционных мотивов плача об умершем: ранняя смерть супруга, краткость жизни, желание умереть, чтобы соединиться с покойным и избежать жизни в плену, одиночество и беспомощность, беспокойство о судьбе малолетнего сына, смена радости печалью.

Композиционно плач организован с помощью анафорического восклицания «Увы мне!», которое начинает каждую новую мысль, изложенную с помощью риторических вопросов, восклицаний, обращений, в ритмической форме, организованной приемом синтаксического параллелизма, оборотами с однородными членами, синонимичными или дополняющими друг друга по смыслу: «... и на землю чюжую не иду в поругание, и в посмех, и во иную веру в чюжую, и во язык незнаемая люди» [93,362], анафорой: «Увы мнѣ! Царица твоя бѣх иногда, нынѣ же горкая плѣнница! И госпожа именовахся всему царству Казанскому, нынѣ же убогая и худая раба! *И за радость и за веселие плач и слезы горкия постигоша мя, и за царскую утѣху стѣование болѣзненное и скорбныя бѣды обыдоша мя* (ср. Ам.8:10, Плач Иер. 5:15), иже бо плакатися не могу, ни слезы текутъ из очию моею, *ослѣпоста бо очи мои от безмѣрныхъ и горкихъ слезъ моихъ* (Ср. Плач Иер. 2:11), и премолче глас мой от многого вопля

моего» [93,364]. В приведенном отрывке в перефразированном виде звучат библейские образы, первый из которых можно считать топом для плачей в воинских повестях.

Второй плач Сумбеки помещен в главе, рассказывающей о ее выходе из Свияжска, и обращен к Казани. Начало его повторяет обращение, использованное в Апокалипсисе по отношению к Вавилону: «Горе тебѣ, градѣ кровавый! Горе тебѣ, градѣ унылый...» [93,366] (ср. Откр. 18: 10,16,19). Сходны и образы, использующиеся далее: город представляется овдовевшей царицей (ср. Плач Иер.1:1), а значительная часть обоих текстов строится на основе противопоставления былого обилия, богатства, радости и нынешней нищеты, страдания, горя. Сумбека плачет: «...Яко жена худа и вдова, являешися, осиротѣв... И се восплачися со мною, о всекрасный граде, и воспомяни славу свою, и праздники, и торжества своя, и пиршества и веселия всегдашня!.. Вся та нынѣ изчезоша и погибоша, и в тѣх мѣсто быша в тебѣ многонародная стѣнания, и воздыхания, и плачевѣ, и рыдания непрестанно» [93,366-368] (ср. Откр. 18:7,8).

Царица предсказывает гибель городу, утверждая, что со смертью царя он был обречен. Используются яркие образные средства: олицетворенная Казань сравнивается со зверем, не имеющим головы. Метафоры характеризуют настоящее состояние города: «уже спаде вѣнец со главы твоея» (Ср. Плач Иер. 5:16), «раб еси, а не господинъ» [93,366], «нынѣ же в тебѣ людей твоих крови проливаются, и слез горящих источники лиются и не изсякнут» – и прошлое: «Тогда в тебѣ рѣки медвенныя и потоцы винныя тецаху» [93,368].

В то же время Сумбека вновь оплакивает свою судьбу пленницы, жалуясь, что ей не суждено окончить свою жизнь ни в Казани, ни у отца в Ногайской земле, ибо негде ей взять «птицу борзолѣтную и глаголющую языком человеческим», чтобы послать весть родным.

В тексте используются анафора, антитеза, последовательно выдерживаемые синтаксически параллельные конструкции, риторические приемы. Этот плач выполняет наряду с эмоционально-выразительной и необычную для лирического жанра символическую функцию, предсказывая скорое падение города.

Царица Анастасия, провожая Ивана IV в поход, произносит плач, который повторяет основные мысли и отчасти стилистику плача, помещенного Никоновской летописью, который, вероятно, и послужил источником текста в «Казанской истории»: «И *восплакася горце*, и едва мало воздержавшись и *возможе от великих слез проглаголати*: «*Ты убо, о благочестивый мой господине царю, заповѣди Божия храниши и тишишия единъ паче всѣх душу свою положити за люди своя. Аз же, свете мой драгий, како стерплю на долго разлучение твое от мене, или хто ми утолитъ мою горкую печаль? Или кая птица во един час прилѣтит и долготу путя того и возвѣстит ми слаткую вѣсть здравия твоего, яко ты с погаными брався и одолѣти возможе?»* [93,400].

Плач в «Казанской истории» последовательно сокращает текст летописи, снимая официальные титулования, заменяя отдельные слова более разговорными, а также становится более личным, выражая не столько заботу царицы о благополучном походе царя со всем воинством и надежду на Божью помощь в нем, сколько заботу жены о жизни мужа, отправляющегося в дальний и трудный поход. Изменению тональности плача способствуют использованное в «Истории» обращение-метафора «свете мой драгий» и образ птицы, которая могла бы принести весть о муже. Характерно, что в обоих случаях приведенные плачи прямо переходят в молитвы о победе.

Дважды появляются в «Казанской истории» краткие плачи казанских матерей. В первом плаче в начале осады Казани они просят сыновей пощадить их старость и собственную юность и смириться с московским царем [96,448]. Во втором плаче, произнесенном уже в конце осады, матери напоминают о первом своем плаче, в котором они молили покориться московскому царю, и упрекают сыновей в немилости к ним [93,468].

Две главы (81 и 82) передают плачи казанцев, произнесенные после того, как русские воины вошли в город. Три небольших плача в главе 81 «Плачь и уничижение к себѣ казанцев и убиение князя Чапкуна» [93,464] принадлежат группам горожан, в страхе бегущим по улицам города. Первый плач они произносят «и кличющи, и ревущи сами к себѣ», оплакивая гибель сильного войска и свою участь. Текст наполнен метафо-

рами, олицетворениями, риторическими восклицаниями, и организован анафорическим междометием «О!»: «И днесъ мимо иде день добраго жития нашего, и зайде красное солнце от очию нашею, и свѣтъ померче. О горы, покрыйте нас! О земле мати, раздвигни уста своя нынѣ скоро и пожри нас, чад своих, живых (ср. Откр. 6:15-16, 12:16), да не видимъ горкия смерти сея, внезапно со единого пришедшия вдруг на всѣх нас!» [93,464]. Другие отвечают им плачем, в котором используется образ смертной чаши: «...приидоша бо они к нам, гости немилыя, и наливают нам пити горкую чашю смертную, ея же мы иногда часто почерпахомъ имъ, от них же нынѣ сами тая же горкая пития смертная неволею испиваемъ и кровь их излилася на нас и на чада наша» [93,464]. Третий плач вплетается в обращение к предателю князю Чапкуну, удерживавшему казанцев от сдачи города. Обвиняя его, они оплакивают свое неразумие, сожалея о том, что не послушались матерей и жен, уговаривавших их сдаться московскому царю. Плач содержит повторяющиеся эмоциональные восклицания «Увы!» и «Горе нам!»

Плач казанцев, обращенный к московскому царю, помещен в главе 82 «Моление и смирение казанцев» [93,466]. В нем значительны эпические элементы: казанцы вспоминают измены своих предков и свои собственные по отношению к московским князьям, зло, причиненное за много десятилетий Русской земле. Они оплакивают свою судьбу, вспоминая, что послушались князя Чапкуна и теперь погибают из-за этого. Помнят они о прорицаниях будущего покорения Казани Москве, которые были, по их словам, еще до рождения царя, но они не слушали их из-за своей гордыни. Плач содержит мольбу к царю: «Ныне же, самодержче великий, да буди царствуя по нас и владѣя Казанью мирне и многолѣтне, и во вѣки царствуя» [93,468]. В первую часть плача вплетается похвала царю, его силе и могуществу: «...велику царю, и богату, ему же многи царства и земли подлежахуть, безчисленни дары носяще, и князи самодержавни работают, и волнии царие служат, повинувшеся, паче многих царей славою и силою, и богатством превозходящему, ему же точных во вселенной не обрѣтается» [93,466]. Так повторяется форма плача-похвалы, появившаяся в «Сказании о Мамаевом побоище».

Пространный текст плача сопровождается описанием состояния казанцев: «И *плакаху* казанцы *плачемъ великим*, раздираючи в тугах на себѣ ризы своя и объимающе отцы сынов своих, матери же чад своих, проливающе *слезы горкия*» [93,468].

В воинском повествовании XVII в. тексты плачей занимают незначительное место, в памятниках этого времени преобладают молитвы. В «Сказании Авраамия Палицына» приводятся краткие плачи детей, матерей и братьев, оплакивающих убитых, выходивших из монастыря добывать дрова [94,334]. Это одиночные реплики, начинающиеся восклицанием «О!» и обращением к кому-то из близких, в которых выражается весь ужас положения осажденных, жизнь которых покупается гибелью родных.

«Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» содержит образец плача-молитвы казаков, в котором значительны именно элементы плача. Он обращен к Иоанну Предтече и Николаю Чудотворцу и содержит сетования казаков на тяжесть осадного положения: «Поморили насъ безсониемъ; дни и нощи безпрестани с ними мучимся. Уже наши ноги под нами подогнулись, и руки наши от обороны уж не служатъ нам, замертвели. Уж от истомы очи наши не глядятъ, ужъ от беспрестанной стрелбы глаза наши выжгли, в них стреляючи порохом. Языкъ ушъ нашъ во устнах наших не воротитца на бусурманъ закрывать. Таково наше безсилie: не можемъ в руках своих никакова оружия держать! Почитаем мы ужъ себя за мертвой труп» [102,170-171]. Плач сходен с народным причитанием, и это сходство подчеркивается использованием гипербола.

Таким образом, плачи широко распространены в воинском повествовании на всех этапах его развития, их появление связано со стремлением авторов оценить ход событий и передать чувства персонажей. Изначально все формы плачей оформлялись риторическими средствами.

В процессе развития воинского повествования менялось соотношение разных форм введения плачей. Если в ранних летописных повестях преобладали упоминания плачей как мотив, то во внелетописных воинских повествованиях XIV–XVI вв. самой распространенной

формой становится включение текста плача, которое сопровождается к тому же экспрессивным описанием чувств персонажа.

С течением времени расширяется круг героев, произносящих плачи (поначалу это чаще всего князя, затем жители русских городов и повествователи, позже появляется значительное число женских плачей и плачи врагов Руси), и круг их адресатов: это не только погибшие родные и соотечественники, но и гибнущий город, и даже предводитель врагов.

В текстах плачей значительное место наряду с выражением чувств начинает занимать воспоминание или обобщенный рассказ о событиях, что привносит в лирический жанр эпические элементы.

В некоторых случаях к плачам присоединяются мотивы или композиционные элементы других малых лирических жанров – похвалы и молитвы, в результате возникает синтезированный жанр, передающий более многообразные чувства и мысли.

Круг использованных художественных средств со временем также расширяется: наряду с появившимися уже в ранних летописных плачах риторическими приемами и устойчивыми эпитетами начинают использоваться библейские аллюзии, ретроспективная историческая аналогия, широкий круг разнообразных эпитетов, сравнений и метафор. Благодаря этому все формы плачей становятся более эмоциональными.

2.1.3. Особенности жанра похвалы

Похвала – один из лирических жанров древнерусской литературы, направленный на восхваление лиц или событий, выражающий радостные эмоции. Помимо похвальных слов, существующих как отдельные тексты, оформленные по законам риторики, наиболее распространены некрологические похвалы в летописях и похвалы, завершающие жития.

В составе летописных воинских повестей похвала появляется довольно поздно и используется редко. Возможно, причина этого явления заключается в религиозно-символическом понимании событий как свершающихся по Божьей воле, лишь орудием которой выступали русские князья и воинство в случае победы над врагами. Похвала

в православном миропонимании вообще опасна, ибо связана с гордыней, именно поэтому чаще всего она посвящалась умершим князьям или почившим святым, поскольку в этом случае не таила в себе опасности для ее объекта.

Формы похвалы в воинском повествовании сходны с формами плачей: это упоминание, передача содержания в косвенной форме и включение собственно текста похвалы как определенной жанровой формы.

Зарождение элементов жанра можно наблюдать в летописных повестях в прямых характеристиках князей, которые давали летописцы в связи с военными событиями. Как правило, они либо содержали перечисление качеств героя, либо использовали библейские цитаты в функции характеристики, иногда объединялись оба компонента. Похвала могла исходить от автора и реже от персонажа произведения.

Так в Киевской летописи под 1136 г. помещена повесть об усобицах Ярополка с Ольговичами, в конце которой летописец размышляет о поступке Ярополка, собравшего против Ольговичей большое войско, но решившего не начинать кровопролития: «приемъ рассмотрение въ сердци не изиде на нь противу ни створи кровопролитья, но убо-яся суда Божия ство/ри/ся мнии в нихъ (ср. Лк 22:26), хулу и укоръ приа на ся от братъе своя и от всехъ по рекшему: любите враги ваша (Мф. 5:44, Лк 6:27,35) и створи с ними миръ въ 12 генваря и целовавше хрестъ межю собою», и «такъ утѣши **благоумнии** князь Ярополкъ брань ту лютую» [37,299-300]. Летописец толкует решение героя как исполнение евангельских заповедей, подчеркивая его качества ссылкой на библейский текст и сложным книжным эпитетом. Элемент похвалы включен в повествование, сопровождаемое авторским рассуждением.

В Суздальской летописи повествование 1149 г. о битве у Луцка между Юрием Долгоруким с братом и сыновьями и Изяславом Мстиславичем с Владимиром выдвигает на первый план фигуру Андрея Юрьевича как отважного и опытного воина, в то же время уговорившего отца заключить мир, когда о нем просил Изяслав, чтобы не губить русских земель, хотя не все союзники Юрия были согласны с этим решением. Князь изображается через действия в бою, прямую речь, а затем

упоминается похвала ему, высказанная боярами Юрия: «и мужи отни похвалу ему даша велику, зане мужьскы створи паче всѣхъ бывших ту» [46,325].

В летописной статье 1176 г. по тому же своду содержится повесть о походе Михалки и Всеволода на Владимир, чтобы восстановить завещанное отцом престолонаследие. В ней третья часть представляет собой авторский монолог, который содержит похвалу храбрости владимирцев, не испугавшихся силы правящих князей и выполнявших божественную волю: «Мы же да подивимся чюдному и великому и преславному Матере Божья како заступи градъ свои от великихъ бѣдъ и гражаны своя укрѣпляетъ, не вложи бо имъ Богъ страха и не убоюшася князя два имуще въ власти сеи и боляръ ихъ прѣщенья ни во что же положиша, за 7 недѣль безо князя будущи в Володимери градъ толико возложше всю свою надежу и упованье к святѣи Богородицѣ и на свою правду» [46,377].

В повести 1207 г. о походе Всеволода Юрьевича против Ольговичей, приведших половцев на Русь, превознося Константина Всеволодовича как хорошего сына, автор приводит искаженную цитату из Книги притч Соломоновых: «яко рече Приточник: сынъ быхъ послушливъ отцю и възлюбленъ предъ лицомъ матере своея и сынъ коваренъ послушливъ отцю и плода праведнаго снѣсть» [46,430] (ср.: Пр. 10:1,5; 13:1, 15:20, 17:21). При этом автор не подтверждает свои слова текстом, а подбирает цитату так, чтобы она сама раскрывала мысль.

В СИЛ элемент похвалы появляется в рассказе о битве на реке Липице в 1216 г. Боярин Юрия, предлагающий заключить мир с Мстиславом, Константином и новгородцами, подчеркивает воинскую доблесть противников: «да князи мудри суть и рядни, и хоробри, а мужи ихъ новгородьци и смолняне дерзи къ боеви. А Мъстислава Мъстиславича и сами вѣдаета в томъ племени, оже дана ему от Бога храбрость изъ всѣхъ» [50,266].

В повести о Куликовской битве по НІВЛ наблюдаем риторическое оформление похвалы Дмитрию, хотя она остается краткой: «О крѣпкыя и твердыа дерзости мужество! О, како не убоися, ни усумняся толика множества народа ратныхъ? Ибо всташа на нь три земли, три рати:

первое – Тотарьскаа, второе – Литовьскаа, третье – Рязанскаа. Но обаче всѣхъ сихъ не убоися никако же, не устрашися, но еже к Богу вѣроу въоружився, и креста честнаго силоу укрѣпився, и молитвами Пресвятыя Богородица оградився, и Богу помолися...» [78,318]. Риторические восклицание и вопрос, синонимия, синтаксически параллельные конструкции, морфологическая рифма создают эмоциональность фрагмента, представляющего собой похвалу-рассуждение автора.

В той же летописи упоминается похвала воинству, произнесенная Дмитрием, передается ее содержание с помощью однородных членов и эпитетов, выстроенных в синтаксически параллельные ряды: «И паки христолюбивыи князь похвали дружину свою, иже крѣпко бишася съ иноплеменики, и твердо бравшеся, и мужески храброваша, и дерзнуша по Бозѣ за вѣру крестьянскую» [78,323].

Необычный элемент похвалы содержит повесть о нашествии Тохтамыша в НВЛ. Это похвала Москве, предшествующая плачу о разорении города и последовательно построенная на основе триад однородных членов: «И бяше дотолѣ преже видѣти была Москва **градъ великъ, градъ чудень, градъ многочловѣчень**, въ немже множество людей, въ немже множество огосподьства, въ немже множество всякого узорочья; и паки въ единомъ часѣ измѣнися видѣние его...» [78,336]. Эмоциональность этой похвалы подчеркнута лексическими повторами, анафорой, синтаксическим параллелизмом и контрастом, который она составляет последующему плачу.

В рассказе о взятии Казани Иваном Грозным в Никоновской летописи появляются фрагменты, соединяющие молитву и похвалу. Сразу после завоевания Казани «... князь Владимиръ Андрѣевичъ и вси бояре и воеводы здравствовали государю: «радуйся, царю православный, Божиюю благодатию побѣдивый сопостаты! Буди, государю, здравъ на многие лѣта на Богомъ дарованномъ тебѣ царствѣ Казаньскомъ! Ты еси во-истинну по Бозѣ нашъ заступникъ отъ безбожныхъ Агарянь, тобою нынѣ бѣдныи христиане свобожаются на вѣки и нечестивое мѣсто благодатию освящается; и впредь у Бога милости просимъ умножити лѣта живота твоего, и покорить всѣхъ сопостатъ твоихъ подъ нозѣ твои и дать ти сынове наслѣдники царству твоему, да и мы въ

тишинѣ и покои поживемъ» [42:13, 213]. Похвала-здравица, обращенная к царю, переходит в молитву о даровании ему новых благ.

Благодарственная молитва Богу от всех людей, произнесенная во время входа царя в побежденную Казань, включает традиционную для летописных воинских повестей похвалу, содержащую перечисление качеств царя: «Благодаримъ Тя Владыку Христа, иже въ нынѣшнемъ родѣ послѣднемъ сиа чюдесная содѣлавша, въ темномъ мѣстѣ, въ запустѣнной мерзости свѣту твоему истинному въсиавшу, вмѣсто сквернаго Магмета и его прелестниковъ крестъ свой животворящий и образъ свой пречюдный намъ грѣшнымъ показавшу, и иноплеменный родъ съ царями ихъ безвѣсти сѣтворивше въ единѣ часъ. Слава Тебѣ, Царю Владыка нашъ Христе, въ Троицы славимый, *давый намъ такова государя христианомъ царя въ послѣднее время, якоже прежнихъ царей благочестивыхъ, храбра и мужественна и въ заповѣдехъ твоихъ живуще и благоразсудна, милостива, длготерпѣлива съгрьшающимъ и отъ враговъ насъ избавляюща*» [42:13, 220].

Речь митрополита Макария к царю после возвращения его из Казанского похода по существу тоже представляет обширную похвалу, перечисляющую и личные качества царя («неотложную... вѣру и чистоту и любовь нелицемѣрную и разсужение благоразсудное и храбрость и мужество и цѣломудрие»), и его деяния («добрѣ подвизася противъ сопостать твоихъ нечестивыхъ царей и клятвопреступниковъ Татаръ Казанскихъ», «показаль еси великии подвизи и труды, подщалься еси данный ти талантъ умножить (Ср. Мф.25:14-30), а разъхищенное стадо паствы твоея свободить отъ работы» [42:13,226] (Ср. Ин 10:11-16), «избавиль насъ отъ нахожения варварскаго», «бѣдную братию нашу плѣненную отъ работы свободы» [42:13,227]. При этом весь текст речи пронизан мыслью о том, что только Божья помощь и заступление сделали возможной победу над врагом и даны царю в награду за его богоугодную жизнь. Поэтому Макарий также приводит ряд аналогий с правителями, которым была дарована Божья помощь: Константином, Владимиром Крестителем, Дмитрием Донским и Александром Невским. Заключительная часть представляет собой здравицу

царю с обращениями «радуйся» и «здравствуй» и пожеланиями «на многа лѣта». Эта речь представляет собой самый обширный образец похвалы в летописном воинском повествовании, использующий риторические приемы, библейские цитаты, тропы.

Таким образом, формирование жанра похвалы в летописных воинских повестях шло от простого перечисления качеств или деяний героя с минимальной эмоциональной оценкой к риторически оформленным текстам, использующим тропы и ярко выражающим отношение героев либо автора. В XVI в. похвала может соединяться с молитвой.

Более разнообразными были похвалы, включавшиеся в нелетописные воинские повести. Обширный фрагмент, условно именуемый «похвалой роду рязанских князей», содержит «Повесть о разорении Рязани Батыем». Она напоминает некрологические летописные похвалы, но отнесена не к одному князю, а ко всему семейству рязанских князей. Первая ее часть, своеобразное вступление, содержит перечисление разнообразных положительных качеств героев, и христианских, и мирских: «Бяше родом христолюбивый, братолюбивый, лицом красны, очима светлы, взором грозны, паче мѣры храбры, сердцем легкы, к бояром ласковы, к приеждим привѣтливый, к церквам прилежны, на пированье тщивый, до осподарских потех охочи, ратному дѣлу вельми искусны, к братье своей и ко их посолником величавы» [100,152-154].

Затем следует фрагмент, более подробно разрабатывающий мотивы, намеченные во вступлении, который напоминает житийные тексты. В нем развиваются топосные для агиографии мотивы благородного рождения, благочестивого воспитания, любви к Священному Писанию, целомудренного брака, прилежания в посте и молитвах, милостыни и даже обращения в истинную веру иноверцев. Уделяется внимание, хотя и меньшее, защите земли и веры, причем автор дважды проводит эту мысль.

Образ князей, созданный похвалой, напоминает образы святых князей-воинов в житиях Александра Невского и особенно Дмитрия Донского.

Эмоциональность похвалы определяется рядами однородных членов, фигурой синтаксического параллелизма, анафорой, метафорами и метафорическими эпитетами. В частности, единство славного рода подчеркивается метафорой божественного сада: «Святого корени отрасли и Богом насажденаго сада цвѣты прекрасныи» [100,154].

В Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» краткую похвалу произносят князья и воеводы Дмитрию: «Радуйся, князю нашъ, дрѣвний Ярославъ, новый Александръ, побѣдитель врагомъ: сиа же побѣды честь тобѣ довлѣеть» [92,46].

Киприановская редакция «Сказания о Мамаевом побоище» (XVI век) содержит похвалу Пересвету, напоминающую летописные тексты, в отрывке, рассказывающем о поединке: «бе же сей Пересвет, еда в мире бе, славный богатырь бяше, велию силу и крепость имея, величеством же и широтою всех превзыде, и смысен зело к воиньственному делу и наряду» [106,64], а затем в перечислении погибших в битве: «бе же сей удалецъ и богатырь славенъ зело и смысленъ къ воиньственному делу и наряду» [103,68].

В то же время в этом памятнике встречаем соединение благодарственной молитвы с восхвалением победителя. Митрополит Киприан при встрече князя сначала обращается с благодарностью к Богу, Богородице и Святителю Петру, а затем произносит похвалу Дмитрию: «Како же тебе прославим, господине, мой възлюбленный о Христе сыну, великий княже Дмитрие Иванович, новый Константине, славный Владимире, дивный Ярославе, чюдный Александре? Кое ти благодарение и честь и славу въздадим, яко толико подвижася и трудися за все православное христианство?» [103,70]. Прием, лежащий в основе похвалы, – риторический вопрос «как прославлю?» – использовался в житиях в стиле «плетения словес», а ряд ретроспективной исторической аналогии уподобляет князя равноапостолам и защитникам христианства. Примечательно, что каждое имя сопровождается эпитетом, подчеркивающим эмоциональное отношение автора к персонажам, которое акцентируется также рядом однородных членов во втором предложении.

Авторская похвала в этой редакции напоминает помещенную в Пространной летописной повести и продолжается благодарственной молитвой, обращенной ко Христу, Богородице и Святителю Петру, то есть композиционно представляет собой зеркальное отражение молитвы-похвалы Киприана. Сходны и приемы в этих двух текстах: вновь появляются риторические вопросы и восклицания, синонимия, эпитеты, синтаксически параллельные конструкции: «О великия и крепкия ревности мужества твоего, великий княже Дмитрие! Какое не утратиши и не убояся ити за Донъ, в поле чисто, противу великих сил татарских! И како сам прежде всех начя битися! И како разсекаше измаилтянь!» [103,71]. Переход к молитве происходит с помощью упоминания о том, что все это было совершено с помощью Божьей и святых.

Наиболее многочисленны похвалы в «Казанской истории». Они посвящены историческим лицам – главному герою Ивану IV, его служилым князьям: касимовскому хану Шигалею и Симеону Микулинскому – и двум важнейшим пространственным центрам – городам Москве и Казани.

Первая часть похвал царю и его воеводам содержит, как и в летописных повестях, перечисление качеств героев, при этом в финальной похвале Ивану IV, как и в похвале роду рязанских князей, используется житийный топос проявления в детстве несвойственных ребенку качеств. Вторая часть в разных формах эмоционально оценивает деятельность героев. Примечательно, что посмертная похвала произнесена только в адрес Симеона Микулинского, два других героя восхваляются прижизненно.

Похвалы городам произнесены в важнейшие моменты их истории: освобождения Москвы от золотоордынского ига и превращения Казани в христианский город. В обеих похвалах первая часть обращена к олицетворенному городу, а вторая носит эмоционально-оценочный характер. При этом важными приемами становятся антитеза и световая символика.

В главе «Похвала граду Казани» проходит противопоставление Казани мусульманской и христианской, выраженное, в частности,

через символику света и тьмы. В старой Казани «темная вера», «царство темное», новая Казань «яко солнце красное от темных облакъ произшед, от прелести тоя провосия, всю страну ту лучами благовѣрія просвещаеши», «свѣтло торжествуй» [93, 484], церкви «пресвѣтло сияюще» [93, 486].

Трехчленные цепочки однородных членов часто создают глагольную рифму: «ты же нынѣ ново православием **просветися** и Божественными храмы **обновися** и, яко младенець, **породися**», «и **почитаему** быти от него и **любиму** и **славиму**» [93, 484], «и Рускую землю **продолжающуюся** и **разширяющуюся** и народа людьми **умножающуюся**» [93, 486]. Ассонансы и аллитерации усиливают эмоциональное воздействие текста: «граде прекрасный», «от Бога благословен», «просвещение прияша», «православием просвѣтися», «от прелести тоя провосия», «избави тя от варварскаго державства и жертв служения», «великою славою словяше» [93, 484], «преизообиловаше Божия благодать», «благовонный фимиянь в воню благоухания», «на молбы и моления» [93, 486] и др.

Эта похвала прямо отражает замысел автора, поскольку, с его точки зрения, именно в преображении Казани из «нечестивого» в «благодатный» город и состоит значение победы Ивана IV.

Таким образом, во внелетописных воинских повестях похвала, сохраняя как основу перечисление качеств героя, приобретает новые черты. Шире используется ретроспективная историческая аналогия, тропы и риторические фигуры, а в «Казанской истории» жанр приобретает определенную композиционную структуру.

Итак, малые лирические жанры в ранних воинских повестях, как правило, кратки, а появление их ситуативно обусловлено, они имеют более или менее определенное композиционное место. Со временем растет их количество, а их положение в воинском повествовании становится более свободным.

Эмоциональный характер всех малых жанров создается широким применением разнообразных художественных средств. Прежде всего, это риторические приемы: обращения, восклицания, вопросы, часто дополненные анафорой, синонимическими повторами, ритмически

организованные с помощью синтаксически параллельных конструкций, однородных членов. В тексты активно включаются библейские цитаты, ретроспективная историческая аналогия с событиями и персонажами библейской и мировой истории. Для молитв основным источником и образцом становится Псалтирь, в плачах и похвалах используются также цитаты из пророческих книг, Евангелий и Апокалипсиса. В текстах раннего времени из числа тропов преобладают традиционные книжные эпитеты, в более поздних широко используются также метафоры и сравнения.

Развитие всех рассматриваемых жанров шло в направлении усиления эмоциональности, вызывавшего расширение системы художественных средств; увеличения круга субъектов лирических жанров и усложнения их содержания, использования приемов, свойственных агиографии. Все это приводило к явлениям жанрового синтеза, свидетельствующим о поиске новых форм в литературе XVI-XVII вв.

2.2. Функционирование символических жанров в воинском повествовании

В составе древнерусских текстов встречаются устойчивые элементы, которым средневековые авторы иногда давали названия видений, чудес, знамений, а иногда включали в произведения, не называя их. В современной науке нет строгих терминологических определений этих литературных форм, между тем постоянное функционирование этих элементов в литературе требует определения их основных признаков и условий бытования.

2.2.1. Своеобразие жанра видений

Жанр видений – один из самых древних и распространенных в древнерусской литературе, существовавший внутри первичных и объединяющих жанров и в виде самостоятельных произведений. Фундаментальные исследования жанра представлены трудами Н.И.Прокофьева [104;105;106;107], который на материале произведений эпохи Смуты, имеющих яркую публицистическую направленность, выделил пять

основных компонентов видений: «1) молитва или раздумье видящего, после чего он обычно впадает в «тонок сон»; 2) появление чудесных сил, которые, сообщая видящему «откровение», разрешают какой-либо вопрос и призывают к действию; 3) испуг видящего; 4) смысл «откровения»; 5) приказание о проповеди среди народа «откровения» [105,37]. Исследователь также указал на «преобладание зрительной и слуховой поэтической манеры в раскрытии образов» [106,29-44]. В последнее время к осмыслению особенностей жанра обращалась Е.К.Ромодановская, привлекая материал сибирских видений XVII-XVIII веков, что позволило ей проверить и дополнить выводы, сделанные Н.И.Прокофьевым [108].

Наше определение жанра таково. Видение – это символический жанр, объект которого – явление реальным людям божественных персонажей, пророчествующих о ходе событий, призывающих к определенным действиям, или своим появлением предвещающих дальнейшие события (речь не идет о видениях рая и ада, достаточно широко рассматривавшихся исследователями и представляющих собой особый жанр или разновидность его).

В воинских повестях до XVI в. видения редки. Происхождение их, видимо, связано с житиями, которые с XIV в. вводятся в летописи. Один из первых таких случаев наблюдаем в СЛ, где текст жития Александра Невского разбит по соответствующим летописным статьям и в рассказе о Ледовом побоище появляется видение «полка Божьего» на воздухе. В той же СЛ и в НВЛ аналогичное видение помещено в так называемой Пространной повести о Куликовской битве, где оно развернуто и живописно. Тайнозрители в обоих случаях абстрактны, а из полной структуры жанра присутствует только само описание видения.

Видение Фоме Кацибею в Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», вероятно, связано с видением Пелугию перед Невской битвой в «Повести о житии Александра Невского». И в том, и в другом случае видение дано обычным людям – один из них недавно крещенный, живущий богоугодно воин, другой – разбойник, поставленный в ночную стражу за его мужество, которому видение

явлено «для уверения». Являются обоим Борис и Глеб, в первом случае прямо говорящие о том, что они идут на помощь Александру, во втором случае «изсекающие» врагов. В житийном памятнике святые названы по именам, из внешних их примет указано, что они «въ одеждах чръвлєныхъ, и бѣста руки дрѣжаща на рамѣхъ» [109,360]. Появление персонажей в «Сказании» сопровождается природными явлениями: до их описания упомянуто, что Фоме, стоявшему на высоком месте, было дано «видѣти облакъ от вѣстока великъ зѣло изрядно приа, аки нѣкакиа плѣки, к западу идушь» [92,40-41]. Затем сообщается, что «От полуденныя же страны приидоша два юноши, имуща на себѣ свѣтлыи багряница, лица их сияюща, аки солнце, въ обоихъ рукахъ у них острые мечи» [92,41]. Только из последующей молитвы Дмитрия Ивановича становится ясно, что это Борис и Глеб.

Не вполне реализована композиционная форма жанра: нет сообщения о молитве тайнозрителей перед видениями и их «тонком сне», обоим видения явлены как бы наяву; упоминание о «трепете» тайнозрителя есть только в первом случае, разъяснения смысла откровения нет ни в том, ни в другом. В обоих текстах князя приказывают скрыть видения от всех, а не проповедовать их. Такая структура жанра говорит о том, что особенности его в произведениях, связанных с военной тематикой, только складываются в эту эпоху. Оба видения выполняют свойственную жанру символическую функцию предсказания хода событий и принадлежат к тому типу, в котором нет прямого общения между тайнозрителем и небесными посланниками: он видит их и слышит их голоса, но к нему не обращаются.

В повести Московского летописного свода о походе Ивана Васильевича на Новгород в 1471 г. видение Божьих полков во время битвы, появившихся в тылу новгородских войск, было дано новгородцам, но рассказ о нем помещен после битвы, новгородцы упоминают о страхе, охватившем их при виде необычного вражеского войска и заставившем обратиться в бегство. Видение отличается ярким изобразительно-звуковым описанием. Оно по-прежнему не имеет полной композиционной структуры, но выполняет не сим-

волическую, а мотивирующую функцию, ибо рассказ о нем объясняет неожиданное бегство новгородцев с поля боя от меньших сил москвичей.

В XVI в. количество и художественное разнообразие видений в произведениях воинской тематики увеличивается. Например, в Киприановской редакции «Сказания о Мамаевом побоище» появляется видение митрополита Петра двум воинам из полка Дмитрия, которое, вслед за видением Фоме Кащибею, предвещает исход Куликовской битвы.

Разнообразнее становятся тайнозрители видений: в произведениях XVI-XVII вв. ими могут быть не только православные люди, но и иноверцы: татары, турки. Персонажи видений могут обращаться к тайнозрителям, или смысл видения по-прежнему может раскрываться только через их действия.

Святыми, являющимися русским людям в связи с осадами как вражеских, так и русских городов, чаще всего оказываются преподобный Сергей Радонежский и Николай Чудотворец.

Култ Святителя Николая, как отмечено исследователями, развился на Руси очень рано. Он почитался как спаситель бедствующих и погибающих, защитник странствующих, покровитель земледелия, домашних и диких животных, привратник Небесного Града. Култ этот со временем усиливался. «Борьба русского народа против татаро-монгольского ига, которую возглавила Москва с XIV века, способствовала постепенному усилению воинской ипостаси культа...» [110,25]. К XVI в. этот процесс активизируется, особенно с ростом славы чудотворного образа Николы Можайского, отразившего именно «воинскую ипостась» небесного Защитника Русской земли» [110, 27].

Преподобный Сергей Радонежский почитался покровителем русских воинов с эпохи Куликовской битвы, на которую он благословил Дмитрия Донского и исход которой предсказал. Кроме того, ему, в соответствии с сообщением жития, было явлено видение Богоматери, обещавшей покровительство его обители, которое часто вспоминали в эпоху Смуты в связи с защитой Троице-Сергиева монастыря от поляков, поэтому Богородица тоже выступала в XVII в. как защитница-персонаж видений.

«Казанская история» поставила в центр рассказа о Божественном покровительстве казанскому походу Ивана Грозного именно этих святых. В повествование об осаде Казани в 1552 г. включены три главы о видениях: две – Св.Николая, и одна – преподобного Сергия.

В первом эпизоде тяжело раненный воин перед смертью в «тонком сне» видит, что с востока к 12 апостолам, стоящим в «светѣ на воздусѣ» приходит «муж свѣтел, стар» [93,444]. Апостолы приветствуют Св.Николая, просящего их молиться Христу, чтобы православие воцарилось в Казани, и затем они вместе с ним молятся Богу. Христос не явлен воину – в ответ на молитву святых слышится «глас... от востока с небесе» [93,444]. Святые благословляют город и исчезают. Воин, «страхом великим одержимъ» [93,446], поведав виденное духовному отцу и воинам, бывшим с ним, умирает. В тексте нет молитвы перед видением и последнего компонента, по типу он близок к упомянутым ранее: воину явлены небесные силы, но они не обращаются к нему.

Второе видение Св. Николая представляет иной тип: святой обращается к тайнозрителю – воину, который не сразу верит увиденному во сне: в нем святой, назвав себя, приказывает ему идти к царю и сказать, чтобы тот приступил к Казани в день Покрова Пресвятой Богородицы. Боярин не идет к царю и никому не рассказывает сна, считая его ложным. И только после повторного видения он сообщает все самодержцу.

Повторное видение одному и тому же человеку – сюжетный ход, усиливающий значимость эпизода и в то же время несущий на себе определенную психологическую нагрузку, ибо тайнозритель «мняше сон зримое, а не истинно видѣние, и мечтание помышляше, и умолча, и никому же того повѣда того дня» [93,446]. Эта психологическая деталь оправдана: в жанре видений тайнозритель – «благочестивый человек, удостоившийся откровения», воин мог не поверить в свою избранность, тем более что видение не только предсказывало будущую победу, но и побуждало к действию, указывая день, в который нужно было начать битву за Казань. Таким образом, если первое видение имело исключительно символическое значение, то второе выполняло и сюжетную роль, приближая действие к развязке.

В обоих видениях используется прямая речь, позволяющая передать живое общение персонажей видений между собой, либо с тайнозрителем, а изображению героев придан живописный характер. Этому способствует настойчивое указание на свет, окружающий персонажей, явленных в первом видении, а также элементы портрета: «... Над градомъ *сияющий* велий *свѣтъ* и во *свѣте* томъ на воздусѣ 12 апостолъ стоящих. И се прииде к ним от востока муж *свѣтел стар во одежди святительской*, великимъ же *свѣтом сияя*. И поклонися пред апостолы» [93,444]. Немногочисленные черты внешнего облика Св.Николая, упомянутые в этом описании, видимо, оказывались достаточными для его «узнавания» читающими, хорошо знавшими его образ по иконам.

Наряду с видениями Св.Николая в «Казанской истории» неоднократно описываются видения преподобного Сергия Радонежского. Прежде всего его образ связывается с построением нового города на пути к Казани – Свияжска, где был поставлен храм преподобного Сергия и находилась его чудотворная икона. Сразу за рассказом о построении Свияжска следует глава «О бывшем звону на мѣсте том и о чюдотворном явлении Сергия чюдотворца» [93,340-344]. В ней говорится о множестве исцелений от иконы Сергия, которые прославляли новый христианский город и поддерживали мужество русских воинов в походе на Казань. Именно сюда, в «новый град Сергия», приходят старейшины горных черемисов, чтобы перейти на сторону московского царя. Они рассказывают, что еще за пять лет до строительства Свияжска на этом месте часто слышался церковный звон. Посланные черемисами юноши услышали «гласы прекрасно поющих яко во время церковнаго пѣнія, а поющих не видѣша, единого же токмо видѣвше стара каратуна вашего, рекше, калугера, ходяща ту со крестом и на вся страны благословляюще, и кропяща, и с образом яко любующа мѣсто и размѣряюща, идѣже поставитися граду. Мѣсто же то все исполнися благоухания» [93,342]. Посланные юноши пустили стрелы в старца, но те «вверхъ идяху и сходящи с высоты, и сокрушася наполю, падаху на землю» [96,342]. Юноши испугались и убежали прочь, рассказали обо всем правителям. Те подивились и ужаснулись.

У этого видения есть и своеобразное продолжение, тоже в форме видения, в следующей главе: «О волхвѣх, прорицающих взятие Казанское, и о сѣтовании казанских старѣйшин, о гордѣнии их» [93,344-346]. В ней сообщается о том, что не только на месте построения Свияжска было видение, но и в самой Казани «Многажды бо и от велмож нѣщии сами в полудни видяху и жены их, и дѣти, играюще, и градние стражие в нощи того же калугера, по стѣнам казанским града ходяща и крестомъ град осѣняюща, и таковою же водою на четыре страны кропяща, но таяху в себѣ, никому же того повѣдаху...» [93,344]. В этом видении так же, как и в предыдущем, нет первой части, поскольку даны они иноверцам, но есть испуг тайнозрителей, а во втором случае и сокрытие видения. Появляется во втором видении и еще один необычный эпизод – вельможи вопрошают волхвов, и те разъясняют смысл видений, но казанцы не верят им и не слушают их советов покориться московскому царю. Объяснения и советы волхвов представлены в форме их прямой речи эмоционально-риторического характера и служат толкованием смысла видения.

Рассказы о чудесах и видениях преподобного Сергия включены и в повествование о взятии Казани. Видение Сергия помещено вслед за видениями Св.Николая. Некие благочестивые воины видели себя попавшими в Казань, улицы, площади и дома которой выметал старец в монашеской одежде. Светлые юноши спрашивали у старца: «Како святыи Сергий самъ сия твориши, повели убо сия иному измести» [93,446]. Старец же отвечал, что выметет сам, ибо завтра будет в городе много гостей.

Как и предшествующие, это видение имеет ярко выраженную изобразительную основу, создающуюся диалогом Сергия с юношами и портретом святого: «старца видѣша в ветхих ризах чернеческих ходяща, браду же велию и густу сѣду, невелими же долгу имущи...» [93,446]. Немногочисленные детали этого портрета нашли свое отражение и в иконописном подлиннике: «...Сергий чудотворец, подобием сед, брада Афанасиева подоле, на главе схима празелень, риза преподобническая...» [111,59]. После видения автор, забегаая вперед, сообщает, как уже по взятии Казани обнаружилось, что святого часто видели

и казанцы, «явѣ по граду ходяща, и град крестом осѣняюща, и метуща, яко же и преже написано бысть о нем». Думается, неслучайно Сергей в большинстве эпизодов представлен трудящимся: это соответствует тому облику, который был передан его житием и укоренился в народном сознании. Только после этого говорится о сообщении о чудесах Ивану IV, который «заповѣда никому же сих чюдес повѣдати, дондеже на немъ милость Божия совершится» [93,446].

В структурном облике видений заметны, как и в летописных повестях, некоторые отступления от жанрового канона, описанного Н.И.Прокофьевым. Прежде всего, отсутствует первая часть – молитва или раздумье тайнозрителя, не всегда есть четвертая часть – толкование смысла откровения, а пятая часть преимущественно содержит приказание не о проповеди откровения, а о его сокрытии.

В «Казанской истории» появляется редкий образец демонологического видения беса, предсказывающего приход христианства в Казань, которое построено в соответствии с полной схемой жанра.

Необычен в том же памятнике случай пересказа смысла видения, в котором зрительно-слуховые образы отсутствуют. Это видение Ивану IV о месте построения Свияжска, которое выполняет сюжетно мотивирующую функцию: оно приводит к построению форпоста русских войск для следующего похода на Казань. Подобная функция свойственна видениям в произведениях позднего периода, часто сосредоточенным в определенных фрагментах текста, вне зависимости от времени их явления.

В «Сказании» Авраамия Палицына большинство видений, к которым обращался Н.И.Прокофьев, а за ним Л.В.Титова, связаны с двумя святыми покровителями монастыря – Сергием и Никоном.

Первое из видений в воскресенье после утрени увидел пономарь Илинарх, забывшийся сном. Во сне он увидел входящего к нему в келью преподобного Сергия, который предупредил, что к Пивному двору будет приступ литовцев, чтобы воеводы и люди «с надежею дерзали» [94,264]. После этого он «видѣ святого ходяща по граду и по службам, кропяща святою водою монастырская строения» [94,264]. В заключение видения нет ни испуга тайнозрителя, ни приказания о проповеди

или сокрытии видения, а следует эпизод, в котором отбивают приступ к Пивному двору.

Во время очередного приступа к монастырю Сергей явился архимандриту Иоасафу «воздрѣмавшу»: сначала святой молится перед иконой Святой Троицы, а затем обращается к архимандриту с призывом встать на молитву, потому что Господь поможет монастырю. Архимандрит, «одержим страхом многим, исповѣда всей братии» [94,272]. Это видение в наиболее полном виде представляет схему, за исключением первой части, которая только подразумевается.

Вскоре в монастырь пришел перебежчик от Лисовского казак Иван Рязанец и рассказал о видении, которое было казакам в литовском лагере: «Видѣша бо около града по поясу ходящих дву старцов – брады седы, светозарны образом, яко быти имъ по образу и подобию великимъ чудотворцом Сергию и Никону. Един же в руцѣ имѣяше кадилницу злату, а над кадилницею Животворящий Крестъ и кадяще обитель свою и огражаше Честнымъ и Животворящим Крестомъ стѣны града. Другий же имѣяше в руцѣ своей правой кисть, яко кропило, в другой же руцѣ чашу. И кропя святою водою стѣны и прочая вся во обители и поюще своими усты велегласно...» [94,274]. На происхождение деталей облика святых указывали слова рассказчика: образцом описания послужил иконописный подлинник, или, возможно, сами иконы. Преподобный Сергей сходно был представлен, как мы видели, и в «Казанской истории». Однако видно, что Авраамий прибег к большей детализации внешнего облика персонажей, чем автор XVI века.

В дальнейшем описании в образе святого, обращающегося к казакам-сторонникам поляков, появляется мотив света, столь характерный в традиции для персонажей видений: «от лица же его неизреченный свѣтъ сияше, яко огонь паля, и глаголаше ярым гласомъ и жестоко претя...» [94,274]. Речь Сергея, обращенная к казакам, содержит упреки в выступлении против дома Святой Троицы и обещание Божьей кары. Затем автор помещает эпизод, сходный с одним из фрагментов «Казанской истории»: как юноши из горных черемисов, увидев Сергея, пытались стрелять в него из луков, но стрелы падали обратно на землю, не причиняя ему вреда, так казаки и литовцы стреляли в святых

«из луковъ и из самопаловъ», но стрелы и пули возвращались назад и ранили многих стрелявших.

В ту же ночь Сергей явился гетману, панам и ротмистрам, угрожая им вечными муками и явив знамение, в котором все полки литовские тонули в воде. Смысл этого видения объяснил донской атаман Стефан Епифанец: оно обещало гибель литовскому войску. Сам же Стефан с казаками раскаялся и ушел от литовцев, обещая впредь стоять против иноверцев, милостью Сергея и Никона им удалось бежать от погони. Таких развернутых картин видений святого множеству различных людей, с речами к каждой их группе не встречалось до этого в воинских повестях.

Во время обстрела монастыря архимандриту Иоасафу, молившемуся перед образом Богородицы о заступничестве, в дреме явился Сергей, призывая встать и не скорбеть, а молиться, потому что молится о монастыре сама Пресвятая Богородица со всеми святыми. Одновременно Сергей явился другим монахам, призывая их немедленно идти в церковь. Затем увидели, как в церковь вошел Серапион, архиепископ новгородский, и преподобный Сергей обратился к нему со словами: «Отче Серапионе, почто умедлил еси принести моление ко Всесилному Богу и Пречистѣй Богородицы?» [94,280]. В ответ Серапион начал молиться Богородице об избавлении от всяких напастей. Старцы, видевшие это, рассказали архимандриту и воеводам.

Таким образом, видение распространяется и разные его моменты видят различные люди. Явившиеся персонажи обращаются к тайнозрителю и друг к другу. Чтобы подтвердить достоверность этого видения, Авраамий дополняет: «Сиа же старцы вси отидоша къ Богу еще во осадѣ тогда бывши. Принесе же ми о сем писание диакон Маркел ризничей. Аз же, исправив сие, повелѣх написати» [94,280].

Мотив света, свойственный видениям, встречается в описании явления архистратига Михаила, предсказывающего гибель врагам, когда вражеское ядро пробило доску в деисусе возле правого крыла его образа: «лице же его, яко свѣтъ, сияше, и в руку свою имѣяше скипетръ» [94,278]. В рассказе об одной из вылазок защитников монастыря перед их маленьким отрядом видели «воина вооружена, лице же его,

яко солнце, конь же под ним яко молния блистаяся» [94,284]. Оба образа сравнений восходят к Библии, причем первый из них соотносится с тем же объектом (Мф.17:2, Откр. 1:16, 10:1), а второй с иными (Иез. 1:13, 21:10, 21:15, 21:28; Наум 2:4, Мф. 24:27, 28:3, Лк.17:24). Надо полагать, что описанный воин – архистратиг Михаил.

Многие видения, данные во время боев, не называют имен являющихся. Так, Лисовский и его войско после неудачной битвы, в которой им явилось «тмочисленно многое воинство» противника, тогда как было их на самом деле всего двадцать человек, видели, «яко близ полку их ездит старецъ, имѣя в руцѣ своей мечъ обнажен и претя и ему жестоцѣ» [94,290].

Явились Сергей и Никон двум Галицким казакам, которые забирали хлеб из монастырской пекарни и продавали его, причем Сергия казаки видят «на посох поникша лицом» [94,302], а Никон грозит им гибелью.

Сергия видят осажденные – «старца святолѣпна и сѣдинами совершена» [94,304] – он убеждает их не бояться и обещает, что монастырь не будет взят; затем он является пономарю Илинарху, обещая, что царь Василий скоро пришлет осажденным помощь. Тому же Илинарху является преподобный Никон и сообщает, что снег, который выпадет следующей ночью, исцелит всех верящих, а потом ему же преподобный Сергей говорит о том, что послал в Москву трех гонцов, поскольку осажденные горевали, что не могут подать вестъ Василию о положении в монастыре. Свидетельства врагов о трех старцах, выехавших из монастыря, разнились, и некий немощный старец, лежавший в больнице, засомневался об истинности видения Илинарху. И тогда ему тоже явился Сергей, которого он сначала не хотел слушать, пока не исцелился, и тогда «позна чудотворца по образу, написанному на иконѣ» [94,336].

Казачий атаман Андрей Болдырь, бывший на стороне врагов, рассказывая о видении текущей реки, несущей колоды, бурелом, бревна, деревья, поведал, что видел «два старца, сѣдинами украшена, яко снѣгом, и кличуща съ града ко всѣмъ...: «Всѣм вам бѣдным такъ плыти!» [94,330].

Образы святых, явленные в видениях, необычны в произведении и своеобразной «портретностью», помогающей тайнозрителям угадать, кто перед ними, и их непосредственными действиями, направленными на поддержку осажденных. Видения в данном случае не просто символически предсказывают ход событий, что было обычным, но представляют святых как помощников Троицкому монастырю, в практических действиях.

В «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков» происходят существенные изменения в структуре жанра, поскольку видения представлены ретроспективно, а символическая функция заменяется сюжетно мотивирующей. Кроме того, некоторые из видений упомянуты как повторяющиеся.

Так представлено видение Богородицы и Николая Чудотворца казакам. Автор говорит, что в осаде «имели мы, грешные, постъ в те поры и моление великое и чистоту телесную и душевную», поэтому «многие от насъ люди искусные в осаде то видели во сне, и вне сна, ово жену прекрасну и свѣтлолепну, на воздусе стояще посреди града Азова, ини – мужа древна власы, в светлых ризах, взираючи на полки бусурманския» [102,172]. Муж – святитель Николай – только смотрит на врагов. Богородица, сообщает повествователь, «вслух нам многим глаголюще», и приводит пространную речь, объясняющую, что за прегрешения турок против православных Бог дал победу казакам над Азовом и обещает: «не поясть вас никой бусурманской мечъ. Положите упование на Бога, примите венець нетлѣнной от Христа, а души ваши приметь Богъ, имате царствовати со Христом во веки» [102,172]. Все последующие видения служат подтверждением мысли о Божьей помощи казакам.

Как и в двух предшествующих повестях, видения могут быть явлены и казакам, и врагам. Два видения даны туркам. В первом они видят «мужа храбра и млада в одеже ратной, с одним мечемъ голымъ на бою ходяще, множество бусурманъ побиваше» [102,172]. Казаки воина не видели, но понимали, «што дѣло Божие, а не рукъ наших: пластаны люди турецкие, а сечены наполь» [102,172]. Воин, виденный турками, вероятно, архистратиг Михаил, появлявшийся уже в «Сказании» Авраамия Палицына.

Второе видение служит мотивировкой развязки сюжета, но пересказано пленниками уже после бегства турецкого войска от Азова. В нем появляются «два страшные юноши, а в руках своих держать мечи обнаженные, а грозятся на наши полки бусурманские, идущие по воздуху впереди «великой и страшной тучи», которая шла от Руси. В дополнение к этому турки видели еще, как «страшные воеводы азовские во одежде ратной выходили на бой в приступы наши из Азова-города. Пластали нас и в збруях наших надвое» [102,173]. Юноши, которых «узнали» турки, видимо, Борис и Глеб, покровители Руси.

Казакам в ту же ночь, когда турки видели Бориса и Глеба, было дано другое видение: «по валу бусурманскому, гдѣ их нарядъ стоялъ, ходили тутъ два мужа лѣты древны. На одном – одежда иерейская, а на другом – власяница мохнатая. А указываютъ нам на полки бусурманские, а говорятъ нам: «Побежали, казаки, паши турецкие и крымской царь ис таборъ. И пришла на них побѣда Христа, Сына Божия, с небесъ от силы Божия» [102,173]. До этого автор повести неоднократно упоминал о церквах и иконах Николы и Иоанна Предтечи как главных святынях казаков, к которым они обращались с молитвами перед боями и от которых получали помощь. Поэтому детали одежды персонажей, явившихся в видениях, сразу позволяют узнать их. В этом случае в видении отсутствуют два последних элемента, а само видение сообщает о событии, которое уже свершилось, но о котором еще не знают казаки, то есть выполняет не символическую, а скорее, информационную функцию.

Как видим, во всех этих видениях традиционная структура практически разрушена. Не упомянуты молитвы перед видением; нет конкретного тайнозрителя, он коллективный, как и герой произведения; о страхе видящих говорится только по отношению к врагам, нет сведений о проповеди либо сокрытии видения.

Облик являющихся святых описан традиционными немногочисленными чертами, главным образом отмечены особенности одежды, отличающие внешний вид персонажей, возраст и общее впечатление от облика.

Только первое из видений выполняет традиционную символическую функцию, предсказывая ход событий.

Таким образом, в видениях, включенных в воинские повествования, редко реализуется полная композиционная схема. Часто они лишены сообщения о предшествующей явлению небесных сил молитве, не всегда содержат толкование и приказание о проповеди или сокрытии видения. Тайнозрителями в них могут выступать как православные люди, так и иноверцы. В сравнении с видениями в ранней воинской литературе видения XVI-XVII вв. более развернуты за счет живописных и иногда бытовых деталей и тяготеют к группировке, приобретая, помимо символической, сюжетные и идейные функции.

2.2.2. Особенности жанра чудес

Чудеса как особое литературное явление в средневековых литературах как русской, так и зарубежной стали предметом исследования в последние десятилетия [112;113;114;115]. Самая основательная работа об особенностях этого жанра в древнерусских житиях – кандидатская диссертация И.В.Стародумова «Жанровая специфика повествований о посмертных чудесах святых подвижников в составе древнерусской агиографии».

На материале преимущественно житий XV-XVI вв. автор насчитывает 14 жанрово-тематических разновидностей чудес, в том числе выделяет тип чудес-видений, где мотив явления святого играет сюжетообразующую роль. Таким образом, видение рассматривается как один из видов жанра чуда. Эта же мысль вскользь упомянута в работе Е.А.Рыжовой, которая в рассматриваемых ею житиях считает «описание видений частным случаем описания чудес вообще» [116,163]. Такой подход, прежде чем он будет принят, должен быть проверен на репрезентативном материале различных произведений.

Дадим наше определение этого жанра. Чудо – повествование о неожиданном, часто сверхъестественном событии, происходящем по воле Бога и разрешающем какие-либо земные проблемы.

Чудеса в воинских повестях не были таким распространенным элементом, как в житиях. Ранней тематической группой можно считать **чудеса защиты городов и помощи в битвах**. Первый тип их можно охарактеризовать как «видимые». Первое в этом ряду чудо

помещено под 866 г. в рассказе о походе на Царьград киевских князей Аскольда и Дира в «Повести временных лет». В момент осады города цесарь и патриарх Фотий всю ночь молились во Влахернской церкви, а затем опустили ризу Пресвятой Богородицы в море. На море встала буря, которая прибила киевские корабли к берегу, что дало возможность грекам расправиться с большей частью войска. Летописец не дал толкования этому эпизоду, хотя понятно, что оно знаменует в его глазах торжество христиан над язычниками. Чудо защиты христианского города святым покровом Богородицы стоит у истоков цепи чудес, совершающихся по молитвам к Матери Божьей и от богородичных святынь.

В повести о походе русских князей против половцев в 1103 г. рассказано о молитве всех воинов перед выступлением: «Рустии же князи и вои моляху Бога и причистии его Матери овом кутьею, овъ же милостынею къ убогымъ, ови же манастиремъ трѣбованья и сие молящимся» [37,254]. Чудо, явленное в ответ на эту молитву, происходит во время битвы и подробно описывается летописцем: «И велики Богъ вложив жалость велику у Половцѣ, и страхъ нападе на ня и трепеть от лица Русьскихъ вои и дрѣмаху самѣ, и конемъ ихъ не бяше стѣха у ногахъ» [37,254]. Описание состояния половецких воинов мотивирует исход битвы и представляет собой зримое проявление Божьей милости. Рассказав о бегстве половцев, автор подчеркивает значение чуда: «И великое спасенье створи Богъ въ тѣ днь благовѣрнымъ княземъ Русьскимъ и всимъ хрестьяномъ, а на врагы нашѣ дасть побѣду велику» [37,254]. Схема повествования о чуде: молитва – описание чуда – вывод.

В повести о Шаруканском походе 1111 г. чудо описывается еще ярче. Перед началом военных действий князь и воины произносят молитвы, с помощью Божьей побеждают в первой битве половцев, а во втором бою происходит чудо: у половцев «главы летяху невидимо стинаемы на землю» [37,267-268]. Чудо разъясняется рассказом пленных половцев после сражения: «Како можемъ битися с вами, а друзии ѣздяху верху васъ въ оружьи свѣтлѣ и страшни, иже помагаху вамъ» [37,268]. Это чудо служит поводом для появления обширного дидакти-

ческого отступления, с примерами из Священной истории, об ангелах как посланниках Бога, творящих Его волю.

Подобные чудеса можно встретить и в поздних повестях. В «Сказании» Авраамия Палицына «мнози от литовских людей видѣша двою старцовъ мешущихъ на нихъ плиты и единомъ вержением многихъ поражающе, камене же изъ нѣдръ емлюще, и не бѣ числа метанию ихъ. Отъ поляковъ же выходцы о семъ возвѣстиша въ дому чюдотворца» [94,292]. В бою осажденные одержали победу, принеся гибель множеству врагов, которые побежали, «гонимы гнѣвомъ божиимъ». Таким образом, «видимый» тип подразумевает изображение чуда как определенного процесса и иногда непосредственного действия небесных сил.

В ранних летописных повестях содержатся **чудеса предупреждения от икон**, призывающие к покаянию и предвещающие, в случае его отсутствия, беды. Под 1173 г. в Ипатьевской и под 1169 г. в Лаврентьевской летописи рассказано о чуде, мотивирующем результаты похода войска, посланного Андреем Боголюбским на Новгород, но происшедшем задолго до описываемых событий. Воины разорили окрестности города, но не взяли его благодаря заступничеству Богородицы, три иконы которой в трех новгородских церквях плакали за три года до этого. Чудо автор истолковывает: «видѣвши бо Мати Божия пагубу хотящую быти надъ Новымъгородомъ и надъ его волостью, моляшетъ бо сына своего со слезами абы ихъ отинудъ не искоренилъ, якоже преже Содомъ и Гоморра, но яко Ниневыгитяны помилова якоже и бысть видомо» [37,561]. Чудо описано с нарушением хронологии: оно помещено в конце повести о походе суздальских войск на Новгород. Повествование о нем развернуто: рассказано о времени и месте, где произошло событие, затем кратко сообщается о самом чуде, а в конце автор размышляет о его причинах, используя ретроспективную историческую аналогию и библейские цитаты.

В конце повести о нашествии Едигея по Московскому летописному своду летописец рассказывает о чудесах от икон, по которым «неци отъ книжникъ» [47,326] предсказали беду Руси еще до прихода врага: «Во многихъ же местехъ отъ святыхъ иконъ миро исхожаше, а отъ иныхъ и кровь идяше на показание намъ грешнымъ, преже бо казненья бывають

знамения и прещенья, да аще не покаемся, тогда по томъ казнь божья приходит на ны за наша прегрешения» [47,326]. Перенесение чуда в конец повести позволило автору использовать его в назидательных целях: летописец пояснил, что, если люди не покаются в грехах после чудес предупреждения, то Бог казнит их за прегрешения. Таким наказанием было, по мнению летописца, нашествие Едигея. Возможность нарушения хронологии при размещении в тексте «видимых» чудес свидетельствует об их самостоятельности как жанрообразований.

Аналогичное упомянутым чудесам в летописных повестях явление зафиксировано «Повестью об Азовском осадном сидении донских казаков». В конце повести, наряду с рассказом о видениях, автор сообщает: «Атаманы многие ж видели: от образа Ивана Предотечи течаху от очей ево слезы многия по вся приступы. А первой день, приступное во время, видехъ ломпаду полну слезъ отъ ево образа» [102,172]. Слезы от иконы знаменовали не предупреждение, а заступничество за казаков их небесного покровителя.

Второй тип чудес условно можно обозначить как «невидимые». Эти чудеса мотивируют исход военных событий, но сами зримо, ходом событий не представлены. В рассказе о поединке Мстислава с Редедей под 1022 г. в «Повести временных лет» повествуется о том, как по молитве к Богородице Мстиславу дается сила, позволяющая победить врага. В этом отрывке приведена молитва, представлен результат совершившегося чуда, но отсутствует толкование событий, вывод, нравоучение.

В Лаврентьевской летописи под 1164 г. помещен рассказ о чуде иконы Пресвятой Богородицы во время похода Андрея Боголюбского на волжских булгар. После первого удачного боя Андрей с братом, сыном и муромским князем Юрием приехали в пешее войско, которое стояло на поле боя с иконой Богоматери Владимирской, молились ей «с радостью великою и со слезами, хвалы и пѣсни въздающе ей» [46,353]. Затем последовало взятие войском Андрея города Бряхимова, которое летописец прямо называет новым чудом от иконы.

Сообщением о будущем чуде начинается рассказ Ипатьевской летописи о походе Глеба Юрьевича против половцев в 1172 г.: «В то же

лѣто чудо створи Богъ и Святая Богородица церковь Десятинная в Киевѣ юже бѣ создалъ Володимѣрь иже крестилъ землю и далъ бѣ десятину церкви тои по всей Руськой земли. Створи же та Мати Божия чудо паче нашея надежа» [37,554-555]. Далее следует подробное повествование о военных действиях, которые по указанию Глеба вел Михалко против врагов, захвативших земли Десятинной церкви. Победа войска Михалки, у которого было в десять раз меньше воинов, чем у половцев, представлена как чудо. В конце летописец вновь подчеркивает, что совершилось это чудо помощью креста честного и «Святѣи Матери Божии Богородици великоѣ Десятиннѣи» и при этом добавляет: «да аще Богъ не дастъ въ обиду чловѣка проста, егда начнѹтъ его обидити, аже онъ своеѣ Матери дому» [37,559]. Завершается повествование возвращением плененных половцами людей, которые «прославиша Бога и Святую Богородицю, скорую помощницу роду крестьянскому» [37,559].

В приведенных фрагментах сам благополучный для русских князей исход событий толкуется как чудесный, нет определенных эпизодов, представляющих собой собственно чудо, как в текстах предыдущей группы. В то же время появление чудесного в ходе событий предваряется в структуре повестей либо молитвой персонажей, либо прямым сообщением автора о том, что чудо должно произойти. Толкование событий как чудесных в конце повести в таких случаях необязательно.

В более поздних летописных повестях разъяснение хода событий как результата чуда может сочетаться с их прагматическим толкованием. В повести о нашествии Едигея по Московскому летописному своду уход татарского войска от Москвы 20 декабря на память Святителя Петра летописец, с одной стороны, объясняет реальной причиной: Едигей был отозван царем Булатом в Орду в связи со вспыхнувшим мятежом, а с другой стороны, толкует как чудо защиты города святым Петром. При этом он сравнивает святителя с Дмитрием Солунским, многократно избавлявшим свой город от нашествия сарацин.

В Рогожском летописце то же событие истолковано как чудо защиты, явленное по молитве жителей Москвы к Богу и Богородице. «Благыи же убо Человѣколюбецъ, иже не до конца прогнѣваяися, видѣ

печаль людий своихъ и покаанія слезы, въскорѣ утѣшаетъ ихъ, помянувъ милость стаду своему, величаваго и гордаго Едегѣя Агарянина въскорѣ устраши, наложи на Измаильтянина страхъ высокыя и страшныя руки Своея, иже на много врѣмя гордяшеся быти въ православнѣи земли и зимовати общашеся, се въ единъ часъ възмося Агарянинъ, нача мястися, ни единаго дни не може премедлити» [39,184]. Едигей сам просит мира и уходит от Москвы. По этому поводу автор разъясняет, что приход врагов посылается за грехи, но Бог «милости же своея не отведе до конца» [39,185].

В повести 1428 г. о приходе Витовта к Порхову в Московском своде эпизод, представляющий собой чудо, не имеет толкования. Главный герой, хотя и отрицательный, – пушкарь «немчин» Николай похвастался своим искусством и обещал разрушить церковь святого Николая в городе. Он отчасти выполнил свое обещание, ставшее роковым для него самого и литовских воинов, поскольку обломки крепостной стены и церкви обрушились на войско, стоящее у города, и уничтожили самого пушкаря. Результат выстрела, пробившего церковные стены, но не причинившего вреда священнику, служившему литургию, не истолкован как чудо, хотя по существу является чудом защиты.

Подобные чудеса появлялись и в поздних воинских повествованиях. Например, чудо в «Казанской истории» упомянуто в главе «О посланных черноризцех из обители живоначальных Троицы Сергиева монастыря» [93,440]. В ней рассказано о приходе во время осады Казани к Ивану IV двух иноков Троицкого монастыря, которые принесли икону, изображающую Троицу и видение Богоматери Сергию. Царь произнес молитвы к Богу и Богоматери перед иконой. «И от того дне, во нь же икона прииде, вся благочестивому царю от Господа радость и побѣда даровашеся. И нача недоставати во градѣ пушечнаго зелия до толика, яко ни единою стрелити, и прискорбни бывше казанцы до смерти» [93,440]. Чудесное продолжение событий описано в следующей главе, где рассказывается о неожиданном приходе к царю фрягов-мастеров, вызвавшихся сделать подкопы под стены Казани, которые в конечном итоге решили судьбу города. Так все благоприятные события, способствовавшие взятию Казани, воспринимаются как чудеса.

Приведенные случаи рассказов о чудесных явлениях включены в традиционную структуру воинских повестей в качестве поясняющих мотивов, но не самостоятельных жанрообразований.

В «Сказании» Авраамия Палицына появляются случаи смешения символических жанров и использования не свойственных ранее воинскому повествованию форм чудес.

Защитникам Троице-Сергиева монастыря видимое чудо помогает незаметно для врагов подготовиться к вылазке – они, произнеся молитву, выходят за потайные ворота монастыря и укрываются во рву: «И егда начаша из града выходить за три часа до свѣта, и абие наидоша облацы темныя, и омрачися небо нелѣпо, и бысть тма, яко ни человекъ видѣти. Таково Господь Богъ тогда и время устрои своими неизреченными судьбами. Людие же вышедше из града и ополчишася. И абие буря велика воста и прогна мрак и темныя облаки и очисти воздух, и бысть свѣтло» [94,280]. Природные образы, использованные в повествовании, напоминают знамения, но выполняют функцию **чудес помощи**.

Не истолкованное в произведении чудо выделено в отдельную главу «О невѣдомѣмъ пѣнии въ церкви Успения Пресвятыя Богородица» [94,312]. Один из монастырских стражей ночью услышал пение в церкви, разбудил других, и все они не могли понять, кто поет. Когда некоторые подошли к дверям, им показалось, что пение затихло, а стоявшие вдали сказали, что оно не прекращалось. «И ужас многих обият о семь» [94,314]. Это чудо свидетельствовало о поддержке осажденных небесными силами. Литературным источником его, вероятно, был эпизод «Жития Феодосия Печерского», в котором рассказывалось о приходе к монастырю разбойников, всю ночь слышавших ангельское пение в Печерской церкви и не осмелившихся войти в нее [117,398-400].

В главе «О освящении храма Николы Чудотворца и о облегчении мора и болѣзней» [94,322] рассказывается о **чудесах исцеления**, происшедших после освящения церкви в монастыре. Чудеса исцеления были обязательным элементом житий, в воинском повествовании до этого времени не встречавшимся.

В главе «О явлении Никона чудотворца» [94,312] соединены видение и чудо. Пономарю Илинарху явился преподобный Никон, говоря о том, что снег, который выпадет ночью, исцелит больных. Затем происходит чудо исцеления: все, кто поверил видению и натерся снегом, выздоравливают.

Таким образом, чудеса в воинском повествовании представляют собой самостоятельное явление, отличное от видений и знамений. Они существуют в виде мотивов, объясняющих ход событий, и в виде малого жанра. В первом случае чудесные элементы не выделяются в самостоятельные фрагменты, во втором случае они приобретают сюжетность и изобразительные черты. Структурная схема таких чудес включает в себя, как правило, молитву, описание чуда и толкование его автором.

По смыслу чудеса можно разделить на чудеса защиты города, помощи в битве и предупреждения. В начале XVII в., когда на воинское повествование начинают влиять жития, чудеса, свойственные агиографии, в первую очередь чудеса исцеления, проникают в произведения о военных событиях.

2.2.3. Поэтика жанра знамений

Слово «знамение» в древнерусском языке было многозначным. Среди основных значений словари указывают «Знамение, предзнаменование» [118,42], затем соответствующее тому же значению, судя по примерам, определение «Явление природы, предзнаменующее что-л.», а также «Чудо» [119, 396]. Действительно, древнерусские книжники иногда называли чудеса знамениями, но даже приведенные словарем примеры свидетельствуют о том, что порой они ставили знамения и чудеса рядом, видимо, чем-то отличая их.

Из названных выше определений знамений, как представляется, наиболее точно второе. В большинстве случаев древнерусские авторы связывали их именно с природными явлениями. Поэтому определим жанр так: знамение – жанр, повествующий о необычных явлениях природы, связанных с проявлением божественной воли и предвещающих некие события.

В статье 1065 г. «Повести временных лет» высказано мнение летописца о значении знамений: «Знаменья бо въ небеси или въ звѣздахъ или в солнци или птицами или етеромъ чимъ не благо бываеть, но знамения сича на зло бывають или проявление рати или гладу или на смерть проявляеть» [37,155;46, 165]. Перечисляя знамения, летописец фактически отметил их типы: небесные и земные [25, 107-108]. Небесные связаны с образами изменения светил, которые, вероятно, воспринимались как неблагоприятные по аналогии с библейскими текстами, предвещающими конец света («И будутъ знамения въ солнцѣ и лунѣ и звѣздахъ...» (Лк 21:25); «... И солнце мрачно бысть, яко вретище власяно, и луна бысть яко кровь, и звезды небесныя падоша на землю» (Откр. 6, 12-13. См. также Ис 13:10, 24:23; Иоиль 2:10,31, 3:15; Мф 24:29, Мк13:24; Деян.2:20). В земных знамениях чаще всего появлялись образы зверей и птиц.

В более поздних текстах в летописи встречаются знамения, которые оказываются «к добру». А.С.Демин, обративший внимание на такие случаи, утверждает, что «в летописях в категорию безусловно зловещих небесных знамений попадали явления с уменьшением или исчезновением обычного света... Небесные же знамения с прибавкой световых явлений не имели отчетливой связи со злом» [120,94-95].

В ранних летописных воинских повестях знамения редки. Самое яркое из небесных в Киевской летописи под 1161 г. детально проанализировано в работе А.А.Пауткина [25, 11-112]. Примечательно знамение, появляющееся в повести о походе Игоря на половцев в 1185 г. Рассказ о нем начинается с упоминания места и времени: «идушимъ же имъ к Донцю рѣкы в годъ вечерний» [37,638]. Описание самого небесного явления здесь предельно краткое: «солнце стояще яко месяцъ» [37,638]. Затем приводится подробное толкование: утверждение, что это знамение недоброе, высказывают бояре, следуя обычной летописной традиции. Игорь выражает иное мнение: значение знамения известно только Богу, людям его смысл будет явлен позже. Такое противоречивое толкование необычно для летописей. Видимо, слова, произнесенные Игорем, должны оправдать его решение продолжать поход.

Упоминание знамения встречаем в повести о приходе немцев на Псков в 1299 г. по Псковской I летописи: «Бысть знамение в лунѣ месяца сентября во 8 день» [121,14]. Хотя псковское войско под предводительством князя Довмонта победило врагов, автор обращает внимание на то, что до битвы немцы разорили посад у Пскова и убили многих жителей, а после сражения в том же году случился мор и умер князь Довмонт. Все эти события подтверждают мысль летописца, высказанную в предшествующей летописной статье и связанную с еще одним лунным затмением: «якоже древле в грунографи глаголють, яко знамение нѣсть на добро, но на зло присно является» [121,14].

Световые образы в знамениях могут быть и более детальными. В повести 1317 г. о войне Юрия Московского с Кавгадыем против Михаила Ярославича Тверского в Рогожском летописце содержится описание небесного знамения над Тверью: «Тое же осени бысть знамение на небеси септября 17 кругъ надъ градомъ надъ Тферию мало не съступился на полнощи, имущъ лучи 3, два на вѣстоцѣ, а третии на западѣ» [39,37]. Толкования знамения не дано, но дальнейшее развитие событий говорит о том, что оно было не к добру для князя Михаила: хотя он победил врагов в ближайшем бою, но в конечном итоге был убит в Орде по навету Юрия и Кавгадыя.

В той же летописи знамение, связываемое с нашествием Тохтамыша, помещено в предшествующей годовой статье и отделено от повести другими событиями: «Тое же зимы и тое весны являшеся некое знамение на небеси на вѣстоцѣ предъ раннею зарею, акы столпъ огнень и звѣзда копиинымъ образомъ. Се же проявляше на Русскую землю зло пришествие Токтамышево и горкое поганыхъ нахождение» [39,143]. Образы этого знамения традиционны для летописей, но при этом живописны и эмоциональны: огненный столп и звезда в форме копья предвещали приход врагов, охарактеризованный выразительными эпитетами «злое пришествие» и «горкое нахождение».

Повесть «О плѣнении и о прихождении Тахтамыша царя и о Московскомъ взятъи» в НВЛ начинается сообщением о знамении, представляющем собой символический пролог событий: «Бысть некое проявление, по многи нощи являшася таковое знамение на небеси:

на востоцѣ предѣ раннею зарею звѣзда некаа, аки хвостата и якоже копейнымъ образомъ, овогда вечернеи зарѣ, овогда же во утрении, то же многажды бываше. Се же знамение проявляаше злое пришествие Тахтамышево на Русскую землю и горкое поганыхъ Тотарь нахождение на крестьяны, якоже и бысть гнѣвомъ Божиимъ, за умножение грѣховъ нашихъ» [78,326]. В двух летописях одно и то же явление описывается и толкуется по-разному. Во втором тексте нет упоминания «столпа огненного», но распространяется описание звезды: она не только напоминает копье, но и «хвостата», видна то на утренней, то на вечерней заре. Суждение о значении знамения дополняется упоминанием причины нашествия – гнева Божьего на грехи русских людей.

Таким образом, небесные знамения часто трехчастны и содержат указание на время и место действия, описание явления, толкование его, хотя последний элемент может отсутствовать в тех случаях, когда дальнейшие события ясно раскрывают его значение.

Первые земные знамения связаны с птицами. В составе Галицкой летописи такое явление описано в рассказе о битве у Ярослава под 1249 г. Князь Ростислав, женатый на дочери венгерского короля Белы IV, пытался захватить город Даниила с помощью венгерских и польских войск. Когда Даниил и его брат Василько собирали войска у реки Сана, явилось знамение: «Пришедшим орломъ и многимъ ворономъ яко оболочу велику играющимъ же птичамъ, орломъ же клекшущимъ и плавающимъ криламы своими и воспромѣтающимся на воздушѣ якоже иногда и николи же не бѣ» [37,802]. Толкование знамения различается по спискам памятника. В Ипатьевском списке «и се знамение не на добро бысть» [37,802], в Хлебниковском и Погодинском частица «не» опущена, то есть знамение было к добру. Именно вторая трактовка соответствует ходу событий: Даниил и Василько победили врагов. Живописный характер этого знамения был отмечен в работах А.С.Демина [122,74-76; 120,50]. Символические переключки с событиями связаны с метафорическим значением образов птиц. В литературе той эпохи орлы – русские воины или князья, а вороны – враги, поэтому особое внимание, уделенное полету орлов, говорило о будущей победе Даниила и Василька.

Оба типа знамений развивались в воинских повествованиях XV-XVII вв.

В основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» земные знамения перед битвой восходят в конечном итоге к образам «Слова о полку Игореве», возможно, через «Задонщину»: «За многы же дни мнози вльци притекоша на мѣсто то, выюще грозно, непрестанно по вся нощи, слышати гроза велика. Храбрымъ людемъ в плѣкѣхъ сердце укрѣпляется, а иныя же людие в плѣкохъ, ту слышавъ грозу, паче укротѣша: зане же мнози рати необычно събрашася, не умлѣкаючи глаголють, галици же своею рѣчию говорить, орли же мнози от усть Дону слѣтошася, по аеру лѣтаючи клекчють, и мнози звѣрие грозно выють, дни грознаго, Богомъ изволенаго, въ нь же имать пасти трупа человека, таково кровопролитие, аки вода морскаа. От такового бо страха и грозы великыа дрѣва прекланяются и трава посьстиляется» [92,38]. (В «Слове» «вльци грозу въсрожать по яругамъ, орли клектомъ на кости звѣри зовуть» [49,4], «а галици свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уедие», «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилося» [49,6]. В «Задонщине»: «И притѣкоша сѣрые волцы от усть Дону и Непра и ставши воют на рекѣ на Мечи», «А уже бѣды их пасоша птицы крылати, под облакы летают, вороны часто грают, а галицы своею рѣчию говорят, орли хлѣкчют, а волцы грозно воют, а лисицы на кости брешут» [66,9], «трава кровию пролита бысть, а дресеса с тугою к земли приклонишася» [66,11]).

В «Сказании» автор распространил образы знамений, дополнив картину деталями, сравнениями и изобразив чувства воинов в связи с предзнаменованиями. Восприятие персонажей враждующих сторон изображено одинаково: видя знамения, «мнози бо люди от обоих унывають, видяще убо пред очима смерть» [92,38]. Описание знамения сопровождается толкованием: автор подчеркивает, что оно указывало на тяжесть будущей битвы.

Эпизод испытания примет перед боем Дмитрием Волынцем так же содержит знамения: «и обратився на плѣкъ татарскый, слышитъ стукъ великъ и кличь, и вопль, аки трѣги снимаются, аки градъ жидуше, и аки гром великий гремитъ; съзиди же плѣку татарскаго вольци

выють грозно велми, по десной же странѣ плѣку татарскаго ворони кличуще и бысть трепеть птичей великъ велми, а по лѣвой же странѣ, аки горама̃м̃ играющимъ – гроза велика зѣло; по рецѣ же Непрядвѣ гуси и лебеди крылми плещуще, необычную грозу подающе. Рече же князь великий Дмитрею Волинец: «Слышим, брате, гроза велика есть велми». И рече Волинец: «Призывай, княже, Бога на помощь!» [92,40]. Многообразные звуки, воссозданные с помощью сравнений, образы зверей и птиц, повторяющие фрагменты «Слова» и «Задонщины», создают впечатление предвестия страшной битвы. Иное знамение видит воевода с другой стороны: «И обратився на плѣкъ русский – и бысть тихость велика. Рече же Волинец: «Видиши ли что, княже?» Онъ же рече: «Вижу: многы огнены зари снимахуся!» И рече Волинец: «Радуйся, государь, добри суть знамения, токмо Бога призывай и не оскудѣй вѣрою!» [92,40]. Знамения, связанные с противниками, различны по характеру: на стороне вражеского войска появляются земные знамения, на стороне русского – небесное: восходящие над ним зори – символ света, победы над врагом.

Дмитрий Волинец получает и еще одно земное знамение, образы которого антропоморфны: «И сниде с коня и причиче к земли десным ухом на долгъ час. Вѣставъ, и пониче и въздохну от сердца. И рече князь великий: «Что есть, брате Дмитрей?». Онъ же млѣчаше и не хотя сказати ему, князь же великий много нуди его. Онъ же рече: «Едина бо ти на плѣзу, а другая же — скръбна. Слышах землю плачущуюся надвое: едина бо съ страна, аки нѣкаа жена, напрасно плачущися о чадѣх своихъ еллинскимъ гласом, другаа же страна, аки нѣкаа девица, единою възопи велми плачевнымъ гласом, аки в свирель нѣкую, жалостно слышати велми. Азъ же преже сего множество тѣми приметами боевъ искусих, сего ради нынѣ надѣюся милости божиа — молитвою святыхъ страстотрѣпецъ Бориса и Глѣба, сродниковъ ваших, и прочихъ чудотворцовъ, русскихъ поборниковъ, азъ чаю победы поганыхъ татаръ. А твоего христолюбиваго вѣиньства много падеть, нѣ обаче твой врѣхъ, твоя слава будетъ» [92,40]. Этот фрагмент не имеет аналогов в предшествующих древнерусских памятниках, олицетворенная земля скорее связана с фольклорными произведениями. Тем не менее этот

образ встает в ряд со знаменами, переданными через образы животных и небесное явление, уточняя их значение.

Знамения в «Сказании о Мамаевом побоище» отличаются яркой изобразительностью, создать которую помогает соединение традиций воинской повести, «Слова о полку Игореве», фольклора.

И земные, и небесные знамения, предвещавшие падение города, в «Повести о взятии Царьграда турками» также наделены изобразительным характером и часто оформляются с помощью зрительных сравнений.

Автор отметил обстановку, в которой было явлено земное знамение при основании Царьграда. Цесарь с приближенными обсуждал план построения будущего города, а в это время «И се змий, внезапно вышед из норы, потече по мѣсту, и абие свыше орел, спад, змия похвати и полетѣ на высоту, а змий начат укреплятися вкруг орла. Цесарь же и вси людие бяху зряще на орла и на змию. Орѣл же, възлетев изъ очю на долгъ час, и паки явися низлетающъ и паде съ змием на то же мѣсто, понеже одолень бысть отъ змия. Людие же, текше, змия убиша, а орла изымаше» [101,28]. Мудрецы определили символику знамения: орел – христианство, змей – мусульманство и истолковали его: великий христианский город будет захвачен иноверцами, но затем вновь вернется в руки христиан.

Небесное знамение описано во время осады города, оно напоминает о его судьбе, предсказанной при основании: «В 20 же первый день маиа, грѣх ради наших, бысть знамение страшно в градѣ: нощи убо против пятка **освѣтися** градъ весь, и видѣвше стражи тѣчаху видѣти бывшее, чааху бо – турки зажгоша градъ; и вскрикаше велием гласом. Собравшим же ся людѣм мнозем, видѣша у великие церкви Премудрости божия у вѣрха из вокон **пламению огнѣну велику** изшедшу и окружившу всю шею церковную на длгъ час. И собрався **пламень** въедино, пременися пламень и бысть, яко **свѣтъ неизреченный**, и абие взялся на небо. Онѣм же зрящим, начаша плакати грѣко, впиюще: «Господи помилуй!». **Свѣту** же оному достигшу до небесъ, отворзошася двѣри небесныя и, приявше **свѣтъ**, паки затворишася» [101,50]. Пламя, вышедшее из церкви Софии и взятое на небо, символизировало уход бо-

жественного покровителя из Царьграда. Устойчивый мотив ушедшего из города огня – пламени – света, повторяется и в виде существительных, и в виде тавтологического сочетания «пламень огненный». Этот мотив подчеркивает трагизм положения города, оставшегося безблагодатным.

Кровавый дождь, ставший последним знамением падения Царьграда, изображен необычно детально: «И яко уже о семой године тоя ночи начат наступати над градом тма велиа: воздуху убо на аере огустившуся, нависеся надъ градом плачевным образом, ниспущаше **аки слѣзы** капли велици, **подобные величеством и взором буйвалному оку**, червлѣны, и терпяху на земли на долгъ час, яко удивитися всем людям и в тузе велицей и во ужасе быти» [101,60]. Зрительный образ явления, знаменовавшего гибель города, создается двумя сравнениями, дополненными указанием на цвет.

В «Казанской истории» небесное знамение является казанскому царю не наяву, а во сне: «В первую же ночь, егда х Казани прииде царь и великий князь и град обляже, видѣ сонъ страшень сам про себе казанской царь, легшу ему с печалию мало уснути, яко взыде с востока месяцъ мал и тѣмен, худ и мраченъ, и ста над Казанью. Другий же месяцъ, аки от запада взыде, зѣло пресвѣтел и велик велми, и пришедъ над градъ, ста выше темнаго месяца. Темный же месяцъ пред свѣтлым побѣгованъ и потрясашеся. Великий же месяцъ долго стоявъ и, яко крилатъ, полѣте от мѣста своего и, догнавъ, удари собою темнаго месяца и яко поглотивъ себе и прият, и той в немъ просвѣтися. Великий же месяцъ свѣтлый пусти из себе, аки свѣзды, искры огненныя долу с небеси во градъ и сожже вся люди казанскія. И паки ста над градом великий месяцъ и боле возрасте, и паче перваго сияше неизреченным свѣтом, аки солнце» [93,422]. Образы знамения царю подробно разъясняют волхвы, утверждая, что оно предвещает поражение Казани.

В этом фрагменте детально разработаны мотивы тьмы и света, подчеркнутые эпитетами и сравнениями. Восточный месяц не только мал, но еще и *темен, худ и мрачен*, а западный *зело пресветел и велик велми*. Искры, падающие от большого месяца, сравниваются со звездами, этот месяц, поглотив темный, заставляет стать светлым и его, а сам

начинает сиять, как солнце. Хотя волхвы разъясняют образы: темный месяц – казанский царь, а светлый месяц – московский, знамение приобретает более широкий символический смысл победы христианства – света над мусульманством – тьмою.

Вслед за небесным знаменiem царю появляется земное, данное сеиту. «В ту же ночь сеить казанский сонъ же видѣ, яко стѣкошася мнози стада великия многообразных звѣрей и лють рыкающе: лвовѣ же и пардуси, и медвѣди, и волцы, и рыси. И наполниша ся ими лугове и поля вся казанская. Противъ же их истѣкоша из града невеликия стада – единошерстныя звѣри волцы, выюще. И начаша ѣстися и битися, падоша, со многоразличными тѣми звѣрми. И в час единъ вся истекше из града, от лютых тыхъ звѣрей изъядени быша» [93,424]. Волхвы истолковали сон как грядущую победу многоразличного московского войска над единовѣрными казанцами. Изобразительность знамения создается перечислительными рядами и разнообразными глаголами движения.

Возникновение новой формы – «знамения во сне» – свидетельствует о постепенном стирании границ между символическими жанрами: раньше в тонком сне являлись только видения.

В главе «О видѣнии столпа огненаго» в «Сказании Авраамия Палицына» появляется знамение, представляющее зеркальное отражение фрагмента об уходе небесного покровителя из храма Софии «Повести о Царьграде»: «Тогда же нѣцци старцы и мнози людие видѣвша знамение не во снѣ, но наявѣ. От них же единъ священноинокъ Пимин в ту ночь на память Сергия чудотворца моляшеся всемилостивому Спасу и пречистой Богородици. И се во оконце келии его **свѣтъ освѣти**. Ему же позрѣвшу на монастырь, и видѣ **свѣтло, яко пожаръ**, и мнѣвъ, яко врази зажгоша монастырь. И в той час изшед на рундукъ келейной. И зрит над церковию святыя живоначалныя Троица над главою **столпъ огнян** стоящъ даже до тверди небесныя. Священникъ же Пимин велми ужасеся страшному видѣнию и возва братию свою ис келий: диакона Иосифа да диакона Серапиона и из иных кѣлей старцов многих и мирян. Они же, видѣвше, чюдишася знамению тому. И помалѣ **столпъ огненный** начат низходити и свитися вмѣсто, яко **облако огне-**

но, и вниде окном над дверми въ церковь пресвятыя Троица» [94,250]. Божественное покровительство монастырю знаменуется небесным светом, превращающимся в огненный столп, а затем в огненное облако и входящим в храм Троицы. Происходит обратное по сравнению с повестью о Царьграде изменение: свет превращается в огонь. Иначе выражается мотива света – огня: тавтологическим сочетанием «свет освети», сравнением «светло, яко пожар». Не используется слово «пламень», трижды появляющееся в повести Нестора Искандера, а корень «огонь» реализуется только через призводное прилагательное: «столп огненный, облако огненное».

В главе «О третьемъ болшомъ приступѣ и о обманкѣ над троецкими сидѣльцы» [94,326] в «Сказании Авраамия Палицына» рассказывается о двух знаменях, которые видели литовцы, решившие ночью напасть на монастырь: «видѣша литовские люди с небеси велику звѣзду спадшу среди монастыря и разсыпашася от нея по всему монастырю огненныя искры»; «В ночь же ту, егда к приступу уготовашася литовские люди и русские измѣнники, тогда на воздухѣ луны, яко огонь, скакаху, и всю ночь от небесныхъ звѣзд свѣтъ сияше великий, и яко видящеся падаху надъ монастырем и вокруг монастыря. Троецкое же воинство и вси православнии християне, мужи и жены, бьющеся со враги чрез всю ночь беспрестанно, яко и на прежнихъ приступѣхъ» [94,330]. Световые явления над монастырем не только предвещали победу осажденных, но и отражали поддержку монастыря небесными силами, осветившими мрак ночи, чтобы помочь троецким обитателям.

В «Сказании» Авраамия Палицына обнаруживаются случаи слияния символических жанров и использования не свойственных ранее воинскому повествованию их форм.

Видение во сне казакам, гетману и панам преподобного Сергия, угрожающего им, в главе «О Иване Рязанце» дополняется знаменiem: «И быша, яко молния и громи страшни, и от востока истече рѣка велика, а от запада и полудне два езера велики, и снidoшася все трие во едино; и взыде вода, яко гора велика, и потопаи всѣ полки литовския и всѣхъ безвѣстно сотвори» [94,274]. Донской атаман Стефан Епифанецъ объяснил знамение: «Великия гетманы, аз скажу вамъ: сны сия не на добро

бывают. Се убо знамение являет преподобный Сергей чудотворецъ: яко не водам повелѣваетъ потопити, но множество православныхъ христианъ вооружить на насъ. И велико падение нашимъ людемъ будетъ» [94,274-276]. Символическое истолкование знамения исходит из метафоры: воинская сила – могучая река или вода в половодье, которая была известна древнерусскому воинскому повествованию. Соединение во сне видения и знамения происходит и в следующем отрывке.

Казачий атаман Андрей Болдырь, воевавший на стороне литовцев, рассказывал, как наяву увидел, «яко течетъ рѣка велми быстра между ими и монастыремъ, в волнахъ же сломленное великое колодие, и выскидие и лѣсъ многъ несет, и с кореня же несет великое древие, камень и песокъ изъ дна, яко горы велики восходяще» и «два старца, сѣдинами украшена, яко снѣгомъ, и кличуща съ града ко всѣмъ...: «Всѣмъ вамъ бѣднымъ такъ плыти! Что о себѣ не разсудите!» [94,330]. «Земное» знамение, разъясненное с помощью видения, предсказывало судьбу осаждавшимъ монастырь. Гибель многих из них подтвердила истинность знамения и предсказания преподобныхъ Сергия и Никона и заставила казаков тайкомъ убежать из польского войска.

Итак, жанр знамений в воинском повествовании, как правило, трехчастен: он содержит указание на время событий, описание природного явления, его дидактическое или реально-историческое толкование.

В летописных воинских повестях в основном упоминались небесные знамения, связанные с образами светил, они содержали предсказание приближающихся печальных событий.

Во внелетописных воинских повестях XV в. и воинских повествованиях XVI-XVII вв. сочетались небесные и земные знамения, приобретающие развернутый и живописный характер. Они выполняют новые функции и объединяются с видениями и чудесами.

Такое объединение и взаимопроникновение символических жанров укладывается в общий процесс жанрового синтеза, который наблюдался и в развитии малых лирических жанров. Он способствовал развитию изобразительности в литературе и в то же время усложнению и более последовательной мотивации сюжетов произведений, в которые входили символические жанры.

Рассмотренные тексты «малых жанров» внутри воинского повествования свидетельствуют о том, что лирические и символические жанры активно развивались на протяжении столетий. Зародившись на раннем этапе как элементы повествования или авторского рассуждения, они оформились в самостоятельные тексты, выработавшие определенную структуру и выполняющие важные идейные и художественные функции. Все малые жанры тесно связаны с замыслом произведений и направлены на раскрытие центральных идей. Лирические жанры играют значительную роль в раскрытии образов персонажей, а их развитие шло по линии усиления выразительности за счет привлечения и риторических, и поэтических средств. Символические жанры необходимы как элементы развития сюжета, причем их сюжетное значение с течением времени начинает превалировать над символическим, которое было основным на раннем этапе. Развитие этих жанров определялось развитием изобразительного начала, изначально в них заложенного. Таким образом, малые жанры непосредственно связаны с развитием художественности воинских повестей, особенно ошутимой во внелетописных повествованиях.

Глава 3. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОИНСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

3.1. Воинские формулы в летописном и внелетописном повествовании

Одно из наиболее разработанных направлений в исследованиях древнерусских памятников – изучение литературных формул. Истоки его находим в работах А.Д. Галахова [1] и В.О. Ключевского [123], заложивших основу анализа агиографических формул, который продолжается и в современных исследованиях. Затем внимание ученых привлекли воинские формулы, о которых написано значительное количество работ.

Набор распространенных воинских формул впервые был представлен в работах А.С. Орлова [7,8], а затем расширен в статье Е.А. Прохазки [15]. В исследованиях Д.С. Лихачева [11] и О.В. Творогова [12;13] появилось разграничение устойчивых литературных формул и устойчивых словосочетаний, оформляющих их.

3.1.1. Становление воинских формул в «Повести временных лет»

«Повесть временных лет» – первый дошедший до нас летописный памятник, содержащий материал для наблюдений над ранним этапом формирования воинских описаний. Формулы появляются и в погодных записях, и в сюжетных рассказах, представляющих собой воинские повести. Сопоставление формул в ПВЛ и в тех частях НЛ, которые восходят к Начальному своду (до 1016 и 1053-1074 гг.), дает возможность определить время возникновения отдельных формул и их особенности в ПВЛ.

В рассказе о походе Олега на Царьград в 907 г. ПВЛ первой появляется структурная формула судьбы побежденных: «и **овѣхъ** посѣкаху, **другыя** же мучаху, **инныя** же растрѣляху, а **другыя** въ море вметааша» [37,21]. Эта формула могла иметь два и более членов, местоимения в начале которых менялись. В данном случае в ней четыре компонента, что было нечастым явлением. В НЛ

повесть о походе Олега на Царьград помещена под 6430 (922) г., а формула отсутствует.

Ту же формулу встречаем в рассказе о неудачном походе Игоря на Византию в 941 г. (ее также нет в НЛ), в повести 1034 г. о походе Ярослава против печенегов: «и **овии**, бѣгающе, тоняху в Ситолми, **инѣи** же во инѣхъ рѣкахъ, и тако погибоша, а прокъ ихъ пробѣгоша и до сего дъни» [37,139]. Вероятно, в ранней части Начального свода эта формула еще не использовалась, а была введена в ПВЛ.

Сходные обороты находятся в повести о походе русских князей против торков в 1060 г., указывающей на то, что бежавшие после битвы торки умерли «**овии** от зимы, **друзии** же голодомъ, **инии** же моромъ судомъ Божиимъ» [37,152]. В повести 1068 г., рассказывающей о победе Святослава Ярославича над половцами, гибель врагов описана формулой-конструкцией без первого указательного местоимения: «И тако изби я, и **друзии** потопоша в Снѣви, а князя ихъ руками яша въ 1 день ноября» [37,161]. Варианты формулы есть в аналогичных повествованиях НЛ: «ови от зимы изомроша, другии же голодомъ» [16,183], «и тако биеми, а друзии истопоша въ Снови, а князь ихъ яша Шаракана въ 1 день ноября» [16,190]. В ПВЛ обнаруживается некоторая переработка: в первом случае вместо двух компонентов конструкции используются три, во втором выпущено имя половецкого хана и появляется устойчивый оборот «руками яша». Период, к которому относятся сообщения, мог быть зафиксирован еще в Первом Киево-Печерском своде и воспроизведен в Начальном. Таким образом, эта формула-конструкция в ПВЛ пришла из предыдущих сводов, но, вероятно именно в ней была внесена в ранние сообщения.

Самый распространенный в ПВЛ оборот – формула начала битвы, об истории которой в летописании скажем далее. В ПВЛ эта формула имеет варианты: первая группа с определяемым «сеча» (всего 10) и эпитетами «зла» (5 случаев), «велика» (2), «сила» (2), «сила и страшна» (1); вторая группа с определяемым «брань» (всего 8) – и эпитетами «люта» (3), «зла» (1), «крепка» (2), «велика» (1), без эпитета (1). Вариативность определяемых, эпитетов, грамматических форм (наряду с существительным в именительном падеже мог использоваться датель-

ный самостоятельный) свидетельствует о том, что формула находилась в стадии становления. Сочетания с определяемым «брань» в древнейшей части встречаются только под 941 г. и 965 г. (восходит к Начальному своду). Затем «сеча» встречается в части текста «ПВЛ» в 971 и с 1016 по 1078 г., а «брань» снова – в более поздней с 1093 по 1111 гг. Обозначенные временные промежутки, возможно, совпадают с границами творчества определенных летописцев: первый либо принадлежит древнейшему своду, рассказывавшему о первых русских князьях, либо вставкам автора начального свода и создателей ПВЛ, второй почти полностью укладывается в рамки так называемого Первого Киево-Печерского свода, который А.А.Шахматов датировал 1073 г.[62, 379]. Только формула в записи 1078 г. противоречит этой датировке. В промежутке до 1093 г. формула больше не встречается вовсе, и этот промежуток совпадает в основном со временем, которое Шахматов относил к творчеству летописца, создавшего около 1095 г. Начальный свод. В последней части, принадлежащей уже собственно создателям «ПВЛ», в формуле используется слово «брань». При этом в той части «ПВЛ», где в формуле используется только определяемое «сеча», слово «брань» тоже употребляется, но не в формуле начала битвы [124].

Эпитеты, использованные летописцами для характеристики сражения, выразительны, за исключением слов «сильна» и «велика», которые обозначают количественную характеристику, поэтому в одном фрагменте летописец к слову «сильна» добавляет второй эпитет «и страшна» для усиления впечатления. Остальные определения: зла, люта, крепка – метафорические, ярко подчеркивающие напряжение битвы.

Группа формул обозначает количество войск до и после сражений. Наиболее продуктивной в дальнейшем станет формула «въ силѣ тяжьцѣ», впервые зафиксированная в повести об осаде Киева печенегами под 968 г., вместе с ней использована синонимичная формула «бещисленное множество» [37,53] (оба оборота есть в НЛ).

В повести о походе Ярослава против Святополка в 1019 г. первый оборот указывает на количество воинов Святополка (в НЛ под 1016 г. «бещисла множество вои» [16,175]), о Ярославе говорится: «собра

множество вои» [37, 131]. В повести о походе Ярослава на печенегов в 1034 г. появляется более краткий вариант формулы: врагов было «бещисла» [37,138] (обоих случаев в НЛ нет). И тот и другой варианты встречаются в рассказе о походе Ярославичей и Всеслава против торков в 1060 г.: «совокупивше воя **бещислены** и поидоша на конихъ и в лодях **бещисленное множество**» [37, 151]. (В НЛ «вои бещисла», весь остальной текст совпадает). Эти формулы возникли в сводах, предшествующих ПВЛ.

В ПВЛ множество войск определяется формулой, основанной на сравнении: в повести о походе князей против половцев в 1103 г. говорится: «и поидоша полци Половецъстии **аки борове**», значение сравнения усиливается последующей гиперболой: «и не бѣ презрети ихъ» [37,254]. Сочетание этой формулы с двумя другими обнаруживается в рассказе о походе против половцев 1111 г.: половцы «собраша полки своя **мноее множество** и выступиша **яко борове велиции** и **тмами тмы**» [37,267]. Использованы три синонимичных оборота: первый тавтологический, второй – сравнение с усиливающим эпитетом «великий» и третий гиперболический, образованный соединением однокоренных слов.

Малое количество войск Олега, потерпевшего поражение в битве на Нежатиной Ниве, определено так: «побѣже Олегъ в **малѣ дружини**» [37,193]. Формула, редко появлявшаяся в это время, в дальнейшем использовалась и для определения количества войска, выступившего в поход.

В ПВЛ устойчивый вид получает формула «гонимъ гнѣвомъ Божиимъ» по отношению к врагам Руси или князьям-крамольникам. Она использована по отношению к Святополку Окаянному под 1019 г. [37,132], к торкам в повести 1060 г. «и помроша бѣгающе Божиимъ гнѣвомъ гоними» [37,152; 16,183]. Только в повести о походе против половцев в 1111 г. видим ту же мысль выраженной иначе: «Богъ вышнии възрѣ на иноплеменники со гнѣвомъ, падаху предъ хрестьяны» [37,267].

В Повести о битве на Альте между Святополком и Ярославом сконцентрирован ряд стилистических оборотов, в дальнейшем превратившихся в формулы. Помимо уже упоминавшихся, отметим следующие:

«и за руки емлюще сѣчахуся» (определение рукопашного боя), «по удольемъ кровь течаше» [37,132]. Первый из них повторялся практически без изменений в более поздних воинских повествованиях, а второй изменялся, чаще всего превращаясь в сравнение: «и течаше кровь христьянская, яко река сильная». О судьбе Ярослава сказано также фразой, использующей будущую формулу: «сѣде в Киевѣ, **утерьъ пота с дружиною своею**, показавъ побѣду и трудъ великъ» [37,133] (Это описание находим в НЛ под 1016 г., но без последней формулы).

В описании Лиственской битвы под 1024 г. соединяются образы битвы и грозы в виде сравнений, на основе которых в дальнейшем возникали воинские формулы: «И бысть сѣча силна, яко посвѣташе мълнѣя и блисташася оружѣя, и бѣ гроза велика и сѣча силна и страшна» [37,136].

В повести 1111 г. битва также сравнивается с грозой: «И зразишася первое с полкомъ и **трѣсну аки громъ** сразившими челома... и возрѣвше половци **вдаша плещи свои на бѣгъ**» [37,267]. Выражение «вдаша плещи своя» также становится формулой, обозначающей бегство с поля боя.

В рассказе о междоусобной войне 1097 г. появляется еще сравнение, связанное с образом битвы-грозы: «идяху стрѣлы акы дождь» [37, 247; 46,272 – дождь].

Формула победоносного возвращения войска использована в повествовании о поединке юноши-кожемяки и печенега в связи с возвращением Владимира в Киев «с **побѣдою и славою великою**» [37,108]. Этот оборот также появляется в повести 1103 г. о походе против половцев: «и приидоша в Русь с полономъ великомъ и **съ славою и с побѣдою великою**» [37, 255]. В повести 1107 г. о походе Русских князей против половцев к Лубну по Лаврентьевской летописи использован усеченный вид формулы: «възвратишася в своя си с **побѣдою великою**» [46, 282] (в Ипатьевской летописи пропуск текста).

Таким образом, в восемнадцати летописных статьях ПВЛ (907, 941, 965, 968, 971, 993, 1016,1019, 1024, 1034, 1060, 1068, 1078, 1093, 1097, 1103, 1107, 1111) начинается формирование двенадцати воинских формул. Самая распространенная из них и наиболее вариатив-

ная – формула начала битвы, в которой встречаются и лексические, и грамматические изменения. Варианты формулы локализованы по времени, что позволяет говорить о возможных предпочтениях отдельных летописцев. Вторая по распространенности – формула-конструкция судьбы побежденных. Более устойчивый вид имеют формула поражения как результата Божьего гнева и формула победоносного возвращения.

В повести о битве Ярослава со Святополком в 1019 г., помещенной в НЛ под 1016 г., возникает набор стилистических оборотов, в дальнейшем превращающихся в воинские формулы.

Сопоставление формул, использованных в ПВЛ и частях НЛ, входящих к Начальному своду, приводит к выводу о том, что многие формулы, использующие образные средства – сравнения, эпитеты, тавтологию – создаются более поздним памятником. Не все они приобретают в нем окончательный вид, но основа их заложена создателями ПВЛ.

3.1.2. История «формулы начала битвы»

Формула начала битвы, как упомянуто выше, начала оформляться уже в ПВЛ, где эпитеты тяготеют к одному из двух определяемых: сеча – зла, велика, сильна; брань, как правило, – люта, крепка; встречается по одному случаю употребления слова «брань» с эпитетами «зла» и «велика».

В следующую эпоху традицию ПВЛ наследовала Киевская летопись, но формула начала битвы появляется в ней не так часто. Для оборота определяется грамматическая форма именительного падежа. Наиболее устойчивым эпитетом при слове «сеча» остается «зла» (3), один раз использован эпитет «крепка», он же дважды встречается при существительном «брань», и однократно появляется эпитет «люта». В Киевской летописи XII в. два основных вида формулы: «сеча зла» и «брань крепка», причем они не локализованы по тем или иным хронологическим промежуткам.

Шире распространена формула во владимирском летописании, представленном Лаврентьевской летописью. В пяти случаях она

используется в самом частотном варианте «сеча зла», при этом один раз эпитет усиливается наречием «велми», в двух – «сеча велика», в одном «сеча крепка». Второе определяемое появляется реже: «бысть брань люта» и «бысть брань крѣпка зѣло». В двух случаях впервые сделана попытка усиления эпитетов с помощью наречий, что, возможно, свидетельствует о постепенном превращении их в постоянные, в связи с чем авторы начинают использовать дополнительные средства для усиления эмоциональности.

По-своему интерпретировали рассматриваемую формулу галицкие летописцы XIII в. Наиболее устойчивая в других местных летописях форма «сеча зла» не встречается в Галицко-Волынской летописи вовсе. «Сеча» упоминается дважды с эпитетом «велика» и дважды – «люта». При определяемом «брань» два раза использован эпитет «велика» и по одному разу «люта» и «тяжка», причем последний эпитет оказывается уникальным для летописей. Появляется и еще один синоним для наименования битвы – бой. Один из эпитетов, сочетающихся с ним, традиционен – «велик», в других двух случаях меняется сама конструкция: один раз она используется с новым эпитетом «и многу бою бывшую», в другом – с традиционным: «люто бо бѣ бой». Такая тенденция к изменению формулы укладывается в общее представление о своеобразии стиля галицко-волынских летописцев.

НІЛ старшего извода, мало использовавшая общерусские воинские формулы, все же трижды использует устойчивое сочетание «сеча зла». Наряду с ним появляется и «сеча велика» (2). В одном случае это же сочетание появляется не в повествовательной, а в восклицательной конструкции, экспрессивность которой подчеркивается инверсией по отношению к обычному порядку слов: «О, велика бѣше сѣца Вожаномь!» [16, 17]. Сочетания со словом «брань» не используются совсем.

В повести о битве русских князей против немцев под Раковором в 1269 г., отличающейся детальностью и красочностью описания событий от других новгородских повестей, появляется новое определяемое с редко употреблявшимся эпитетом: «бысть страшно побоище» [16, 36].

Таким образом, в древнейших сводах, содержащих летописи XI–XIII веков, формула начала битвы имеет два основных определяемых и ограниченный набор эпитетов.

Использование формулы в повестях XV–XVI вв. связано с общими тенденциями в развитии летописания. Рогожский летописец использует формулу в сложившихся вариантах: «сеча велика» (3), «сеча зла» (1). В некоторых случаях летописцы могут опускать эпитет: «И бысть брань», «и бысть сѣча», «бысть имъ бой», что говорит, с одной стороны, о стремлении к лаконичности, а с другой – о том, что, возможно, метафорическое значение эпитетов начало стираться, и поэтому они стали необязательными. В одном случае в повести о битве на Липице появляется редкое определяемое с часто используемым эпитетом: «побоище зло».

С 80-х гг. XIV в. в текстах той же летописи возникает новое явление. В повести о Куликовской битве соединяются два варианта формулы: «брань крѣпка зѣло и сѣча зла». Такое соединение, с усилением смысла эпитета в первом варианте формулы при помощи наречия, говорит о желании летописца сделать оборот более выразительным. Повесть 1387 г., в которой встречается сходное сочетание: «и бысть имъ бои великъ и сѣча зла» свидетельствует о том, что это явление не случайно.

Соединение вариантов формулы могло быть поддержано общелитературными процессами. Тексты создавались в тот период, когда началось распространение эмоционально-экспрессивного стиля, основанного на принципе повторов, который проник и в летописное повествование.

Широко распространена формула в СИЛ: 11 раз встречается вариант «сеча велика» и 6 – «сеча зла», формулы с существительным «брань» обнаруживаются в трех случаях: «брань зла», «брань велика зело», «брань люта». Третье определяемое использовано лишь дважды: «бой надолзѣ» и «бой великъ», наконец, один раз встречаем «велико побоище» в повести о битве под Раковором, сходной с НЛЛ. Редкий эпитет «страшно» здесь заменен на более употребительный в сочетаниях с другими определяемыми.

Шире распространены сочетания с двумя эпитетами, в которых определяемым служит слово «сеча», «зла и страшна», «зла и люта», «зла и велика» (2). Первый компонент во всех случаях неизменно составляет наиболее устойчивый метафорический эпитет, который уже не осознается как самодостаточный. Тенденция к удвоению эпитета становится устойчивой, что свидетельствует о начале процесса «окаменения» постоянных эпитетов, о котором говорил А.Н.Веселовский [125]. Стремление к увеличению выразительности сказывается и в соединении двух вариантов формулы, сходном с Рогожским летописцем: появляется «брань люта и сѣча зла» и «сѣча велика и брань крепка».

Летописцы XVI столетия использовали рассматриваемую формулу особенно активно. Традиционный вид она часто имела в Тверском сборнике, во многом следовавшем более раннему протографу. Как и в летописях XV в., в нем преобладают два вида формулы: «сеча зла» (10) и «сеча велика» (6). Наряду с ними летописцы используют формулу без эпитетов с редким в предшествующих сводах определяемым: «и бысть имъ бой» (9). Существительное «брань», распространенное ранее, редко встречается в самостоятельных сочетаниях: «брань зла» – дважды, «брань велика» и «брань люта» – однократно. Все три определяемых могут появляться в сочетании с эпитетом, усиленным наречием: «бой силенъ зѣло», «сѣча зла велми», «брань крѣпка зѣло». Один раз встречается сочетание с двумя эпитетами: «сѣча зла и страшна», редки и соединения двух формул: «бой великъ и сѣча зла», «бой... и сѣча зла» (2). Ведущими определяемыми в формуле становятся слова «сеча» и «бой», а процесс постепенного «окаменения» традиционных эпитетов продолжается.

Воскресенская летопись в рамках текста ПВЛ полностью повторяет формулы начала битвы, бывшие в ней. В дальнейшем формула появляется в различных вариантах. Самыми распространенными остаются варианты со словом «сеча»: зла (9), велика (9), крепка (1), эпитеты используются в сочетаниях с наречиями: «зла велми», «люта велми», иногда соединяются два эпитета: «зла и люта», «зла и велика» (2), «зла и преужасна». Второй эпитет последнего сочетания необычен, так же как появляющийся однократно метафорический эпитет, который ле-

тописец даже объяснил: «и бысть сѣча премрачна, зане стрѣлы ихъ помрачиша свѣтъ». Этот необычный эпитет родился из своеобразного слияния двух формул: начала битвы и формулы «стрелы идут, как дождь, и омрачают свет», но в дальнейшей традиции он не использовался.

Определяемое «брань» встречается всего в четырех случаях: однократно с эпитетом «люта» и трижды с эпитетом, усиленным наречием, «крепка зело». Зато увеличивается число формул со словом «бой». В Воскресенской летописи определяемое без эпитетов встречается уже 13 раз, с эпитетами велик (4), крепокъ (2), силенъ (1), великъ зѣло (1). В сочетания двух вариантов формул обязательно входит слово «сеча»: «брань люта и сеча зла» и «бой велик и сеча зла».

Постепенное расширение сферы употребления слова «бой» и соответствующее уменьшение количества случаев использования слова «брань» могло быть связано с появлением в последнем слове новых значений. «Словарь русского языка XI-XVII вв.» по сравнению со «Словарем древнерусского языка XI-XIV вв.» приводит два дополнительных значения: броня, латы; упреки, ругань [67,318; 126,305]. Второе значение (фиксируемое словарем с 1481 г.) постепенно укрепляется в языке как основное вплоть до современности. Возможно, именно оно начинало вытеснять первоначальные, а слово «бой», сначала имевшее основное значение «драка», начало усиливать второе – бой, сражение, битва [126,283].

В Никоновской летописи формулы в рамках «ПВЛ» остаются в основном теми же. Есть только случай дополнения эпитета наречием степени: в рассказе о походе Святослава сначала на Болгарию, а затем на Византию под 971 г., где дважды повторялась одна и та же формула, вторую летописец дополнил – «И бысть сѣча велиа зѣло». Такое усиление эпитета может говорить о желании избежать повтора в небольшом тексте одного и того же оборота.

Дальнейший текст летописи включает варианты формул в самых разнообразных сочетаниях. Простые формулы в тексте содержат главным образом традиционные эпитеты: классическая «сеча зла» (12), велика (7), брань без эпитетов – (2), велика (3), люта, крепка,

зла – однократно, бой без эпитетов (8), крепок (1), велий (3), силенъ (1), побоище без эпитетов (1), и новый эпитет при старом определяемом «сеча» – «ужасна». В повести о битве под Раковором в контексте, ранее содержавшем слово «побоище», в Никоновской летописи используется самая традиционная из формул «бысть сѣча зла», свидетельствующая о том, что определяемое «побоище» так и не закрепилось в формуле.

Заметно увеличение числа сложных формул, которые начинают образовывать тесные единства. Сочетание «брань велиа и сѣча зла» встречается шесть раз, а «бой велий и сѣча зла» – пять. Появление таких устойчивых сращений говорит о стирании значения эпитетов в вариантах формулы и стремлении летописцев увеличить ее экспрессивность нанизыванием синонимических оборотов. Все существительные, появлявшиеся в вариантах формул, могут соединяться, при этом эпитеты при них варьируются: «сѣча зла и брань велиа» (1), «битва велиа и сѣча зла» (2), «брань люта и сѣча зла» (1). Во многих составных формулах один из эпитетов усиливается наречием степени: «бой крѣпокъ зѣло и сѣча зла», «брань крѣпка зѣло и сѣча зла» (2), «брань крѣпка и сѣча зла зѣло», «брань люта и сѣча зла зѣло». В одном случае в формулу включаются сразу три определяемых: «И бысть имъ бой и брань зѣло люта и сѣча зла».

Есть и простые формулы с одним определяемым, в которых эпитеты усилены наречиями: «сѣча зла и крѣпка зѣло», «брань крѣпка зѣло» (2), «сѣча зла зѣло», «брань люта зѣло». Особенно часто распространяется и усиливается формула с существительным «сеча»: «сѣча зла и преужасна», «сѣча крѣпчайши всѣхъ прежнихъ», «сѣча зла и ужасна» (2), «сѣча велиа и преужасна». Поскольку она распространяется новыми прилагательными и входит практически во все формулы-сращения, нужно думать, что именно эта самая распространенная формула вызвала «окаменение» эпитетов, входящих в нее, что потребовало их дополнения синонимами и наречиями. Многочисленность сочетаний определяемых с эпитетами в формуле, нагнетание синонимических оборотов отвечало стремлению авторов Никоновской летописи к созданию украшенного эмоционального повествования.

Итак, на первом этапе бытования формулы начала битвы в ней использовались два основных определяемых и целый ряд эпитетов. На этапе окончательного складывания жанра и его стабильного существования в летописях выделяется основной вариант (сеча зла), наряду с ним продолжают существовать и другие, различия между ними летописцы не делают. Индивидуальные черты в передаче формулы заметны в галицко-волинской областной традиции. С XV в. начинается процесс «окаменения» традиционных эпитетов в формуле, вследствие чего летописцы стараются усилить их наречиями степени или соединением эпитетов либо вариантов формул, стремясь к увеличению экспрессивности оборота. Этот процесс достигает наивысшей точки в Никоновской летописи, авторы которой вводят в формулу новые для нее метафорические эпитеты в сочетании со старыми, что свидетельствует о стремлении к индивидуальному творчеству в рамках традиции.

История формулы начала битвы подтверждает мнение, высказанное А.Н.Веселовским по отношению к фольклору и западноевропейскому эпосу, о том, что эпитеты в устойчивом употреблении теряют свою экспрессивность, и на этапе, когда писатели начинают проявлять известную самостоятельность, независимость от традиции, они пытаются поновлять старые сочетания. Древнерусские летописцы делали это, либо соединяя старые эпитеты с новыми определяемыми и старые определяемые с новыми эпитетами, либо сочетая синонимические варианты формулы или два эпитета с одним определяемым.

3.1.3 Поздние воинские формулы в повествованиях XV–XVII вв.

«Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 г.» Нестора Искандера представляет собой новый этап в развитии жанра воинской повести. В рукописной традиции известны две редакции этого произведения – Троицкая и Хронографическая, включенная в XVI в. в Никоновскую летопись. Эта повесть затем оказала влияние на поэтические средства и летописных, и внелетописных воинских повестей. А.С.Орловым указано на появление в описаниях битвы в этом произведении двух новых формул: «от боевого шума «не бе слышати друг друга», «не видети друг друга» в дымном курении [5,11].

В описании четырнадцатого дня осады Царьграда в Повести Нестора-Искандера читаем: (см. табл.5)

Таблица 5

**Сравнение описания в Троицкой и Хронографической редакциях
«Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.»**

Троицкая редакция	Хронографическая редакция
<p>И бысть сеча <u>велиа</u> и преужасна: отъ пушечного бо и пищального стуку, и отъ зуку звонного, и отъ гласа вопли и кричания отъ обоихъ людей, и отъ трескоты оружия – <i>яко молния бо блистааху отъ обоихъ оружия</i> – также и отъ плача и рыдания градскихъ людей, и жон и дѣтей, <i>мняашеся небу и земли совокупитися и обоимъ колыбаться</i>, и не бѣ слышати друг друга, что глаголетъ: <i>совокупитися бо ся вопли, и крычания, и плач, и рыдания людей, и стукъ пищальный и звонъ кланья в одинъ звукъ</i>, и бысть яко громъ велий. И паки отъ множества огнѣй и стреляния пушекъ и пищалей обоихъ странъ дымное курение згустився, покрыло баше градъ и войско все, яко не видѣти друг друга, съ кѣмъ ся бьетъ, и отъ зелейнаго духу многимъ умрети. И такъ сѣчахуся, имаяся за руки на всѣхъ стенахъ, дондеже ношнаа тма ихъ раздѣли»[101,34-36].</p>	<p>И бысть сеча <u>зла</u> и преужасна отъ пушечнаго и пищального стуку и отъ зуку звоннаго, и отъ гласовъ воплей и кричаний отъ обоихъ людей, и отъ трескоты оружий, также и отъ плача и рыдания градскихъ людей и женъ и дѣтей, <i>яко и земли колебаться</i> и не бѣ слышати друг друга, что глаголетъ; бысть бо яко громъ велий. И отъ множества огня и стреляния пушекъ и пищалей обоихъ странъ дымное курение, сгустився, покры градъ и войско все, яко не видѣти друг друга, съ кѣмъ ся бьетъ, и съ зелейнаго духу многимъ умрети. И сѣчахуся, имаяся, на всѣхъ стенахъ, дондеже ношнаа ихъ тма раздѣли» [42:12, 84].</p>

Более поздняя Хронографическая редакция сокращает текст Троицкой или изменяет его, но четыре основных компонента описания остаются теми же:

1. формула начала битвы,
2. описание шума во время боя: стук и треск оружия, крики воинов, плач мирных жителей – все звуки сливаются воедино, так что люди не слышат друг друга;
3. описание дыма, покрывшего все войско в результате стрельбы оружия, из-за чего воины не видят друг друга;
4. сообщение о прекращении боя с наступлением ночи.

В Троицкой редакции сравнение блеска оружия с молнией, также представляющее собой одну из формул, вклинивается в описание шума во время битвы, хотя избыточно для него. Возможно, поэтому оно исчезло из Хронографической. Во второй половине описания шума битвы в Троицкой появляется повтор: вновь перечисляются звуки, которые уже были названы. Такое повторение может быть объяснено тем, что за ним следует обобщение – сравнение с «громом великим». В хронографической редакции повтор снят, а сравнение с громом прямо поясняет невозможность услышать друг друга. В целом первое описание более эмоционально, второе – строже и последовательнее в логическом отношении.

В Никоновской летописи можно обнаружить целый ряд отголосков этого описания. Под 1514 г. в рассказе о Смоленском взятии находим сходный эпизод: «... отъ пушечнаго и пищалнаго стуку и людскаго кричания и вопля, также и отъ градскихъ людей супротивнаго бою пушекъ и пищалей, земли колебаться и другъ друга не видѣти, и весь градъ в пламяни и курении дыма мняшеся воздыматься ему. И страхъ великъ нападе на гражаны, и абие начяша изъ града вопити и кликати, чтобы великий государь пожаловалъ, мечъ свой унять» [42:13,19]. Отрывок этот содержит второй и третий компоненты описания Нестора-Искандера. При этом летописец нарушил логику: в его картине невозможность видеть друг друга мотивируется предшествующим описанием шума, а упоминание пламени и дыма следует за формулой, обосновывая страх, охвативший горожан. Текст источника здесь сокращен, но сохраненные фрагменты воспроизводятся достаточно точно, так же как ритмическое оформление, создающееся группами однородных членов, соединенных попарно союзом «и».

В повести о приходе литовцев на городок Себеж под 1536-41 гг. аналогичное описание сокращено: «...и изо многихъ пушек и ис пищалей начаша на градъ стрѣляти; и въ пушечномъ и въ пищалномъ дыму и въ трѣскании другу друга не видѣти, ни гласа слышати» [42:13, 108-109]. Два компонента соединены вместе, фрагмент стал предельно логичным и словесно экономным, практически он воплощает формулу в чистом виде.

Следующее описание обнаруживается в рассказе об осаде Казани: «...и бысть сѣча велиа и приужашна, отъ пушечнаго бою и отъ пищального грома и отъ гласовъ и вопу и кричаниа отъ обоихъ людей и отъ трескоты оружий и не бысть слышати другъ друга глаголаннаго, бысть яко громъ велий и блистание отъ множества огня пушечнаго и пищального стрѣляния и дымнаго курения» [42:13, 206]. Появляется первый элемент исходного текста – формула начала битвы, совпадающая с Троицкой редакцией. В центре ставится второй элемент описания Нестора Искандера, дословно повторяются многие сочетания слов, в первую очередь именные сочетания, называющие явления, снят избыток синонимов, распространявших картину в источнике.

Сходно с предыдущим описанием взятия Казани войском Ивана IV: «И бысть сѣча зла и ужасна, и грому силну бывшу отъ пушечнаго бою и отъ зуку и вопу отъ обоихъ людей и отъ трескотъ оружий, и отъ множества огня и дымнаго курения и згустившуся дыму, и покры дымъ градъ и люди» [42:13, 213]. В нем использована та же формула начала боя, а сравнение с «громом велим» превращается в буквализм. В отличие от предыдущего описания, второй и третий элементы четко разделены: перечислены сначала звуки, создающие гром, а затем описывается дым, покрывший город, но при этом сама формула «воины не видят друг друга» не используется.

Создатели Никоновской летописи не только внесли в свод повесть Нестора-Искандера, но и усвоили стилистические приемы описания битв, свойственные этому произведению, вплоть до буквальных заимствований, хотя применяли их достаточно разнообразно, сокращая синонимические ряды, соединяя две формулы в одну или исключая одну из формул.

В «Казанской истории» встречается сходное описание: «И от пушечнаго и от пищального гряновения, и от многооружнаго скрежетания и звяцания, и от плача и рыдания градских людей – и жен, и дѣтей – и от великаго кричания, вопля и свистания, и от обоих вой ржания и топота конскаго, яко велий громъ и страшень звукъ далече на русских предѣлах за 300 верстъ слышашеся, и не бѣ ту слышати лѣзъ что друг со другом глаголати. И дымный мракъ зелный восхожаше

вверхъ и покрываше град и руския воя вся. И ношъ, яко ясный день, просвещашеся от огня, и невидима бяше тма ночная, и день лѣтний, яко темная ношъ осенная, бываше от дымнаго воскурения и мрака» [93,434]. Текст логичен и рационален. Первая часть описывает шум битвы, вторая – мрак во время нее. Лексически первая часть отличается от Повести Нестора-Искандера: стук заменяется «гряновением», дополняется «многооружным скрежетанием и звяцанием», помимо «кричания и вопля» упоминается «свистание ото обоих вои», «ржание и топот конский» (сходные образы находим в Ипатьевской летописи в сцене взятия Киева Батыем: «и не бѣ слышати отъ гласа скрипания телѣгъ его, множества ревения вельблуд его и ржания от гласа стады конь его» [37,784]). Описание причин шума построено по принципу относительного синтаксического параллелизма, подчеркнутого анафорическим союзом «и» и наличием ритма однородных членов внутри каждой из частей предложения. Сравнение мощи звуков с «велим громом» гиперболизируется упоминанием о том, что они «за триста верст слышашеся», и о том, что люди не слышали друг друга.

Вторая часть описания построена иначе, чем в Повести Нестора-Искандера и летописных текстах. Автор стремился представить реальную зрительную картину сражения в обобщенном виде, поскольку в одном фрагменте он изображал длительный бой, продолжавшийся, по его словам, сорок дней. Из описания Нестора Искандера здесь остаются лишь два сочетания с эпитетами: «тма ночная» высвечивается огнем в «Казанской истории», а у Нестора Искандера разделяет войска; «дымное курение» в памятнике XV в., стусившись, покрывает город и войско, а в памятнике следующего столетия «дымное воскурение» затмевает день. Обобщенность картины подчеркивается совмещением в описании разного времени суток: «и ношъ яко ясный день... и день летний яко темная ношъ осенная...». По сравнению с летописными фрагментами автор «Казанской истории» более самостоятелен: используя тот же источник, он конкретизирует описание, отражая ход битвы за Казань.

В «Сказании» Авраамия Палицына появляется сходное описание: «От оружейново стуку и копейного ломания и от гласов вопля

и кричания обоих людей войска, и от трескоты оружия не бе слышати друг друга, что глаголет, и от дымнаго курения едва бѣ видѣти, кто с кѣм ся бьет» [94, 340]. Описание дано автором в самом кратком, в сравнении с предшествующими памятниками, виде. Распространенный изобразительный характер свойствен только его первой половине, использующей цепь однородных членов. Вторая формула приведена в более рациональном варианте: воины «едва» видели друг друга. Такая трактовка отвечала общим прагматическим установкам в изображении событий писателями Смутного времени.

Автор «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков» по-своему передал эти формулы. В рассказе о подходе турецких войск к Азову он пишет: «После того у них в полках их почала быть стрельба мушкетная и пушечная великая. Какъ есть стояла над нами страшная гроза небесная, будто молние, коль страшно громъ живеть от Владыки с небесе. **От стрельбы их той огненной** стоялъ *огнь и дым* до неба, все наши градские крепости потряслися от **стрельбы их огненные**, и солнце померкло во дни том светлое, в кровь обратилось, как есть наступила тма темная» [102,161]. Повествователь соединил и переосмыслил две формулы: шум боя как гроза, в бою воины не видят друг друга от огня и дыма – и присоединил к ним редко встречающийся в воинской литературе библейский образ изменения светил (Иоиль 2:31, Мф.24:29, Деян. 2:20, Откр. 6:12-13), появлявшийся в «Казанской истории», но в ином фрагменте.

Обе формулы повторяются затем в рассказе о первом приступе турок к городу: «Во *огни уже и в дыму* не мочно у нас видети другъ друга. На обе стороны лише *огнь да громъ* от стрельбы стоялъ, *огнь да дым* топился до небеси. Какъ то есть стояла страшная гроза небесная, коли бываетъ с небеси гром страшный с молниемъ» [102,167-168]. В этом описании также заметно использование повторов с целью усиления выразительности текста. Отзвук тех же образов слышен в еще одном фрагменте – описании обстрела города с вала: «От пушекъ их страшный громъ стал, *огнь и дымъ* топился от них до неба» [102,169]. Стиль авторского «сказового» повествования изменил облик традиционных книжных образов и формул. Только в одном из трех описаний использо-

вана формула «воины не видят друг друга»; формула «в шуме боя люди не слышат друг друга» отсутствует совсем, хотя описание, мотивирующее ее появление, есть. В тексте ослаблен ритм, повторы однообразны и не носят регулярного ритмообразующего характера. Не отличается разнообразием и эпитетика: самым выразительным и часто употребляемым оказывается определение «страшный». Сочетание «тьма ночная» повести Нестора Искандера в первом описании заменено тавтологическим «тма темная», характерным для фольклора. Описания азовской повести самостоятельны благодаря влиянию на них устной народной традиции, которая автору ближе, чем летописная воинская.

Появившиеся в «Повести о взятии Царьграда турками» формулы битвы оказали влияние на батальные описания в Никоновской летописи и воинских повествованиях XVI-XVII вв., однако каждый из авторов по-своему интерпретировал источник в зависимости от задач произведения и определенной литературной традиции, которой следовал. Для летописных повестей важным было передать ход событий, поэтому они сокращали исходное описание, автор «Казанской истории» стремился ярко нарисовать конкретную картину боя и насыщал ее дополнительными деталями, Авраамий Палицын, основываясь на книжной традиции, прибег к летописному типу описания, автор азовской повести переработал его на основе фольклорных образов.

3.1.4. Использование воинских формул в «Казанской истории»

«Казанская история» представляет важный этап в использовании всей системы воинских формул, которые приобретают в тексте различный облик. Первый набор «общих мест» встречается в рассказе о поражении русских войск под Казанью в 1508 г. Картина изображает не столько битву, сколько ее итоги: «... и пояде меч толикое воинство: **клас несозрѣлыхъ** — юношѣ и средовѣчныхъ муж, покры земное лице трупиемъ человеческимъ, и поле Орское и Царевъ лугъ *кровию очервенишася*... И Волга утопшими людми загрязе, и езеро Кабан, и обѣрѣки — Булак и Казанка — наполнишася побитыми тѣлеси христианскими. И *течь вода по три дни с кровию*, и сверхъ людей лзя было казанцомъ ходити и ѣздити, **аки по мосту**» [93, 288].

Традиционная метафора сопоставляет погибших воинов со срезанными колосьями, а далее приводится сравнение мертвых тел с мостом для победителей. Но эти образы составляют часть конкретного, географически детального описания, поэтому теряют формульность, превращаясь в обычные тропы. Второй из них совпадает с традиционным по контексту: обычно он использовался в описании осад городов, где трупы погибших врагов служили победителям «мостом и лестницей» ко граду [101,40]. В «Казанской истории» разрыв устойчивой контекстуальной связи приводит к тому, что формула вписывается в иную зрительную картину, приобретая большую выразительность: через кровавые реки казанцы ходят и ездят по мосту из тел погибших русских воинов. Дважды повторенный мотив кровопролития напоминает формулу крови, текущей рекой. Но традиционная форма сравнения снята и создана картина земли и воды, окрашенных кровью, причем в первом случае образ создан на основе тавтологии: «кровию очервленишася». Переосмысливая традиционные образы, автор использует и редкую для древнерусской литературы метафору «земное лице», сохранившуюся до нашего времени в составе фразеологизма.

Формулы в описании либо конкретизированы, либо использованы в непривычном контексте, либо лишены привычной грамматической формы, либо соединены и приведены в нескольких вариантах. Благодаря этому они усиливают изобразительность текста.

Сходный процесс наблюдается в использовании формулы «многочисленное войско – река или море», приведенной в рассказе о приходе войска Ивана IV под Казань: «И облегоша воя руския градъ Казань. И бѣ видети многия силы, аки море волнующесе около Казани или вешняя великая вода по лугомъ разлиися» [93,416]. Автор, приводя не одно, а два сравнения, делает картину более наглядной и выразительной и придает образу динамизм, подчеркивая с помощью глагольных форм «волнующися» и «разлиися» мотив движения сил русского царя.

Изменение формулы заметно и в одном из эпизодов битвы на подступах к Казани: «И бяхуса с русью, выѣзжая по седьмь дней, не дадаху руси ко граду приступовъ чинити. Рустей же силе велице суще

и всегда казанцев прогоняю, биюще: **на единого бо казанца сто русинов, а на два двѣсте**» [93,424]. Формула «один бьется с тысячей, а два с тьмою», обычно относившаяся к русским воинам, грамматически изменена и переадресована казанцам. Обычно образ подчеркивал доблесть русских воинов, каждый из которых сражался с тысячами врагов, в «Казанской истории» он акцентирует мысль о многочисленности русского войска, которому не могут противостоять казанцы. Гиперболичность формулы уменьшается: вместо тысячи и десяти тысяч – гораздо более скромно и рационально: сто и двести.

Отдельные воинские формулы разбросаны в эпизодах последней битвы за Казань: «...и придоша во град на конех своих, яко грозныя тучи с великимъ громомъ, льющеся со всѣхъ стран, аки сильная вода, во всѣ врата и проломы», «И трескотаху копия и сулицы, и мечи в руках их. и, яко гром силен, глас и кричание обоих вои гремюще» [93,462], «Скоро побѣжени бываху казанцы, яко трава, посѣцахуся» [93,468]. Формулу в традиционном виде представляет только третий случай. В первом фрагменте использованы два сравнения вместо одного, образ тучи с громом распространен эпитетами «грозный» и «великий». Во втором случае формула еще более осложнена. Перечисляются три вида оружия, издающие звуки, сравнение с громом дополнено эпитетом «силен», а объект сравнения выражен синонимическим сочетанием.

Цепь формул, встроенных в картину конкретного боя, встречаем еще в одном описании: «И бѣ видети, яко высокия горы, громады же великия побитых казанцев лежащих, яко внутрь града з градными стѣнами сравнитися, и во вратѣх же градных, и в проломѣх; и за градом – в ровѣх, потоцех и в кладязѣх, по Казани реке и по-за Булаку, по лугомъ, безчисленно мертвых бысть, яко и сильному коню не могущу доволство скакати по трупию мертвых казанцевъ, но вседати воином на иныя коня и пременятися.

Рѣки же по всему граду кровию их пролияшася, и потоцы горячих слез протекоша; яко великия лужи дождевныя воды, кровь стояше по нискимъ мѣстомъ; очерленеваше земля, яко и речным водам с кровию смеситися, и не можаху людие из рѣк по 7 дний пити воды,

конем же и людем в крови до колѣна бродити» [93,470]. Сравнение множества убитых с горой распространено не только эпитетом «высокий», но и дополнительным сопоставлением с высотой городских стен, а затем перечислением всех мест, где лежали убитые. Автор добавляет к этому описанию формулу «воины вынуждены пересаживаться на других коней», чтобы подчеркнуть количество погибших казанцев, то есть меняет назначение формулы. Обычно она использовалась для определения продолжительности и тяжести битвы, здесь же – для описания ее результатов. Эта картина во многом сходна с описанием поражения русских в битве 1508 г., приведенном выше. Поэтому возможно, что автор вполне сознательно использует еще один мотив, встречавшийся в первом описании: «кровь течет, как река». В данном случае образ становится выразительнее благодаря риторическому варьированию: реки крови; как лужи дождевой воды, кровь в низинах, окрашивающая землю в красный цвет; речные воды, смешанные с кровью; люди и кони, бродящие в крови по колено. Тут же автор привлекает сходный образ «реки слез», оформляя его с помощью индивидуальной гиперболы «потоцы горячих слез протекоша», подчеркивая размеры поражения, нанесенного казанцам.

Продолжая сравнение двух описаний, обнаружим еще один сходный прием в изображении тяжести потерь, понесенных в первом из боев русскими: реки «течаща по 3 дни кровию», а во втором – казанцами: «не можаху людие из рек по 7 дни пити воды». Сходство в построении описаний наводит на мысль о том, что автор стремился подчеркнуть: взятие Казани – справедливое возмездие царству, много веков губившему русских людей.

В «Казанской истории» наблюдаем процесс разрушения формул воинского повествования за счет их распространения с помощью изобразительно-выразительных средств и риторических приемов, соединения цепи формул, обрамленной конкретными деталями, характеризующими данную битву. Конкретизированные формулы, по существу, возвращаются на новом уровне к своему первоначальному состоянию – яркому изображению определенных этапов военных событий.

3.2. Изобразительно-выразительные средства в воинском повествовании

3.2.1. Система тропов в воинских повестях XII–XV вв.

Проблема изучения художественных средств древнерусских воинских повестей поставлена в литературоведении давно, ей посвящено значительное количество исследований, однако все они касаются либо функционирования отдельных видов тропов, либо изучения конкретных памятников [96;10;11, 437-489;127;128]. Попытки проследить характер и причины изменения системы изобразительно-выразительных средств в произведениях воинского жанра не предпринимались.

Система тропов воинской повести изменялась в связи с рядом конкретных особенностей развития и самого жанра, и литературы в целом. Этот процесс был обусловлен следующими причинами: 1) преимущественным вниманием к тем или иным событиям в рамках традиционного содержания жанра; 2) постепенным усложнением сюжетно-композиционной структуры памятников; 3) степенью внимания автора к персонажам произведения; 4) общелитературными стилевыми тенденциями конкретных эпох. Для того чтобы проследить влияние всех этих факторов на эволюцию системы тропов, представим сначала исходное состояние этой системы.

Поэтические приемы отрывков воинского жанра в тексте ПВЛ еще очень незначительны, как было показано выше, это преимущественно эпитеты и сравнения в рамках формирующихся воинских формул.

В конце XII в., когда композиция и основные типы воинских повестей уже оформились, тропы становятся более многообразными и зависят в значительной мере от типа повести – событийного или информативного. Эта зависимость ярко прослеживается в двух повестях о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г.

Лаврентьевская летопись содержит повесть информативного типа, в ней встречаем формулу начала битвы с наречием, усиливающим эмоциональное звучание эпитета: «И бысть сѣча зла велми». В описании затмения появляется сравнение с природным объектом: «... и в солнци учинися яко месяц, из рог его яко уголь жаров

исхожаше». Употреблены и другие тропы: метафора, которая затем превратится в формулу: «... и побежени быша наши гневом божиим»; метонимия гиперболического типа: «половци же, услышавше всю землю Русскую идуще...», антитеза, восходящая к библейским текстам: «Где бо бяше в нас радость – ноне же въздыхание и плачь распространися!».

Таким образом, повесть о походе Игоря информативного типа использует тропы в редких случаях.

Иную картину встречаем в повести по Ипатьевской летописи, представляющей событийно-повествовательный тип. Здесь использовано большее количество эпитетов, характеризующих персонажей, их чувства и мысли. Так, дважды охарактеризована эпитетом мысль – Лавра, желающего помочь Игорю бежать, как «благая», и Игоря, решающего бежать только вместе с другими пленными, как «высока». Игорь говорит о ранах, нанесенных им в междоусобных войнах, с помощью метонимических эпитетов как о «лютых и немилостивых». Владимир Глебович Переяславский характеризуется как отважный воин: «Бяше дерз и крепок к рати». Расширение круга эпитетов в данном случае связано с интересом к действующим лицам, характерным для воинских повестей этого типа.

Количество сравнений в этой повести также больше, в основном за счет тех, которые выполняют изобразительную функцию. Повторяется сравнение для описания знамени, которое есть в Лаврентьевской летописи: «виде солнце стояще яко месяц». В описании начала битвы появляется сравнение-формула вражеских войск с лесом: «Начаша выступать полци половецкии, акъ борове» а затем близкое к нему по функции сравнение войска со стенами: «Яко стенами силнами, оговорени бяху полки половецскими».

Тавтологическое сравнение, соединенное с метонимией, подчеркивает чувство смятения, возникшее в русских городах после поражения Игоря и нового набега половцев: «И мятяхутся, акы в мутви, городи воставахуть». То же чувство растерянности передает и формула-гипербола: «бысть бо их бечисленное множество» – говорит автор о наступлении половцев.

Итог битвы Игоря с половцами, так же как и в Лаврентьевской летописи, подведен с помощью эмоционально-лирической антитезы: «И тако во день святаго воскресения наведе на ня Господь гнев свой, в радости место наведе на ны плач, и во веселиа место желю на реце Каялы». Образ здесь более распространен и близок к первоисточнику, чем в информативной повести.

Значительную роль в описании битв играют метонимические обороты, многие из которых являются воинскими формулами: «ратници ваши со доспехом ездят», «Всеволод же толма бившися, яко и оружья в руку его не доста», «взях на щит город Глебов у Переяславля», Владимир Глебович «утре мужественаго поту своего за отчину свою», пришел «Кза... у силах тяжких».

Метафорические обороты в тексте связаны преимущественно с эмоционально окрашенной речью – три из них приходится на плач Игоря, попавшего в плен: «и снidoша днесь греси мои на главу мою», «а мертвии радовахуся, аки мученици святеи, огнемь от жизни сея искушение приемши», «се ныне вижду другая мучения веньца приемлюще»; один – на слово Святослава Всеволодовича: «Не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю».

Таким образом, повесть о походе Игоря в Ипатьевской летописи шире использует разнообразные тропы с целью описания не только битв, но и чувств, эмоциональных состояний персонажей, чем информативная повесть Лаврентьевской летописи.

С XIII в. в системе тропов появляются изменения, связанные с причинами, указанными выше, причем в разных памятниках эти причины могут проявляться то по отдельности, то в комплексе.

Перенесение акцента с описания битвы на изображение ее последствий – страшных опустошений и смерти, принесенных врагами на Русскую землю – сказывается в повестях о взятии татарами русских городов по Лаврентьевской летописи. Поэтому в них почти полностью отсутствуют художественные средства, применявшиеся для описания битв. Характерным примером этого явления может служить «Повесть о битве на реке Калке» в редакции Лаврентьевской летописи. В той же повести по Тверской летописи есть описание битвы, поэтому тропы

здесь разнообразнее, хотя их тоже немного: «похвалися седлы наметати супротивных», «свьѣкупивше всю землю Русскую», «и ту котию падоша», «сабле не махивати» – последний оборот имеет метафорический смысл, поскольку приведен в речи киевского князя Мстислава Романовича, похвалявшегося, что, пока он правит в Киеве, Руси не угрожает нашествие врагов.

Влияние усложнения сюжетно-композиционной структуры и усиления внимания к персонажам на систему художественных средств заметно в «Повести о разорении Рязани Батыем». Соединение в произведении четырех, по всей видимости, разновременных и разнохарактерных частей привело к тому, что в ней скрестились воинская, фольклорная и житийно-гимнографическая традиции. Кроме того, в каждой части свой главный герой, и все они изображены развернуто, наделены определенными качествами и получают оценку других персонажей и повествователя, поэтому появляется новая и достаточно сложная система тропов.

Основное место в этой системе занимают эпитеты. Первая группа их связана с обозначением качеств людей, причем вторым планом они содержат оценку: «воеводы храбры и мужественны», Евпраксия «красна бѣ зело», Олег Ингорович «велми красен и храбр», «воеводы крепкы», «силныя полкы татарскыя», Евпатий «исполин силою» и др. Вторая группа содержит эмоционально-оценочные эпитеты, выражающие отношение повествователя или персонажа: «послы безделны» (Батыя), «честнаго своего господина», «возлюбленного своего государя», «любезное чадо свое», «удалцы и резвецы резанския», более всего эпитетов этого типа заслужил Батый – «безбожный», «льстив и немилосерд», «лукав и немилостив», «окаянный», «зловѣрный», «злой тот отметник враг христьянский», «нечестивый законопреступник». Повышенной эмоциональностью отличаются эпитеты метафорического характера: «смертоносныя глаголы» – так характеризует повествователь рассказ Апоницы о гибели Федора Юрьевича, приведший к смерти Евпраксии; «Си бо люди крылаты, и не имеющие смерти» – говорят воины Батыя о рязанцах.

В двух случаях эпитеты, обозначающие высокую степень качества или количества, также служат эмоциональной оценке происходящих событий, хотя, казалось бы, характеризуют предметы. Эпитет «превысокий» дважды в сравнительно небольшом фрагменте текста прилагается к храму, с которого бросилась Евпраксия с сыном, узнав о смерти мужа. Повтор эпитета неслучаен: он подчеркивает ужас случившегося, акцентирует трагизм происходящих событий. Второй подобный эпитет связан с гибелью Евпатия Коловрата: его убили «исчмочисленных пороков». В самом употреблении этого эпитета использована своеобразная тавтология, связанная с нагнетанием эмоциональности: «И навадиша на него *множество пороков*, и нача бити по нем ис *тчмочисленных пороков*, и едва убиша его». Таким образом эмоционально подчеркивается сила, мужество и стойкость персонажа.

Впервые в жанре воинской повести в этом произведении часто употребляется эпитет «великий», который имел чрезвычайно широкий круг значений в древнерусском языке. Случаи использования его в «Повести о разорении Рязани Батыем» убеждают в том, что автор применял этот эпитет не столько в номинативных, сколько в выразительных целях, как и предшествующие два. Например, Юрий Ингваревич посылает сына к Батыю «з дары и молении великиими», после смерти Федора и Евпраксии в Рязани был «великий плач и рыдание», «А Батыеве бо и силе велице и тяжце», Олег Ингоревич изнемогал «от великих ран», «от великаго кричания» Ингварь лежал на земле, как мертвый.

В повести происходит расширение круга эпитетов прежде всего с эмоционально-выразительной функцией, служащих для характеристики и оценки персонажей.

В ряде случаев в «Повести о разорении Рязани» использованы сравнения. Одно из них – формула воинского повествования: «...течаше кровь христьянская, яко река сильная», где сравнение выполняет изобразительно-выразительную функцию. Другое сравнение применяется для раскрытия душевного состояния Ингваря при виде разоренной Рязани: «...слезы же его от очию, яко поток, течаше» и выполняет эмоционально-выразительную роль. Той же цели подчинены и сравнения, характеризующие плач Ингваря: он «жалостно воскричаша, яко труба,

рати глас подаваючи, яко сладкий арган вещаючи», «воскрича горько велием гласом, яко труба распалаяся».

Два сравнения в повести связаны с сопоставлением по состоянию людей и выполняют описательную функцию. Когда Евпатий догнал татарские войска и стал сечь их без милости, «татарове же стаха, яко пианы или неистовы», Ингварь, увидев разоренную Рязань, «лежаща на земли, яко мертв». Таким образом, сравнения в повести также более активно используются для изображения персонажей.

С той же целью раскрытия чувств героя появляется в плаче Ингваря олицетворение, упоминавшееся в связи с особенностями плача.

Сходны по функции с этими тропами метафоры. О решении Батыя убить Олега Ингоровича говорится: «дохну огнем от мерскаго сердца своего», а о смерти Олега «прия венець своего страдания». Состояние Ингваря при виде гибели Рязани характеризуется так: «И едва отдохну душа его в нем». Сам он в плаче также говорит о своих чувствах с помощью метафор.

Самая распространенная метафора «Повести о разорении Рязани» – «чаша», идущая от распространенной в средневековой письменности и фольклоре более общей метафоры «пир – битва». В рамках этой более общей метафоры она приобретает смысл «чаша – смерть». Она встречается в тексте восемь раз, что делает ее своеобразным лейтмотивом повести, придающим тексту единое эмоциональное движение. Восходя в конечном итоге к Библии, эта метафора отражает лишь одно из значений библейского символа.

Значительное нагнетание средств с выразительной функцией находим в плаче Ингваря Ингваревича. Помимо уже упомянутых, это метафоры-символы, широко распространенные в древнерусской традиции, часто не имеющие изобразительного смысла, но помогающие передать отношение персонажей к другим лицам.

Той же цели служит и антитеза, уже встречавшаяся в предшествующих памятниках, дважды повторяющаяся в «Повести о разорении». Первый раз – в авторской речи: «...в радости мѣсто всегда плач творяще», а затем в плаче Ингваря: «...За веселие плач и слезы приидоша ми, а за утѣху и радость сетование и скръбь яви ми ся!». По рас-

пространенности в воинских повестях этот образ также представляет собой формулу.

Все остальные средства повести относятся к описанию битв, и в большинстве представляют собой формулы гиперболического характера: «Един бяшесе с тысящей, а два со тмою», «Преседоша с коня на кони и начаша битися прилѣжно», «Еупатию тако их бяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарскыя мечи и сѣчаша их», «татарове мняше, яко мертви восташа», «Евпатий же исполин силою и разсѣче Хостоврула на полы до седла... нарочитых багатырей Батыевых побил, ових на полы пресекоша, а иных до седла краяше», а также формулы описательного типа: распространенная формула начала битвы «бысть сѣча зла и ужасна», формула, указывающая на многочисленность вражеского войска и длительность битвы: «Батыево бо войско применишася, а гражане непремѣно бяшесе», формула, описывающая подготовку к осаде города: «приидоша погании ко граду, овии с огни, а инии с пороки, а ииѣ со тмочисленныма лѣствицами...».

Большое количество воинских формул в произведении, так же как и вообще увеличение количества тропов, связано с усложнением сюжетно-композиционной структуры повести, поскольку здесь изображена не одна, а три битвы: битва на подступах к Рязани, осада города, бой Евпатия Коловрата с Батыем, а также круг событий, связанных с этими битвами. Таким образом, "Повесть о разорении Рязани Батыем» не только соединяет ряд эпизодов, связанных с одним событием, но и использует более разветвленную систему художественных средств, различных по происхождению, подчиненных цели изображения не только событий, но и персонажей.

Следующий этап в развитии жанра воинской повести представляют собой повествования о Куликовской битве. В них прежде всего сказалась общая литературная тенденция эпохи, состоявшая в усложнении стилистики произведений за счет соединения, нанизывания поэтических и риторических средств. Проявление этой тенденции встречаем в Краткой редакции летописной повести о Куликовской битве, принадлежащей к информативному типу. Формула начала битвы выглядит здесь так: «...И бысть на дльзе часе брань крепка зело и сеча зла»,

то есть традиционный образ распространяется и усложняется за счет тавтологии.

Тенденция к соединению художественных средств прослеживается практически во всех видах тропов: в эпитетах – «поле чисто и велико зело», «безбожный злочестивый ординский князь, Мамай поганый», Мамай «видя себе бита и бежавша и посрамлена и поругана»; метафорах – «крепко бишася с иноплеменики и твердо за нь брашася, и мужьскы храброваша и дръзнуша по бозе за веру христианьскую». Даже гиперболы строятся в произведении с применением тавтологии: формула «мертвых множество бесчисленно», «многа стада кони, и вельблюды, и волы, им же несть числа». Такое использование художественных средств сходно с тем, которое видим в житийной литературе того времени: именно нанизывание тропов, их синонимия и тавтология составляли важнейшую черту стиля «плетения словес». Однако в связи с небольшим объемом повести число художественных средств в ней незначительно, например, из сравнений использовано лишь одно: «а Мамая оставиша, яко поругана». Большая часть тропов носит эмоционально-выразительный характер.

Влияние того же процесса, только в более концентрированном виде, наблюдаем в Пространной редакции летописной повести, поскольку она принадлежит к событийно-повествовательному типу. Здесь обнаруживается рост количества художественных средств, в первую очередь эпитетов, характеризующих людей, их качества и чувства.

Главного героя, князя Дмитрия, характеризуют эпитеты этикетные: «благочестивый», «христолюбивый». Причина такой бедности эпитетов, очевидно, в том, что автор передает облик князя разнообразными средствами – через поступки, плачи и молитвы, следовательно, нет необходимости в характеристике через эпитеты. Зато враги Дмитрия в повести удостоены большого количества эпитетов, особенно Олег Рязанский; поскольку Мамай закономерно был врагом Руси, характеризуется он довольно традиционно – «нечестивый», «зловерный». Олег же был предателем, отступником, поэтому его качества автор раскрывает разносторонне, используя как одно из основных средств эпитеты: «велеречивый и худой», «лстивый сотонщик», «дьяволь советник, отлу-

ченный сына божия, помраченный тмою греховною... поборник бессерменьский, лукавый сын», «душегубивый», «лукавый», «кровопивец крестьянский». Нагнетание эпитетов, близких по смыслу, в различных сочетаниях призвано усилить эмоциональную оценку предателя.

В оценках врагов используется эпитет «темный» в характерном для него метафорическом значении – злой, дьявольский. Он встречается в ряде сочетаний: «темные князи поганые», «темный сыроядец Мамай», «силы темныя», «темныя власти». Этому злему началу противопоставлено начало доброе, светлое, воплощенное, например, в эпитете «тресолнечный» в рассказе о небесном воинстве, пришедшем на помощь войску Дмитрия.

Разнообразные метафорические эпитеты характеризуют чувства персонажей и явления: «злый совет», «весть лестную», «в невеселую годину», «горкий плач», «злострастные и горкия печали», «рыдание крепко», «огненные слезы», «пагубная смерть», «злаго убийства».

Традиционная группа эпитетов, связанная с описаниями битвы. Прежде всего встречаем эпитет «зла» в формуле начала боя, «трус страшен», «оружие люто». В трех случаях эпитеты, традиционные для описания битв и воинских атрибутов, входят в состав единого метафорического оборота и сами получают переносное значение: в повести говорится, что Дмитрия «Бог заступил... щитом истинным... и рукою крепкою и мышцею высокою» (ср. Пс.5:13, 135:12). Такой же метафорический оттенок приобретает эпитет в сочетании «пламенные стрелы», когда речь идет о видении полка святых мучеников, помогающих русским войскам. Но в данном случае эпитет имеет и изобразительное значение света, дважды повторенное в описании, поскольку с эпитетом «пламенный» соседствует уже упоминавшийся эпитет «тресолнечный».

Сочетание с эпитетом «неготовыми дорогами» повторяет аналогичное сочетание из «Слова о полку Игореве», причем употреблено с тем же глаголом; в «Слове» – «побегоша» половцы, в повести Мамай говорит после поражения: «...побежите неготовыми дорогами».

В двух случаях встречаем в Пространной редакции тавтологические эпитеты: «непобедимая победа» и «прехвальными похвалами», а также

сложные эпитеты: «човеколюбивый Бог», «многоименитаа Дево», «Господи... всемогущий и всемогущий», «богохранимый град». Обе эти группы эпитетов практически отсутствовали в воинских повестях предшествующего времени, были связаны в основном с традицией торжественного красноречия, начали распространяться в исторической литературе именно в эпоху Куликовской битвы.

Широкое распространение в памятнике получил эпитет «великий». Он употребляется с названиями людей – «великийи ратници», «полки велики», чувств и проявлений этих чувств – «великим рыданием, воздыханием», «туга велика», в описании природы – «тма велика»; придавая сочетаниям повышенную выразительность.

Таким образом, круг эпитетов в Пространной повести о Куликовской битве значительно расширяется за счет эпитетов эмоционально-выразительного характера.

В Пространной повести встречаемся со значительным кругом сравнений, с явлениями природы: «поострю, яко молнию, меч мой», войско Дмитрия «въкруг оступиша около, аки вода многа обаполь», во время битвы «прольяха кровь, аки дождева туча». Первое сравнение появляется в эмоциональной речи Дмитрия и связано с Библией (см., например, Иез. 21:28), второе традиционно и является воинской формулой, третье тоже близко к традиционному образу, но выражено необычно: вместо «рек и потоков» образ сравнения – дождевая туча.

Все сравнения с животными в повести отнесены к Мамаю; он сопоставлен с аспидом, змеей, ехидной. Эти сравнения указывают на злое начало, если образ змеи и аспиды двусмыслен – символизирует мудрость и зло, то ехидна однозначно обозначает зло, в соответствии с рассказом популярного в Древней Руси «Физиолога».

Преимущественно с описанием битв связаны гиперболы в Пространной редакции. Три из четырех описывают множество войск, собравшихся на Куликовскую битву: «И от начала миру не бывала такова сила русских князей и воевод местных», «придоша Дон... яко основанию земному подвизатися от множества сил», «земля тутняше, горы и холми трясахся от множества вой бесчисленных...». Первая часть последней из гипербол напоминает «Слово о полку Игореве»,

где в описании битвы сказано: «Земля тутнет...». Еще одна гипербола связана с описанием множества военных трофеев русских войск: «...пригна бо с собою многа стада коней, и велблуды, и волю, им же несть числа».

Значительное место в системе тропов повести занимают метафоры. Некоторые представляют собой воинские формулы: «гоними гневом божиим и страхом божиим одержими сущи», «став... на костях татарских, утер поту своего и отдохнув от труда своего...». Одна из метафор полностью повторяет Краткую редакцию: «крепко бишася с иноплемненники и твердо бравшеся». Четыре метафоры связаны с характеристикой поступков и чувств персонажей произведения. Мамай «с яростию подвижеся силою многую», Олег Рязанский начал «зло к злу прикладати», Мамай «възъярився зраком и смутися умом и распалися лютою яростию», Дмитрий «въздыхнув из глубины сердца своего».

Следующая группа метафор, связанная с мыслью о божественном суде над врагами Руси, использует, прямо или опосредованно, образы Библии: на Олега «меч божий острится», Дмитрий в молитве говорит: «... примет суд рука моя... упою стрелу мою открове их... пролий на них гнев твой, Господи...». Эти образы носят эмоциональный характер, так же как и метонимия, появляющаяся в молитве Дмитрия: «... Пошли руку твою свыше и помилуй ны» (ср. Пс. 143:7).

Таким образом, Пространная редакция летописной повести о Куликовской битве использует широкий круг художественных средств, в отличие от Краткой, что связано с иным типом сюжетной организации и значительной ролью действующих лиц. Большинство тропов повести направлено на характеристику персонажей и описание битвы.

На художественных средствах «Сказания о Мамаевом побоище» сказался целый ряд особенностей повествования. Прежде всего, усложнение сюжетно-композиционной структуры, достигающееся за счет введения микросюжетов, сюжетных линий отдельных персонажей, описательных элементов (пейзаж, описание войска) и лирических фрагментов. Усложнение структуры, в свою очередь, связано с изменением взгляда автора: его интересует уже не только сам ход событий, их последовательность, но и формы их воплощения, реальные детали.

По сути дела, автор этой повести возвращается к изобразительной традиции «Слова о полку Игореве», но только в другое время, с другим литературным опытом, с новыми стилистическими тенденциями.

Самым многочисленным видом тропов в произведении остаются эпитеты, но они разнообразнее, чем в современных «Сказании» произведениях.

Первая группа – эпитеты, характеризующие персонажей произведения, – связана в основном с оценкой врагов, особенно Мамаю. Он «поганный», «злый христианский укоритель», «свирепый зверь», «безбожный царь». В то же время его союзник Олег Рязанский называется Мамаю «всточным великим и волным, царем царем», «всесветлым царем». Таким образом, набор эпитетов помогает выразить не только авторскую оценку, но и различие оценок автора и отрицательного персонажа. Дважды с эпитетами упоминается Батый – «безглавный», «злой». Он в произведении появляется как предшественник Мамаю, на чьи успехи тот ориентировался, готовя поход на Русь.

Как и в Пространной редакции, сравнительно небольшое количество эпитетов характеризует Дмитрия: в начале повествования он «смирнен человек», не ведающий злого умысла врагов Руси, перед боем Ольгердовичи советуют ему «буйными глаголы глаголати», вдохновляя воинов на битву, в конце произведения Дмитрия находят «бита и язвена вельми и трудна, отдыхаючи ему под сению ссечена древа березова».

Русское воинство как единая сила характеризуется преимущественно традиционными эпитетами: «крепкыи оружники», «крепкыи юноши», используется и целый ряд других сочетаний с эпитетом «крепкий»; «удалыа витязи», «удалыа люди», «тврѣдый стражъ», «Христолюбивое вѣинство». Все эти эпитеты подчеркивают качества, способствовавшие победе русских войск в Куликовской битве.

Значительное количество эпитетов связано с описанием природных объектов и явлений, большинство из них выполняет изобразительную функцию, хотя некоторые метафоричны: «синиа небеса», «кроткий ветрець». «нощь глубока», «мраци роснии», «огнены зари», «мглыно утро», «кровавые зари», «силнии мльниа». Используются и постоянные эпитеты фольклора: «дубрава зелена», «зеленаа мурова», «сыраа земля».

Отдельные метафорические эпитеты несут эмоционально-выразительную функцию, например, в сочетаниях «день грозный», и «по велику, силу и грозну побоищу».

Существенную роль в повести приобретают эпитеты со значением света в его реальном и символическом проявлении. С одной стороны, эпитет «светлый» используется автором в прямом значении в описании времени битвы: «Осени же тогда удолжившись и деньми светлыми еще сияючи», но в этом же описании дается и раскрытие символической идеи света как истины, добра – «Поистине бо рече пророк: «Ночь не светла неверным, а верным просвещена». В этом символическом значении эпитет употребляется в сочетании «светлую свещу», которым Дмитрий определяет митрополита Петра, «светлыми багряница» были на Борисе и Глебе, явившихся в видении Фоме Кацибею, в сложном эпитете «светоносный праздник» (Рождества Богородицы).

Небольшую группу составляют изобразительные эпитеты со значением цвета, о которых ниже скажем отдельно.

Группа эпитетов характеризует предметы и явления, ранее не описывавшиеся воинской повестью: «грады красные», «к славному граду Москве», «ис камена града Москвы», «на красном перевозе».

Широко используется в повести эпитет «великий» (более 30 случаев), преимущественно с эмоционально-выразительной функцией.

Итак, круг эпитетов в «Сказании о Мамаевом побоище» расширяется за счет средств, описывающих явления природы и предметы, что связано с уже упомянутым изменением взгляда автора на события.

Сравнения в произведении можно разделить на две большие группы: сравнения с предметами и явлениями и сравнения с библейскими и историческими лицами и событиями. В первой группе наиболее многочисленны сравнения с явлениями природы. В первую очередь, они традиционно используются в картинах битв. Самый распространенный из образов – образ текущей воды. Эти сравнения относятся к формулам воинского повествования: потоки крови во время битвы сравниваются с морской водой, слезы – с рекой. Сравнение слез с реками, обычное для картин битвы, в данном случае передает чувства

Евдокии, провожающей Дмитрия в поход, и самого Дмитрия, знающего по приметам о потерях в будущей битве.

Второй распространенный образ природных сравнений используется только в картинах битвы – это также формула: гибнущие люди сравниваются с падающими, скошенными, склоняющимися растениями (трава, лес, деревья дубровная, санныя громады). По функции к этим сравнениям близко сравнение, использованное в описании поля боя, объезжаемого князьями после битвы: «лежыт поганый печенег, злый татарин, аки гора». Все упомянутые сравнения основаны на зрительном сходстве и выполняют изобразительно-выразительную функцию.

В двух случаях сравнения построены на основе слуховых впечатлений и также связаны с битвой. В первом случае это сравнение движения рати Дмитрия с громом, подчеркивающее многочисленность и силу войска, в другом – сравнение с громом усиливается двумя другими, не природного характера в сцене испытания примет Дмитрием Волынцем: «... слышит стук велик и кличь, и вопль, аки тръги снимаются, аки град зиждуще, и аки гром великий гремить...», а далее появляется необычное сравнение с элементами олицетворения: «... а по левой же стране, аки горам играющим – гроза велика зело». Оба эти сравнения символически предвещают масштабы и тяжесть грядущей битвы.

Три сравнения связаны с образом света, огня. В первом случае – в видении Фоме Кацибею: ему являются «два юноши, имущи на себе светлыи багряница, лица их сияюща, аки солнце». Сравнение не только подчеркивает зрительный образ света, но и имеет символическое значение святости. Второе сравнение также связано с видением «некого самовидца», который видел «облак, яко багряная заря над пльком великого князя», руки в этом облаке опустили венцы победы и мученичества на головы воинов. Сравнение с зарей несет двойственный смысл: изобразительный и символический. В третьем случае, когда Мамай, видя гибель своего войска, начинает призывать на помощь языческих богов, автор замечает: «И не бысть ему помощи от них, сила бо святого духа, аки огонь, пожигает их». Таким образом, свет и огонь в сравнениях связаны с божественным началом.

Вторая большая подгруппа природных сравнений содержит образы животных и птиц, которые ведут начало от двух традиций: либо от книжной, в частности библейской (волки и овцы; лев, ехидна), либо от фольклорной, но образы эти уже перешли в книжную традицию, – как, например, соколы, лебеди, появившиеся уже в «Слове о полку Игореве». Сравнения книжного происхождения используются для характеристики как русских воинов, так и врагов. Например, Мамай дважды сравнивается со львом, и в то же время русские воины в бою «сердца имуща аки лвовы», точно так же и с волками сравниваются татары и русские воины. Употребление сравнений фольклорного происхождения более редко и более фиксировано: в отрицательном сравнении соколы – русские воины, стада лебедины и гусины – враги. Сравнения с животными носят более отвлеченный символический характер, чем сравнения с явлениями природы, поэтому основная их функция – выразительная.

Последняя подгруппа – традиционное для фольклора сравнение битвы с пиром, которое в литературе ярче всего представлено в «Слове о полку Игореве». Это сравнение в «Сказании» носит метафорический характер: «... а по нем грядуть русские сынове успешно, яко медвяныя чяши пити и сътеблиа виннаго ясти...»; «непрестанно покушающися, яко званнии на брак сладкаго вина пити». Эти сравнения связаны с передачей чувств воинов, стремящихся вступить в праведную битву.

Итак, сравнения с явлениями и предметами действительности служат более всего для создания картин битвы и для описания действий и чувств персонажей, все они в памятнике связаны с одной из трех традиций – воинских повестей, фольклора, Библии.

Особую, количественно значительную в «Сказании о Мамаевом побоище» группу составляют сравнения с библейскими и историческими лицами и событиями, специфические по функциям. Они разобраны в работе В.В.Кускова [129]. Для нас имеет значение, во-первых, многообразие источников этих сравнений (Библия, жития, исторические памятники), во-вторых, основные их художественные функции: предсказание хода событий, подтверждение мыслей повествователя, характеристика и эмоциональная оценка персонажей произведения,

по преимуществу в рамках прямой речи героев. В целом явления ретроспективной исторической аналогии в «Сказании» выступают как средство лаконичного и емкого изображения персонажей и событий, то есть по сути своей несопоставимы со сравнением как тропом.

В тексте «Сказания» присутствуют метафоры-символы, традиционные для древнерусской литературы. Это образ пшеничных колосьев, подавляемых тернием, дважды отнесенный к братьям Ольгердовичам, выросшим среди врагов Руси и решившим поддержать Дмитрия, и один раз в речи Дмитрия Волынца, приложенный к русским войскам, терпящим в бою трудности до выступления засадного полка. И в том и в другом случае несомненна эмоционально-выразительная функция этого средства, подчеркнутая распространением метафоры-символа, превращением ее в поэтическую картину. В том же функциональном ряду находится и распространенная метафора «свеча», отнесенная в молитве Дмитрия к митрополиту Петру.

Видоизменение традиционного образа наблюдаем и в использовании метафоры «чаша смертная». Употребленная четырежды, она распространяется и по существу включается в более общее сравнение «пир – битва».

Ряд метафор в произведении призван служить раскрытию и описанию чувств персонажей, в первую очередь Мама и Дмитрия: Мамай «нача подвижен быти и дьяволом палим непрестанно», «грядет на нас, неуклонным образом ярость нося»; Дмитрий «источник слез проливающи», «сердцем своим велми слезяше», «сердцем боля кричаще, а слезами мыся». Метафоры эти показывают различие в спектре чувств двух полководцев, отражающее в значительной мере не только сущность их личностей, но и их место в свершающихся событиях.

Метафора помогает подчеркнуть чувства, испытываемые воинами, видящими знамения накануне Куликовской битвы: «Мнози люди от обоих унывают, видяще убо пред очима смерть».

Метафоры способствуют выражению мысли о праведности миссии Дмитрия, вера представлена метафорой как оружие: Дмитрий «въоружен тврдо своею верою», а Волынец советует ему в битве «крестом огражати: той бо есть оружие на противны».

Присутствуют в произведении и две традиционные формулы-метафоры: «даша плещи» и «ста на костех», использованные в описании битвы.

Три случая олицетворений в «Сказании» вновь наводят на мысль об опосредованном влиянии «Слова о полку Игореве» – они распространяют или несколько искажают образы «Слова»: «и ныне еще Русскаа земля уныла и не имать уже надежи ни на кого», «земля стонет велми» (в «Слове»: «О, стонати Русской земле», «Уныша бо градом забрала»), «начаша многих труб ратных гласы гласити, и органы многы бити и стязи ревут наволочены» (в «Слове»: «стязи глаголют»).

Гиперболы, изображающие битвы, традиционны, связаны с формулами: «един русин сто поганых гонит», «борз конь не может скочити, а в крови по колени бродяху, а реки по три дни кровию течаху». Однако по способу художественного выражения мысли эти гиперболы индивидуальны.

В «Сказании» наблюдаем и картину, отличающуюся концентрацией художественных средств: в ней использованы олицетворение, эпитеты, метафоры, сравнения. Примечательно, что это описание русского войска не в бою, а в момент выступления в поход, причем автор, несомненно, любит войнами, что заставляет его прибегнуть к художественным средствам, взятым из мира природы, придающим живописный характер описанию и в то же время выражающим чувства повествователя: «... И увидев образы святых, иже суть въображени в христианских знаменних, аки некии светилници солнечнии светящися въ время ведра; и стязи их золоченыя ревуть, просьтирающися, аки облаци, тихо трепещущи, хотять промолвити; богатыри же русские и их хоругови, аки живи пашутся, доспехы же русских сынов, аки вода въ вся ветры колыбашеся, шоломы злаченныя на главах их, аки пламя огненное, пашется».

Итак, «Сказание о Мамаевом побоище» гораздо шире, чем предшествующие произведения воинского жанра, использует художественные средства; в их системе, наряду с эпитетами, большое значение начинают приобретать сравнения. Система художественных средств обращена теперь не только к оценке персонажей и батальным картинам, но и к природе, описаниям войска и изображению чувств персонажей.

Своеобразная система художественных средств обнаруживается в «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.» По характеру построения это произведение ближе, чем «Сказание о Мамаевом побоище», к традиционной воинской повести, так как в нем одна центральная сюжетная линия, небольшое количество персонажей. Усложнение сюжетной структуры здесь идет за счет увеличения количества перипетий, повторяющихся эпизодов (картин битв, советов цесаря с патриархом и боярами и пр.). В связи с этим и система художественных средств носит иной характер, чем в «Сказании о Мамаевом побоище».

Эпитеты, составляющие и в этой повести основной вид тропов, используются более сдержанно. Традиционны те из них, что прямо характеризуют главных действующих лиц: «богосодетелный великий Константин Флавий», «достославные велможи и мегистаны», Магомет «безвѣрен сый и лукав», Зустуня «храбр бо бе, и мудр, и ратному делу преискушен». В этих характеристиках привлекает внимание сложный характер многих эпитетов: они либо двухкорневые, либо имеют приставку пре-, усиливающую значение корня. Эта особенность проявилась в пору второго южнославянского влияния и свойственна многим эпитетам «Повести о Царьграде».

Другая особенность эпитетов рассматриваемого памятника – их эмоциональный характер, все они несут не только изобразительную функцию, но и ярко выраженную оценку повествователя. Это относится и к эпитетам, определяющим человеческие чувства, поступки, побуждения («добрый разум», «грдыя мысли», «естьство наше тяжкосердно и нерадиво», «от безмерная и неприемная истомы», «мерскими дѣлы и студными») и явления, связанные с божественным промыслом в человеческой жизни: «неисцелных напастей», «страшное естьство», «праведным и истинным судом», а также использованным в описаниях битв: «от бесчисленного стреляния», «хужшее мѣсто града», «брань тяжчайшу», «тмочислени оружныи пѣсца», «сечахуся тяжким и звѣрообразным рвением», и к предметам окружающего мира – в этом плане особенно часто употребляются сочетания с эпитетами «предивный» (столп, вещи и др.), «преславный» (место, церкви,

делесы, вещь и др.). В некоторых случаях при описании предметов и явлений используются эпитеты, не имеющие ярко выраженного эмоционального звучания, но в этом случае эмоции могут передаваться с помощью тавтологии определяемого и эпитета («пламень огнен»), или добавлением в сочетание второго эпитета, имеющего эмоциональный характер («пречюдный столп багряный»).

В «Повести о Царьграде» встречаем описание внешности человека, сделанное с помощью эпитетов. Оно приведено в прорицании о будущем Константинополя, слава которого как христианского города возрождена будет человеком, которого увидят около города: «... обрящете человека у двою столпов стояща, седиными праведными, и милостива, носяща нищаа, взором остра, разумом же кротка, средняго врьютоу, имѣюща на дѣснѣй нозѣ посрѣди голѣни бѣлѣг». В предшествующих памятниках воинского жанра не встречалось подобных описаний.

Наконец, нужно отметить широкое распространение в памятнике эпитета «великий», и в его традиционных сочетаниях («сеча велиа», «брань велиа») и в сочетаниях необычных, например, «распря велиа», «пагуба велиа», «печаль велиа» и др.

Таким образом, эпитеты в «Повести о Царьграде» отличаются повышенной эмоциональностью, создающейся разными способами, в том числе используются сложные и составные эпитеты. Впервые в воинской литературе эпитеты применены для развернутого описания человека.

Большинство сравнений в повести связаны с картинами битв. Они характеризуют поведение персонажей в бою и представляют собой характерные для древнерусской литературы сравнения по действию с животными: «аки дивии звѣри», цесарь «возрыкав яко лѣвъ», турок «закалаху... аки свинѣй». При этом сравнение с «дивими зверями» применяется в произведении и к грекам, и к туркам.

Другая группа сравнений, связанных с изображением людей в картинах боя, представляет собой сравнения по состоянию, имеющие элемент зрительного впечатления: «градцкие людие падоша от труда яко мертвы», Зустуня «падѣ на землю акы мертв», горожане «от многаго труда изнемогаху и падаху, яко пьяни». Подобное сравнение

применено по отношению к Царьграду: «Ты же, яко неистовен, еже на тебѣ милость Божию и щедрот отвращашеся и на злодѣяние и безаконие обращаешя». Но это сравнение, примененное к олицетворенному городу, а не конкретному человеку, теряет элемент зрительного сопоставления, свойственный предшествующим случаям.

Второй аспект использования сравнений – непосредственно описания боя. Образы сравнений здесь преимущественно традиционные: шум боя – гром, блеск оружия – молния, крики врагов «аки буря сильная», кровь течет, как реки или потоки, трупы падают, как снопы, убитые как ступени для нападающих врагов. В системе этих сравнений заметна та же тенденция, что проявилась и в эпитетике – к соединению нескольких образов в единой картине, способствующему усилению ее эмоционального звучания.

Не входят в эти две основные группы сравнений три случая. Первый связан с метафорическим описанием состояния Царьграда перед приходом турок, образы сравнений восходят к Библии: «И преуничижися град, и смиряся дозѣла, и “бысть яко сѣнь в виноградѣ, и яко овощное хранилище в вѣртоградѣ”». Два других сравнения связаны со знамениями, предвещавшими гибель города: пламя, вышедшее из церкви Софии и ушедшее на небо, что символизировало собой уход божественного покровительства из города, было «яко свѣтъ неизреченный», последним же предвестием гибели был кровавый дождь над городом: «воздуху убо на аере огустившуся, нависеся над градом плачевным образом, ниспущаше аки слѣзы капли велици, подобные величеством и взором буйвалному оку, червлѣны». Если первое из этих символических сравнений носит отвлеченный характер в системе традиционной оппозиции «свет – тьма», то второе изобразительно, связано прежде всего со зрительным образом. Сравнение со слезами, введенное традиционным союзом и само традиционное, дополняется необычным сравнением с глазом буйвола, введенным необычным грамматическим способом.

Таким образом, сравнения в «Повести о Царьграде» в основном традиционны и служат для описания битв, поведения и состояния персонажей в бою. Однако, в отличие от предшествующих произведе-

ний воинского жанра, большее значение приобретают сопоставления по зрительному впечатлению, а также заметна тенденция к соединению нескольких сравнений с целью усиления их эмоционального звучания.

Немногочисленные метафоры в произведении связаны с описанием состояния, чувств положительных персонажей. Цесарь, узнав о ране Зустунеи, «распадѣсе крѣпостию и истаяше мыслию», цесарь и воины, не видя помощи ниоткуда, «разпадоша крѣпостию и истаяше мыслию, обьяша бо их скорбь и печаль веляя», вельможи, утешая цесаря, «хотяху бо, аще бы мощно было, душа своа вдунути в него». В сцене ухода покровителя города из церкви Софии метафора приобретает яркий изобразительный оттенок – «отвързошася двѣри небесныя и, приявше свѣтъ, паки затворишася».

Олицетворения в повести появляются в эмоционально окрашенной прямой речи, плачах. Это уже упоминавшийся финальный плач – обращение к Царьграду как одушевленному лицу со своей судьбой, а также плач цесаря и горожан, молящихся перед осадой, причем образы этого олицетворения библейские: «... дрѣвле горы, видѣвше, вострепѣташа, и тварь потрясеса, солнце же и луна, ужасшеся блистанием их, погибѣ, и звѣзды небесныа спадоша». И в том и в другом случае олицетворения служат усилению выразительности текста, передают чувства персонажей.

Все гиперболы в тексте входят в картины боя, большинство их традиционно как по значению, так и по выражению, преимущественно это формулы: «един бяшеся с тысящею, а два – с тмою», врагов рассекают надвое, до седла, меч разящего не удерживает ничто, стрелы омрачают свет. Единственное исключение составляет гипербола, характеризующая голос народа после молебна в церкви, предшествующего взятию города: «... и абие возопиша весь клирик и весь народ сущий ту... рыданием и стонанием, яко мнѣтися церкви оной великой колѣбатися, и гласи их, мноу, до небесъ достигаху». Эта гипербола построена по типу тех, что традиционно описывали шум во время битвы, но применена в ином случае.

В повести есть также два символических образа, которые в самом начале повествования предсказывают судьбу города

и растолковываются мудрецами: это орел и змея, вступившие в единоборство в момент основания Царьграда, предсказывающие судьбу христианства и мусульманства в Византии.

Итак, система тропов в «Повести о Царьграде» в основном совпадает с традиционной для воинской повести. Из новых черт следует отметить в ряде случаев усиление изобразительной функции и соединение однородных и разнородных тропов в целях достижения большей эмоциональности.

Пронаблюдав систему тропов в ряде памятников воинского жанра XII-XV вв., приходим к выводу о том, что первоначальная ориентация этой системы преимущественно на изображение битвы с течением времени изменяется. Все большее место в произведениях занимают тропы изобразительного характера, участвующие в описании разнообразных явлений внешнего мира, более многочисленными становятся средства, разносторонне характеризующие персонажей произведений. В XV в. выявляется явная тенденция к соединению и нанизыванию тропов, связанная с общей линией эстетических поисков в литературе этой эпохи.

3.2.2. Цвет в текстах воинского содержания

Проблема использования цветовых определений в древнерусской литературе вызвала различные точки зрения: от установления символического значения отдельных цветов в классической работе А.Н.Веселовского «Из истории эпитета» [125] до суждения, высказанного А.М.Панченко (также в классической статье «О цвете в древней литературе восточных славян» [130]) о том, что древнерусская литература «не хотела» цвета. Представление о христианской символике цвета, в том числе в литературе, наиболее детально разработано в трудах В.В.Быкова [131,132,133].

Воинские записи и повести в летописях практически бесцветны, и объясняется это обстоятельство тем, что они в целом бедны описаниями, содержат перечисление событий, либо повествование о них. Упоминание цвета встречается в единичных случаях. Так, в рассказе Галицко-Волынской летописи о взятии татарами Сендомира опи-

сывается пожар, во время которого сгорела церковь «камена велика и придивна сияюще красотою бяшетъ бо создана бѣлымъ камнемъ тесанымъ» [37,853]. В данном случае указан реальный цвет камня, но в контексте можно увидеть и символическое значение этого цветового определения: оно было символом божественного света, чистоты и святости [133,236]. Гибель прекрасного белого храма сопровождается гибелью многих русских людей и подчинением города врагам-иноверцам.

Летописные воинские повести и в более позднее время скупо используют цвет, при этом он появляется одновременно в живописной и символической функции. В повести под 1471 г. о походе Ивана Васильевича на Новгород по Московскому летописному своду 1479 г. содержится эпизод с ярким символическим значением цвета. Это описанное после первого боя чудо, решившее его исход, о котором рассказывают пленные новгородцы. Московские воеводы спрашивали их: «Что ради вы съ толикимъ множествомъ вои своих ни мала постоасте, видяще малое наше воинство?». Пленные отвечали, что они видели «безчисленное множество» врагов, идущих на них, а «иные полки видехом в тыл по нас пришедших, знамена же имут желты и болшие стяги и скипетры, и говоръ людски мног и топот конский страшенъ» [47,393]. В этом рассказе создается редкая в воинских повестях зрительно-звуковая картина. Желтые знамена – цвет значимый, связанный с золотом, а через него – со светом, символизировавший божественное начало [131,137], но при этом появляются и дополнительные детали: большие стяги и скипетры, звуки подходящего войска – человеческий говор и конский топот, реальность которых подчеркнута определениями «мног» и «страшенъ». Так символический эпизод приобретает конкретные изобразительные черты.

Совмещает изобразительные и символические функции цветовая палитра «Слова о полку Игореве». Это произведение отличает многочисленность случаев употребления цветовых определений.

Утро трагической второй битвы Игоря против половцев представлено яркой зарисовкой: «Другаго дни велми рано *кровавыя* зори свѣтъ повѣдаютъ, *чръныя* тучя съ моря идуть, хотять прикрыти 4 *солнца*,

а въ нихъ трепещуть синія мльніи» [49,5]. Нагнетание цветowych эпитетов создает живописную природную картину, тревожащую всполохами контрастных цветов; а вторым планом, за этой живописью, просматривается и символическое значение; кровавые, красные зори предвещают кровопролитие, черные тучи – враги (эпитет одновременно изобразительный и символический, обозначающий смерть, зло), 4 солнца – русские князья, молнии – оружие, сравнение, которое встречается как тоpos в воинских повестях, а идет, по всей видимости, от Библии. Синий цвет в христианском символическом значении связан с небесными, божественными сферами. В идущих издавна спорах о христианской или языческой природе «Слова» в последнее время чаша весов склоняется в сторону христианства, в том числе в нем находят и ряд христианских символов. В этом случае упоминание синих молний становится понятным: Игорь, пренебрегший небесным знамением – солнечным затмением и отправившийся в поход, наказывается свыше.

Итоги похода Игоря автор определяет также яркой цветовой картиной: *«Темно бо бѣ въ 3 день: два солнца помѣркости, оба багряная стлѣна погасоста, и съ нимъ молодая мѣсяца, Олегъ и Святославъ, тѣмоу ся поволокоста»* [49,7]. Метафорическая картина гибели солнц прежде всего преподнесена как зрительно воспринимаемое постепенное наступление тьмы: свет солнца меркнет, гаснут багряные столпы, а затем все заволакивается тьмой. А.М.Панченко рассматривал определение «багряный» как символическое – атрибут князя, княжеской власти. Вероятно, и вся картина имела второй, символический план: тьма, так же как черный цвет, – символ смерти, зла, горя, которое охватывает всю Русь с пленением князей половцами.

В «Слове» ряд цветowych эпитетов, определяющих явления природы, происходящих из фольклора и «окаменевших», потерявших собственно изобразительное значение, по мнению А.М. Панченко, в том числе «зеленый» как определение к траве, дереву. В христианском искусстве, по замечанию В.В. Бычкова, этот «земной» цвет символизировал юность, цветение, предельно близок человеку [131, 134-135]. Неслучайно поэтому появление этого цвета в сцене побега Игоря из плена и помощи ему природы.

Помимо цветов природы, в «Слове» широко распространены цветочные определения воинских атрибутов: «*Чрълень* стягъ, *бѣла* хорюговъ, *чрълена* чолка, *сребрено* стружие – храброму Святъславичу» [49,5] – так сообщает автор о трофеях, полученных Игорем в первом, удачном бою с половцами. На первый взгляд, этот цветовой ряд носит сугубо изобразительный характер, и усмотреть здесь никакого символического значения невозможно. Но червлёные (красные) атрибуты упомянуты и у русских воинов (щиты). Были ли реальные половецкие стяги и бунчуки красными, а знамена – белыми? Сочетания белого и красного, серебряного и красного часто встречались в иконописи раннего периода (например, иконы начала XIII в., находящиеся в Русском музее, «Петр и Павел», «Богоматерь Белозерская»). В то же время цвета эти имели символическое значение: красный – цвет пламенности, огня, животворного тепла, жизни, но он же и цвет крови; он может заменять золото, как ближе всего стоящий к солнечному свету [131,132-133]. Белый, как уже упоминалось, – символ чистоты и святости, отрешённости от мирского [133,236]. Возможно, что в цитированном отрывке не случайно появляются эти цвета: ведь воины Игоря получили материальную добычу, князю же достались воинские знаки победы, связанные с духовным значением событий, цветом подчеркнута святость победы над врагом. Символично и сравнение Игоря в момент побега из плена с «белым гоголем», противопоставленным «черному ворону» – половцу.

В «Слове» часто встречается эпитет «золотой», имевший в средневековой системе и изобразительное, и символическое значение. Исследователи по-разному трактовали символику этого эпитета. По мнению А.Н.Веселовского, золото – желаемый идеал [125,74]. С.С.Аверинцев отмечал, что золото – символ света, блеска, славы, связано со светом солнца, эмблема нравственной и телесной чистоты [134,46-50]. В.В.Бычков заметил, что золото – застывший солнечный свет, но золото и богатство [134,137]. А.Н.Робинсон писал, что золото, наряду с первоначальной его зависимостью от солнца, приобрело значение критерия ценности, престижа, красоты, а также стало способом идеализации героев [135]. Определение встречается в «Слове»

в 6 сочетаниях, 14 случаях. Из них явно символическое значение имеет сочетание «злато слово», относящееся к идеализированному герою – князю Святославу киевскому. В ряде случаев эпитет получает этикетно-символическое значение принадлежности князю: злат стол (5 случаев), злат стремя (трижды), златой шелом (дважды), седло злато, в сочетании «злато ожерелье» возможно и прямое, и символическое значение, поскольку речь идет о княжеском украшении.

Дважды в произведении упомянуты золоченые предметы. Л.В.Соколова в словарной статье «Энциклопедии «Слова о полку Игореве» приравнивает эпитет «золоченый» к «золотому» [136,195]. Внимательно присмотревшись к употреблению этого эпитета в «Слове», обнаруживаем, что для автора «златой» и «золоченый», по-видимому, не одно и то же. Не потому ли второй эпитет употребляется значительно реже, что, обозначая неполноту качества, он теряет свое этикетное значение принадлежности князю и особой ценности? Обращаясь с призывом к князьям Рюрику и Давыду, братьям, которые были известны своими несогласованными действиями, автор назовет шлемы их дружины не златыми, а золочеными: «Ты, буй Рюриче и Давыде, не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша?» [49,8]. И «злаченные стрелы» появятся не у Игоря или Святослава, а в разговоре половцев Гзака и Кончака: «Аже сокол к гнезду летит, соколича ростреляево своими злачеными стрелами» [49,11]. Кажется, что тонко чувствующий слово автор не мог случайно изменить обычную форму «златой» на «злаченный» именно в этих двух случаях. Может быть, этот эпитет был для него менее связан с этикетным значением, что позволило использовать его в необычных контекстах. Первый из случаев, на наш взгляд, представляет собой и яркую живописную картину, передающую впечатление трагизма гибели русских воинов от неразумной политики князей: золоченые шлемы плавают в крови. Сочетание золотого и красного цветов – одно из любимых в русской иконописи. Именно в таком сочетании изображен, например, мученик Георгий, покровитель воинов, на двух иконах XII в. – из Успенского собора Кремля и собрания Третьяковской галереи. Символика цветового сочетания соответствует нарисованной автором «Слова» картине: золо-

ченный – цвет, связанный с русским воинством, красный – цвет жертвенности, мученической смерти. Метафорическое значение отрывка подчеркивается цветовыми символами.

Таким образом, цветовые эпитеты в «Слове о полку Игореве», как правило, двуплановы: изобразительны и символичны, причем символика их связана с христианскими представлениями.

Памятники Куликовского цикла, представляющие жанр внелетописных воинских повестей, воспроизвели лишь часть цветовых эпитетов «Слова». Во всех редакциях «Сказания о Мамаевом побоище» сочетание «багряная заря» появляется в рассказе некоего «самовидца», сообщившего о том, что он видел облако, вставшее, как *багряная заря*, над войском Дмитрия, из этого облака руки опустили венцы на головы воинов. Здесь вновь сталкиваемся с цветовым, живописным значением прилагательного и одновременно символическим – как пурпурный цвет, он связан с божественной сферой [131,131].

В «Задонщине» и «Сказании» как отклик «Слова» появляются природные сочетания с эпитетом «зеленый», использованные в сходных контекстах, говорящих о закреплённости этих эпитетов, идущих из фольклора.

С традицией памятника XII в. связано использование эпитета «златой» в «Задонщине». Сочетание «во златое стремя» [66,9] в соответствии с этикетом употреблено по отношению к князю Дмитрию Ивановичу. «От златых колодиц» рвутся в бой воины, сравниваемые с птицами. Это сочетание включено в живописную символическую картину: «А уже соколи и кречати, белозерские ястреби рвахуся от *златых* колодиц ис камена града Москвы, обриваху шевковыя опутины, возвиваючися под *синия* небеса, звонечи *злочеными* колоколы на быстром Дону» [66,9]. Внимание автора именно к живописной стороне картины заставляет предположить цветовое значение рассматриваемого прилагательного. Сочетания, сходные с «Задонщиной», есть и в «Сказании о Мамаевом побоище» [92,33] в аналогичном контексте в картине, почти дословно повторяющей приведенную из «Задонщины».

Воинское повествование XVI в. свидетельствует о возникновении иной системы использования цвета. Цветовые определения здесь

становятся преимущественно реальными обозначениями. Так, слово «черный» в системе «Слова» и зависящих от него произведений было связано с символическим значением смерти, зла, несчастья. В «Казанской истории» оно входит в состав наименований («черная болезнь») или определяет предмет по цвету («черный дым»).

Палитру цветов, известных «Слову», представляет рассказ автора о богатствах, в том числе разноцветных одеждах, захваченных казанцами во время одного из походов на русские земли: «...в *красныхъ* ризахъ, и в *зеленыхъ*, и в *багряныхъ* одѣявшиеся» [93,282]. Символический компонент в этом перечислении отсутствует.

Широко используется в памятнике эпитет «златой», часто в традиционных символических сочетаниях со значением принадлежности царю: «златый шлем», «златая стремяна», «златая броня», «полата златая», «венцы златые», «грамоты златые», «царское место златое». Два эпитета использованы в описании даров, посланных Махметмином князю Василию: «триста коней... в сѣдлѣхъ и в уздахъ *златыхъ*, и на коврѣхъ *червленыхъ*...» [93,290]. Здесь прилагательные имеют цветное значение и сочетают его с этикетно-символическим – царские дары. Сочетания «златое дно» и «гора златая» приобретают фразеологическое значение как символ богатства. Таким образом, в «Казанской истории» есть и сугубо изобразительные и изобразительно-символические эпитеты.

Завершает процесс изменения характера цветowych эпитетов «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Описывая приход турецкого войска к Азову, автор обозначил цвет укреплений, поставленных ими, глаголом, что было редким: «Почали оне, турки, по полямъ у нас ставитца шатры свои турецкие и полатки многие и наметы великие, яко горы страшные *забелѣлися*» [102,161]. В повести помещено описание турецких войск, необычное своей красочностью: «фитили... у мешкетовъ их, *что свечи горять*» [102,162], «И все у них *огненно*, и платье на них, на всех головах яныческих, *злато-главое*, на янычанах на всех по збруям их одинакая *красная*, яко зоря кажется... А на главах у всех янычаней шишаки, яко *звезды* кажутся» [102,162]. Все цветowe эпитеты и сравнения со светилами здесь упо-

треблены нетрадиционно. Они связаны с идеей света, в предшествующей литературе ассоциируемой со священной борьбой русских воинов за свою родину и веру. Такое переосмысление могло возникнуть только на основе зрительного впечатления: автор, видевший силы врагов, изобразил их реально такими, какими они были, ломая тем самым символическую традицию трактовки цветов.

У турок, пишет автор, знамена «великие, неизреченные, черные» [102,161]. До этого черное знамя было упомянуто в «Сказании о Мамаевом побоище» как знамя русских полков. О цвете великокняжеского знамени шла дискуссия, которая, кажется, ничем не завершилась. В «Повести об Азовском осадном сидении», надо думать, цвет тоже не символический, а реальный.

В одном случае, явно подражая «Слову о полку Игореве», автор повести вводит в бесцветный по преимуществу отрывок цветочные эпитеты. В «Слове»: «Уже бо бѣды его пасеть птицъ; подобию вльци грозу въ срожать по яругамъ, орли клеткомъ на кости звѣри зовуть, лисицы брешуть на чрълєныя щиты» [49,4]. В «Повести»: «Давно у нас, в полях наших летаючи, а васъ ожидаючи, хлєкчут орлы сизые и грають вороны черные, подле Дону у нас всегда брешуть лисицы бурые, а все они ожидаючи вашего трупу бусурманского» [102,165]. Сизый орел и черный ворон – традиционные эпитеты фольклора, а бурые лисицы – цвет, отражающий реальную окраску, знакомую автору. Таким образом, «Повесть об Азовском осадном сидении» свидетельствует об окончательной потере символического значения цветочными эпитетами, превращении их в сугубо изобразительное средство.

Процесс замены изобразительно-символического ряда только изобразительным отражает постепенное утверждение прагматического мировоззрения взамен религиозно-символического и входит в ряд изменений, происходящих в литературе XVI-XVII вв.

Проследив основные изменения, происходившие с формулами и тропами воинского повествования на основе ряда разновременных текстов, можно заметить, что их система, первоначально направленная главным образом на характеристику собственно военных событий,

со временем обогащалась новыми приемами, связанными с развитием сюжетного и характерологического начала, с интересом авторов позднего времени к деталям и внешней стороне происходящего, с новым представлением о взаимосвязях явлений действительности, с индивидуальными взглядами книжников. Все эти процессы обусловили рост количества эмоционально-оценочных и изобразительных тропов, обогащение фонда воинских формул, а затем их превращение в развернутые красочные описания. В XVI-XVII вв. в выборе и переосмыслении традиционных художественных средств явно начинает проявляться индивидуально авторское начало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воинская повесть – один из самых продуктивных жанров древнерусской литературы, прошедший семивековой путь развития. Отражая важнейшие события государственной жизни Руси с позиции книжников-патриотов, стремившихся точно передать ход исторических событий, размышлявших о причинах событий и исходивших из интересов Руси, он вообрал в себя черты книжной христианской и фольклорной традиций.

Как все жанры средневековья, воинская повесть имела свой канон, не зафиксированный никакими руководствами, но отчетливо проявляющийся в принципах композиции, изображения героев, приемах выражения авторской позиции, устойчивых стилистических формулах. Вместе с тем наблюдения над историей воинских сюжетов в разных летописях, использованием вставных малых жанров, анализ изменения системы изобразительно-выразительных средств в ряде текстов раскрывают возможности индивидуального осмысления книжниками одних и тех же событий, которое в каждом случае связано с эпохой написания произведения, местом его создания, основными стилевыми тенденциями времени.

Материал, представленный в данной книге, отражает малую часть поистине неисчерпаемых богатств древнерусского воинского повествования. И даже в процессе анализа этой малой части не все художественные черты жанра были охвачены в равной мере. Для будущих исследований остаются систематизация библейских цитат и аллюзий в текстах летописных и внелетописных повестей, решение проблемы образа повествователя и его эволюции на протяжении существования жанра, составление справочных материалов, концентрирующих случаи использования тропов и формул по всему корпусу воинских текстов, и на их основе создание полного представления обо всей системе художественных средств воинского повествования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Галахов А. Д.* История русской словесности, древней и новой / Соч. А. Галахова. – Изд. 2-е, с переменами. – СПб.: Тип. Мор. м-ва, 1880. – Отд. 1: Древнерусская словесность. – [6], III, [3], 517 с.
2. *Порфирьев И. Я.* История русской словесности. – Ч. 1. Древний период. Устная народная и книжная словесность до Петра Великого. – Изд. 7-е. – Казань: Типо-лит. Императорского ун-та, 1904. – 724 с.
3. *Лурье Я. С.* Истоки жанра в литературе Древней Руси // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра / АН СССР, ИРЛИ; Под ред. Б. С. Мейлаха. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1973. – С. 23–34.
4. Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе / АН СССР, ИРЛИ; Отв. ред. Я. С. Лурье – Л.: Наука, 1970. – 597 с.
5. *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.) // Чтения в Обществе истории и древностей российских. – М., 1902. – Кн. 4. Отд. 3. – С. 1–50.
6. *Орлов А. С.* О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI–XVII вв. // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук (ОРЯС АН). – СПб., 1908. – Т. XIII. Кн. 4. – С. 344–379.
7. *Орлов А. С.* Героические темы древней русской литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – 141, [2] с. – (Научно-популярная серия).
8. *Орлов А. С.* Героические темы древнерусской литературы. Обзор стиля «воинских» повестей XI–XVI вв. // ИОЛЯ. – М.; Л., 1945. – Т. 2. Вып. 2. – С. 69–85.
9. *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы : Пособие к лекциям в университете и на Высших женских курсах в Москве. – Изд. 2-е. – М., 1914 – X, 633 с.

10. *Робинсон А. Н.* К вопросу о народно-поэтических истоках стиля «воинских повестей» Древней Руси // Основные проблемы эпоса восточных славян: Сборник статей / Редкол.: В. В. Виноградов и др.; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; АН УССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – С. 131–158.
11. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избр. работы в 3 т. – Т. 1. – Л.: Худ. лит-ра, 1987. – С. 261–654.
12. *Творогов О. В.* Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Я. С. Лурье; Отв. секретарь редакции М. А. Салмина. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – [Т.] XVIII. – С. 277–284.
13. *Творогов О. В.* Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев; Отв. секретарь редакции М. А. Салмина. – М., Л.: Наука, 1964. – Т. XX: Актуальные задачи изучения русской литературы XI–XVII веков. – С. 29–41.
14. *Prochazka H. Y.* Origins and parallels to some uses of metonymy in the old Russian military accounts // The Slavonic and East European Review. – Vol. 61, № 1. – January 1983. – British Contribution to the 9 International Congress of Slavists. Kiev, 1983. – London, 1983. – P. 69–77.
15. *Прохазка Е. А.* О роли «общих мест» в определении жанра древнерусских воинских повестей // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1989. – Т. XLII. – С. 228–240.
16. Новгородская I летопись старшего и младшего изводов / Полное собрание русских летописей (Далее – ПСРЛ). – М.: «Языки русской культуры», 2000. – Т. 3. – XII, 720 с.
17. *Колесов В. В.* Древнерусский литературный язык / Ред. Ю. Ф. Денисенко; рецензенты: д-р филол. наук А. А. Алексеев, д-р филол. наук Б. И. Осипов. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. – 296 с.

18. *Лопутько О. П.* О природе устойчивых формул древнерусской письменности // Герменевтика древнерусской литературы / Ин-т мировой литературы РАН, Общ-во исследователей Древней Руси; отв. ред. М. Ю. Люстров. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. – Сб. 10. – С. 80–87.
19. *Пауткин А. А.* Батальные описания «Повести временных лет» // Вестник Моск. гос. ун-та. – Сер. 9. Филология. – М., 1981. – № 5 – С. 13–21.
20. *Пауткин А. А.* Батальные описания Ипатьевской летописи (проблемы жанра и стиля): Автореф. ... канд. филол. наук. – М., 1982. – 23 с.
21. *Пауткин А. А.* Летописная повесть о походе 1185 г. Игоря Святославича на половцев: (К проблеме художественности) // Филологические науки: Научные доклады высшей школы. – 1985. – № 2. – С. 26–31.
22. *Пауткин А. А.* О судьбе полководческих жизнеописаний в древнерусской литературе 11–14 вв. // Вестник Моск. гос. ун-та. – 1988. – № 3 – Серия 9: Филология. – С. 18–25.
23. *Пауткин А. А.* Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 76 с.
24. *Пауткин А. А.* Южнорусские летописцы XIII века и переводная историческая литература // Герменевтика древнерусской литературы / РАН. ИМЛИ; Общество исследователей Древней Руси; Отв. ред. Е. Б. Рогачевская. – М.: Наследие, 1998. – Сб. 9. – С. 127–134.
25. *Пауткин А. А.* Беседы с летописцем. Поэтика раннего русского летописания. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 286 с.
26. *Сочнева Н. А.* К вопросу о жанровом своеобразии повествований о междоусобных битвах русских князей в составе ранних русских летописей домонгольского периода: Коллект. моногр. // Древнерусская книжность: текстология и поэтика / Орловский гос. ун-т; науч. ред. М. В. Антонова. – Орел: Изд-во ОГУ, 2013. – С. 81–88.
27. *Прокофьев Н. И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. // Литература Древ-

- ней Руси: Сб. науч. тр. / Моск. пед. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Каф. рус. лит.; сост. Н. И. Прокофьев. – М.: Изд-во МГПИ им. В. И. Ленина, 1975. – Вып. 1. – С. 5–37.
28. *Кусков В. В.* Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII в. – Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – М., 1980. – 36 с.
29. *Орлов А. С.* Слово о полку Игореве. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 175 с.
30. *Волкова Т. Ф.* Развитие повествовательности и художественного вымысла в русской исторической литературе XV–XVII веков: Учеб. пособие по спецкурсу. – Сыктывкар: Гос. ун-т им. 50-летия СССР, 1989. – 90 с.
31. *Ромодановская Е. К.* Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода / Отв. ред. Л. А. Дмитриев; Рос. АН, Сиб. отделение, Ин-т филологии. – Новосибирск: ВО «Наука», 1994. – 228 с.
32. *Сперанский М. Н.* Заметки о рукописях белградских и софийской библиотек. – М., 1898. – 87 с.
33. *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.). – Пг.: «Наука и школа», 1922. – X, 248 с.
34. *Адрианова-Перетц В. П.* Послесловие // Воинские повести Древней Руси / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц; Ред. изд-ва А. А. Воробьева. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 115–118. – (Литературные памятники)
35. *Хализев В. Е.* Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2001. – 398 с.
36. *Трофимова Н. В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. Развитие исторических жанров. – М.: Флинта; Наука, 2000. – 208 с.
37. *Ипатьевская летопись* // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 1998. – Т. 2. – 648 с.

38. *Шайкин А. А.* Повесть временных лет. История и поэтика. – М.: НП ИД «Русская Панорама», 2011. – 616 с.
39. Рогожский летописец // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 2000. – Т. 15. – XII с., 186 стб., 29 с.
40. Летописец Переяславля-Суздальского, составленный в начале XIII века. (Между 1214 и 1219 годов). – М.: Университетская типография, 1851. – 216 с.
41. Тверской сборник // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 2000. – Т. 15. – V с., 504 стб., 35 с.
42. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / С прил. извлечений из монографии Б. М. Клосса «Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков» // ПСРЛ. М.: Языки русской культуры, 2000. – Т. 9. – 290 с.; Т. 10. – 248 с.; Т. 11. – 264 с.; Т. 12. – 272 с., разд. паг.; Т. 13. – 544 с., разд. паг.
43. *Лихачев Д. С.* Летописные известия об Александре Поповиче // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. О. В. Творогов. – Л.: Наука, 1986. – С. 318–352.
44. *Азбелев С. Н.* Алеша Попович // Русская речь. – 1998. – № 2. – С. 101–110.
45. *Лихачев Д. С.* Русский посольский обычай XI–XIII вв. // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. О. В. Творогов. – Л.: Наука, 1986. – С. 140–153.
46. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 1997. – Т. 1. – 496 с.
47. Московский летописный свод конца XV века // Русские летописи. – Рязань: Узорочье, 2000. – Т. 8. – 649 с.
48. *Лурье Я. С.* Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV–XVI вв. // ТОДРЛ / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1979. – Т. 34: Куликовская битва и подъем национального самосознания– С. 96–115.

49. Слово о полку Игореве: Сборник / Вступ. ст. Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев; сост. Л. А. Дмитриев. – Л.: Советский писатель. Ленинградское отд., 1985. – 496 с.: ил. – (Библиотека поэта. Большая серия, 3-е изд.).
50. Софийская I летопись старшего извода // ПСРЛ. – М.: «Языки русской культуры», 2000. –Т. 6. – Вып. 1. – VIII, 312 с.
51. Трофимова Н. В. О некоторых связях текста «Слова о полку Игореве» и новгородских летописей // Вестник Московского университета. – 2001. – № 4. – Серия 9. Филология. – С. 55–63.
52. Демин А. С. Об архаизирующем повествовании в «Слове о полку Игореве» на фоне фразеологических параллелей из памятников («железные папорзи») // Вестник Московского университета. – 2001. – № 4. – Серия 9. Филология. – С. 49–55.
53. Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл.ред. Д. Н. Шмелев. – М.: Наука, 1988. – Т. 14. – 312 с.
54. Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / М. Г. Булахов; Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов (отв. ред.). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. – Т. 4. (П–С).
55. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л.: Худож. лит., 1978. – 359 с.
56. Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / М. Г. Булахов; Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов (отв. ред.). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. – Т. 3 (К–О).
57. Перетц В. Н. «Слово о полку Игореве» и исторические библейские книги // Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского / Под ред. В. Н. Перетца. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР, т.101, № 3) – С. 10–14.
58. Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. –317 с.

59. *Прокофьев Н. И.* Нравственно-эстетические искания в литературе эпохи Куликовской битвы // *Литература Древней Руси: Сб. науч. тр.* / Моск. пед. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Каф. рус. лит.; Сост. Н. И. Прокофьев. – М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1983. – Вып. 4. – С. 3–18.
60. *Лимонов Ю. А.* Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории / АН СССР; Ин-т истории СССР. Ленингр. отд-ние; Отв. ред. Б.А.Рыбаков. – Л.: Наука, 1987. – 217 с.
61. *Феннел Д.* Кризис средневековой Руси. 1200–1304 / Пер. с англ. В. В. Голубчиков; вступ. ст. А. Л. Хорошкевич, А. И. Плигузов. – М.: АО «Издат. группа «Прогресс», 1989. – 292 с.
62. *Шахматов А. А.* Разыскания о русских летописях. – М.: Акад. проект; Кучково поле, 2001. – 880 с.
63. *Насонов А. Н.* История русского летописания XI – начала XVIII вв.: Очерки и исследования / Акад. наук СССР; Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1969. – 556 с.
64. *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. – 324 с. – (Studiorum slavicornum monumenta; Tomus 11).
65. *Ермолинская летопись* // *Русские летописи.* – Рязань: Узорочье, 2000. – Т. 7. – 554 с.
66. *Сказания и повести о Куликовской битве: Сборник* / Подгот. изд. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. – 422 с., [8] л. факс., ил. – (Литературные памятники).
67. *Словарь русского языка XI–XVII вв.* / АН СССР, Ин-т рус. яз. Ред. Р. И. Аванесов и др. – М.: Наука, 1975. – Т. 1. – 371 с.
68. *Вагнер Г. К.* Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-Польского: Фотоальбом. – М.: Искусство, 1966. – 74 с., 35 л. фот.
69. *Воронин Н. Н.* Владимир. Боголюбovo. Суздаль. Юрьев-Польской. – 3-е изд., перераб. – М.: Искусство, 1967. – 311 с.: ч/б и цв. фот.

70. Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: Учебник для вузов: В 2 кн. / Под общ. ред. А. Ф. Киселева. – Кн. 2 – М.: Владос, 2004. – 464 с.
71. Лурье Я. С. Летописец Рогожский // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1985. – Т. XXXIX. – С. 110–111.
72. Словарь русского языка XI–XVII вв. / Рос. Акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. Гл. ред. Г. А. Богатова – М.: Наука, 1991. – Т. 17. – С. 73.
73. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры. – М.: Наука, 1971. – 294 с.: ил.
74. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. – М.: Книга, 1989. – Т. 3. Ч. 2: Т–Ш. – 1684 с.
75. Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР. Ин-т рус. яз. Отв. ред. С. Г. Бархударов. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – 310 с.
76. Словарь русского языка XI–XVII вв. / Рос. Акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. Гл. ред. Г. А. Богатова. – М.: Наука, 1997. – Т. 22. – 297 с.
77. Салмина М. А. Повесть о нашествии Тохтамыша // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – Т. XXXIV: Куликовская битва и подъем национального самосознания. – С. 134–151
78. Новгородская IV летопись // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 2000. – Т. 4. Ч. 1. – XXXVIII. – 690 с.
79. Клосс Б. М. Избранные труды. – М.: Языки русской культуры, 1998. – Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков: Агиография Москвы, Твери, Ярославля, Суздаля: Сказания о чудотворных иконах. – 2001. – 488 с.: ил.
80. Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.) – Л.: Наука, 1987. – 493 с.

81. Словарь книжников и книжности Древней Руси/ АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 2: Л–Я – Л.: Наука, 1989. – 528 с.
82. Устюжская летопись // ПСРЛ / АН СССР. Ин-т истории СССР. Ленинградское отд-ние – Л.: Наука, Ленинградское отд., 1982. – Т. 37. Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. – С. 17–103.
83. *Лурье Я. С.* Из наблюдений над летописанием первой половины XV в. // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1985. – Т. XXXIX. – С. 285–298
84. *Дробленкова Н. Ф., Прохоров Г. М.* Епифаний Премудрый // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. – Т. XL. – С. 88
85. *Кириллин В. М.* Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). – СПб.: Алетея: Историческая книга, 2000. – 311 с.
86. Симеоновская летопись // ПСРЛ. – М.: Знак, 2007. – Т. 18. – 328 с.
87. Летописный свод 1518 г. // ПСРЛ / Академия наук СССР. Институт истории СССР. Ленинградское отделение – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т. 28. – С. 167–357.
88. *Кузьмин А. Г.* Рязанское летописание. Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века / Акад. наук СССР, Ин-т истории. – М.: Наука, 1965.
89. *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков // ПСРЛ. – М., 2000. – Т. XIV. Приложение.
90. *Дмитриев Л. А., Лихачева О. П.* Историко-литературный комментарий // Сказания и повести о Куликовской битве: Сборник / Подгот. изд. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1982. – 422 с., [8] л. факс., ил. – (Литературные памятники АН СССР).
91. Воскресенская летопись / Русские летописи. – Рязань: Узорочье, 1998. – Т. 3. – 624 с.

92. Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция // Сказания и повести о Куликовской битве: Сборник / Подгот. изд. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1982. – С. 25–48. – (Литературные памятники / АН СССР).
93. Казанская история // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2004. – Т. 10: XVI век. – С. 252–509.
94. Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 14: Конец XVI – начало XVII века. – С. 238–355.
95. Трофимова Н. В. Следы «Сказания о Мамаевом побоище» в летописной повести «О приходе крымского царя Сафа-Гирея на Русскую землю» в 1541 г. // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. – 2004. – № 1. – С. 158–164.
96. Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси / АН СССР. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд., 1947. – 188 с. – (Научно-популярная серия).
97. Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском: Тексты // ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. И. П. Еремин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – Т. VII. – С. 257–406.
98. Амелькин А. Когда «родился» Евпатий Коловрат // Родина. – 1997. – № 3–4. – С. 48–52.
99. Лобакова И. А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани Батыем» // ТОДРЛ / Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. – Т. 46. – С. 36–52.
100. Повесть о разорении Рязани Батыем // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2005. – Т. 5: XIII век. – С. 140–155.
101. Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева,

- Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2005. – Т. 7: Вторая половина XV века. – С. 26–71.
102. Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 15: XVII век. – С. 160–174.
103. Сказание о Мамаевом побоище. Киприановская редакция. //Сказания и повести о Куликовской битве: Сборник / Подгот. изд. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1982. – С. 49–72. – (Литературные памятники АН СССР).
104. *Прокофьев Н. И.* «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII в. (Из истории жанров литературы русского средневековья): Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1949. – 320 с.
105. *Прокофьев Н. И.* «Видение» как жанр в древнерусской литературе // Вопросы стиля художественной литературы: Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. – Т. 231. – М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1964. – С. 35–56.
106. *Прокофьев Н. И.* Символично-аллегорическая образность в литературе начала XVII века // Вопросы русской литературы: Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. – Т. 248. – М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1966. – С. 29–44.
107. Прокофьев Н. И. Образ повествователя в жанре «видений» литературы древней Руси // Очерки по истории русской литературы: Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. – Т. 256. Ч. 1. –М. МГПИ им. В. И. Ленина, 1967. – С. 36–53.
108. *Ромодановская Е. К.* Рассказы сибирских крестьян о видениях (К вопросу о специфике жанра видений) // ТОДРЛ / Российская академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Гл. ред. серии Д. С. Лихачев, Ред.: А. А. Алексеев, М. А. Салмина. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. – Т. 49. – С. 141–156.

109. Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 2005. – Т. 5: XIII век. – С. 358–369.
110. *Мокеев Г. Я.* Можайск – священный город русских. XVI в. – М.: Кедр, 1992. – 127 с.
111. Сводный иконописный подлинник XVIII в. по списку Г. Филимонова. – М.: Унив. тип., 1874. – 435 с.
112. *Аверинцев С. С.* Чудо // Аверинцев С. София-Логос: Словарь. – Киев: Дух и Литера, 2000. – С. 201–209.
113. *Смирнова В. В.* Чудо как жанрообразующий элемент средневековых религиозных жанров: житие, пример, видение: Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2006. – 254 с.
114. *Стародумов И. В.* Жанровая специфика повествований о посмертных чудесах святых подвижников в составе древнерусской агиографии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Омск, 2009.
115. Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции: Сборник / Отв. ред. О. В. Белова. – М.: Пробел-2000, 2001. – 366 с.
116. *Рыжова Е. А.* Жанр видений в севернорусской агиографии // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / Ред.: Семячко С. А. (отв. ред.), Руди Т. Р. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. – С. 160–194.
117. Житие Феодосия Печерского // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1: XI–XII века. – С. 352–433.
118. Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР. Ин-т рус. яз. Отв. ред. С. Г. Бархударов. – М.: Наука, 1979. – Вып. 6. – 359 с.
119. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Аванесов Р. И. (гл. ред.) – М.: Русский язык, 1990. – Т. 3 – 511 с.
120. *Демин А. С.* Поэтика древнерусской литературы (XI–XIII вв.). – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 405 с.

121. Псковская I летопись // Псковские летописи / ПСРЛ. – М., 2003. – Т. 5. – Вып. 1. – 256 с.
122. Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: На-следие, 1993. – 224 с.
123. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. – М.: Издание К. Солдатенкова, 1871. – III, 465, IV, III с.
124. Творогов О. В. Словоуказатель к «Повести временных лет» по Лав-рентьевскому списку // Лаврентьевская летопись / ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 1997. – Т. 1. – С. 603–710.
125. Веселовский А. Н. Из истории эпитета // Веселовский А. Н. Исто-рическая поэтика / Ред., вступ. статья и примеч. В. М. Жирмунско-го. – Л.: Худож. лит., 1940. – С. 73–93.
126. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. / Аванесов Р. И. (гл. ред.). – М.: АН СССР. Ин-т рус. яз., 1988. – Т. 1. – 530 с.
127. Шайкин А. А. Тропы в «Повести временных лет» // Герменев-тика древнерусской литературы. Вып. 11. / Ред. М. Ю. Лю-стров. – М.: Языки славянских культур; Прогресс-Традиция, 2004. – С. 505–525. – (Studia philologica).
128. Державина О. А. Метафоры и сравнения в исторической повести начала XVII в. // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Ста-новление. Традиции: Сб. статей / Отв. ред. В. Г. Базанов. – М.: Наука, 1976. – С. 179–184.
129. Кусков В. В. Ретроспективная историческая аналогия в произ-ведениях Куликовского цикла // Куликовская битва в литературе и искусстве: Сб. статей / АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького; отв. ред. А. Н. Робинсон. – М.: Наука, 1980. – С. 39–51. – (Исследования и материалы по древнерусской литера-туре).
130. Панченко А. М. О цвете в древней литературе восточных сла-вян //ТОДРЛ / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1968. – Т. XXIII: Ли-тературные связи древних славян. – С. 3–15.

131. *Бычков В. В.* Эстетическое значение цвета в восточнохристианском искусстве // Вопросы истории и теории эстетики / Под ред. М. Н. Афасижева. – М.: Изд-во Московского университета, 1975. – С. 129–146.
132. *Бычков В. В.* Эстетическое сознание Древней Руси. – М.: Знание, 1988. – 64 с.
133. *Бычков В. В.* Древнерусская эстетика. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ, 2012. – 832 с.
134. *Аверинцев С. С.* Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Искусство и культура: Сб. ст. в честь В. Н. Лазарева / Ред. В. Н. Гращенков. – М.: Наука, 1973 – С. 46–50.
135. *Робинсон А. Н.* «Слово» в поэтическом контексте мирового средневековья // Вопросы литературы. – 1985. – № 1. – С. 118–139.
136. *Соколова Л. В.* Цвет в «Слове» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / М. Г. Булахов; Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов (отв. ред.). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. – Т. 5. – С. 195–200.

Научное издание

Трофимова Нина Владимировна

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОГО
ВОИНСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Монография

Редактор Дубовец В. В.

Оформление обложки Удовенко В. Г.

Компьютерная верстка Ковтун М. А., Дорожкина О. Н.

Управление издательской деятельности
и инновационного проектирования МПГУ
119571 Москва, Вернадского пр-т, д. 88, оф. 446

Тел.: (499) 730-38-61

E-mail: izdat@mpgu.edu

Подписано в печать 15.12.2016

Формат 60х90/16. Объем 17,25 п.л.

Тираж 500 экз. Заказ № 612.

